


Н.С. ЛЕСКОВ



Очарованный
странник,

Повести и рассказы

Н.С. ЛЕСКОВ

Очарованный странник



Повести
и рассказы



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1984

Текст печатается по изданию:

**Н. С. Лесков. Собр. соч. в 11-ти томах, т. 1, 4, 6. М., Гослитиздат,
1956—1958.**

Вступительная статья и примечания

Б. Дыхановой

Художник

С. Крестовский

Оформление

М. Мелик-Пашаевой

Л 4702010100-434 без объявл.
028(01)-84

© Вступительная статья, примечания, иллюстрации. Издательство «Художественная литература», 1981 г.
Оформление. Издательство «Художественная литература», 1983 г.

ВЕЛИКИЙ РАССКАЗЧИК

Имена русских классиков в нашем читательском сознании привычно соединяются с определением «великие». Подобная оценка дарования и творчества Николая Семеновича Лескова и по сей день не стала общепринятой и бесспорной, хотя уже Горький, определяя место этого писателя на литературном «Олимпе», поставил его рядом с Толстым и Достоевским. Художник, в творчестве которого был слышен голос народной России, все еще не обрел безусловной общенародной известности, подобной славе названных писателей-современников. Однако достаточно, даже самому неискушенному читателю открыть наугад любой из его рассказов, чтобы оказаться во власти удивительного таланта «волшебника слова».

В чем разгадка этого парадокса? Попытаемся вернуться на сто лет назад, в 60-е годы XIX века (ведь в эту эпоху возвращают нас повести и рассказы Лескова, собранные в предлагаемой читателю книге). Именно тогда начинается деятельность Лескова-публициста, который приходит в литературу уже зрелым тридцатилетним человеком, во всеоружии громадного жизненного опыта. Вдоль и поперек изведывавший Россию, знающий народ и его нужды «не по разговорам с петербургскими извозчиками», а изнутри, начинающий литератор вовсе не чувствует себя в положении ученика, когда в 1862 году переезжает из провинции в Москву, а затем в Петербург и с головой погружается в журналистику. В идеологическую битву эпохи он включается на равных, уверенный, что владеет последним словом истины, и готовый защищать свои убеждения, невзирая ни на какие лица и обстоятельства.

С самого начала он противопоставляет практическое знание народной России любым теоретическим представлениям о ней. Все проекты революционного преобразования социальной жизни страны Лескову кажутся надуманными, «головными», а потому — прожектерскими. Он видит возможность их осуществления не в революционном перевороте, а в медленном, постепенном культурно-экономическом прогрессе страны. Возлагая огромные надежды на пробуждение самосознания отдельной личности, Лесков спешит поделиться с читателями своими наблюдениями и выводами практика. С этой позиции он вступает в спор и с «нетерпеливцами» из «Современника», которые на первых порах с интересом приглядываются к одаренному публицисту.

Однако наметившаяся взаимотерпеливая полемика неожиданно для обеих сторон оканчивается полным идеологическим размежеванием, имевшим для писателя далеко идущие последствия. Происходит это при следующих обстоятельствах. В мае 1862 года в разных концах Петербурга вспыхивают пожары, в связи с чем распространяются слухи о причастности к поджогам революционно настроенного студенчества. В газетном отчете об одном из таких пожаров Лесков, свято веривший в действительность печатного слова, потребовал от полиции либо прекратить эти слухи, либо доказать их справедливость и наказать виновных. Передавая общественности сочла статью провокационной, а строки о том, что присланные пожарные команды должны являться «для действительной помощи, а не для стояния», вызвали «высочайший гнев» царя. Для самого писателя реакция передовой общественности была неожиданным и болезненным ударом.

Но даже «пожарная история» ступенькается перед катастрофой, которая постигла Лескова в 1864 году после выхода в свет его большого романа «Некуда». Роман был воспринят как злобный пасквиль на прогрессивное общественное движение и видных его деятелей. В персонажах узнавали близких знакомых, подробности их личной жизни и оскорблялись этим сходством, называя роман «плохо подслушанными сплетнями, перенесенными в литературу» (В. Зайцев). Пожалуй, мало было произведений в русской литературе, вызывавших такое ожесточение общественности. В статье «Про-

гулки по садам российской словесности» Д. Писарев подводит итоги и выносит приговор: «Меня очень интересуют следующие два вопроса: 1. Найдется ли теперь в России — кроме «Русского вестника» — хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь выходящее из-под пера Стебницкого (псевдоним раннего Лескова. — Б. Д.) и подписанное его фамилией? 2. Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожным и равнодушным к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницкого?»

Приговор этот немедленно приводится в исполнение; перед Лесковым на долгие годы закрываются двери передовых журналов, и начинается многолетний период изоляции от большой литературы. Всю оставшуюся жизнь Лесков будет вновь и вновь мучительно переживать, то оправдывая, то обвиняя себя, трагедию 60-х годов.

Исследователям лесковского творчества, историкам литературы понадобилось более ста лет, чтобы отрешиться от оценок и представлений современников писателя, оценок, подкрепленных могучим авторитетом Писарева, и увидеть объективный характер конфликта, в который исторически неизбежно вступали стихийные демократы с демократами революционными. Постепенно все глубже осознаются и те причины, по которым Лесков оказался для своей эпохи «прозванным гением». Ведь причина странности, необычности его судьбы определялась не только «сомнительной» репутацией «одиночного Стебницкого» и в связи с этим особой «алонамеренностью» критики.

Достаточно открыть любой из рассказов Лескова, чтобы убедиться в этом всепоглощающем интересе к личности и уловить его особую направленность. Писатель сосредоточен на постижении глубин национальной жизни, и его художественный мир населен «мелкотравчатыми героями» из самых разных социальных слоев. Но «дума о судьбе лица», по глубокому определению Горького, всегда сопряжена у художника с «думой о судьбе России». Личность и Россия оказываются соизмеримы, ибо судьба России, по убеждению писателя, находится в руках народа, зависит от степени его самосознания и духовного потенциала.

Своеобразным прологом к творчеству Лескова на рубеже 60—70-х годов может служить спор его героев, русских интеллигентов в романе «Некуда», где речь идет о народной драме. С точки зрения Вязмитинова, у престопа не может быть драмы, а есть только уголовные дела, потому что там нет нравственной борьбы. Ему возражает доктор Розанов, утверждая, что драматическая борьба есть и у необразованных людей, но у каждого народа она «своя, со своим складом»: «Я простой, несложной жизни, разумеется, борьба проста, и видны только одни конечные проявления, входящие в область уголовного дела, но это совсем не значит, что в жизни вовсе нет драмы».

Проблема, возникшая в этом споре, решается в каждом из произведений, помещенных в настоящем сборнике, но решается всякий раз на каком-то ином художественном уровне. «Леди Макбет Мценского уезда» является как будто иллюстрацией, подтверждающей точку зрения Вязмитинова. В самом деле, герои, совершив преступление и оказавшись в драматическом положении, не испытывают мук совести, а потому, на первый взгляд, здесь нет подлинной драмы, личностного выбора, а есть уголовное дело.

Но у Лескова не случайно в заглавии так неожиданно и многозначно встретились кондовая Россия и Шекспир. В самом сопоставлении мценской купчихи и английской леди есть признание известного равенства двух героинь, сильных, страстных, целеустремленных. Но в «Леди Макбет Мценского уезда» показана русская драма, созревшая на почве купеческого быта, патриархального, косного, неподвижного, и неотделимая от него. Живая человеческая душа, как бы ни были ничтожны ее духовные запросы, уже потому, что она живая, не может примириться с мертвым укладом. «Скука», «тоска» — эти слова повторяются по нескольку раз в главах, посвященных описанию сонного, сытого, избыточного купеческого подворья, создавая ощущение гнета, давящей монотонности, несвободы. Все отношения внутри этого мирка складываются по традиции, без активного участия самой личности. Традиционными оказываются и представления о добре и зле. Когда же вспыхнувшая любовь-страсть возвращает личности свободу и становится единственным содержанием жизни, то эта свобода оказывается и свободой от нравственности. Однако лесковской героине суждено пройти свой крестный путь, и она окажется у самой границы нравственного прозрения, границы, которую ей не суждено переступить.

В «Воительнице» читатель не найдет ничего похожего на мелодраматизм «Леди Макбет...». Прозаический характер, прозаическая жизнь... Однако лесковский мир на каждом шагу являет свою оборачиваемость, глубину, скрывающуюся за внешней простотой сложности. Кажется, нет ничего

проще, чем объяснить мироотношение и поступки бывшей мценской купчихи, а ныне «тонкого петербургского фактотума» (то есть доверенного лица, выполняющего какие-либо поручения), теми самыми «петербургскими обстоятельствами», о которых она так часто вспоминает. Но под пером Лескова внешне примитивный характер оказывается способен задавать такие загадки, обнаруживать такие противоречия, разрешить которые повествователю удается, только внимательно вслушиваясь в «лестные» истории чудаковой собеседницы. По мере общения с ней его отношение меняется от резкого неприятия до сочувствия и даже нескрываемой симпатии. А за пределами сюжета — в эпиграфе — результат этого общения неожиданно оценивается как очередной урок в «нравоучительной школе жизни». Что же мог извлечь образованный, мыслящий человек из общения с «челюпей мценской бабой», занимающейся к тому же самым неблагоприятным промыслом, — этот вопрос, возникая в сознании читателя, требует своего разрешения. Ответом на него служит тончайшая диалектическая разработка этого образа у Лескова.

С самого начала показанная в наиболее мерзкой своей ипостаси как торговка живым товаром Домна все-таки не сводима к своей меркантильной «функции». В своих деловых операциях она всякий раз выходит за пределы, диктуемые соображениями выгоды, тем самым зачастую сводя эту выгоду на нет. Повествователь особо обращает внимание читателя на своеобразный артистизм натуры героини: «Домна Платоновна любила свое дело как артистка: скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться делами рук своих — вот что было главное, и за этим просматривались и деньги и всякие другие выгоды, которых особа более реалистическая ни за что бы не просмотрела». Артистизм этот — не просто психологическая окраска характера, а одна из главных поэтических идей «Воительницы».

Отношения личности и среды здесь не прямолинейны, они сложны и не сводимы к какой-то определенной формуле. Начать с того, что роль петербургского «фактотума» не навязана Домне обстоятельствами, а выбрана ею, и выбрана в первую очередь не из-за меркантильных соображений. Новая социальная роль открывает перед ней самые широкие возможности общения с разными людьми («...знакомство у Домны Платоновны было самое обширное, по собственному ее выражению даже «необытное», и притом самое разнокалиберное»). Повествователь специально делает акцент на необычайной общительности своей «доброй приятельницы», ведь инициатива их встреч в основном исходит от нее.

Выполняя разнообразные поручения своих клиентов, Домна получает возможность деятельного участия в жизни других людей. При этом она руководствуется и определенными нравственными побуждениями. Субъективно она никому не желает зла. Вот почему сводничество для нее — не только статья дохода, но и форма посильной помощи попавшим в беду неразумным «дамкам». Это и придает особый характер взаимоотношениям Домны с одной из таких «дамсок» — некоей Леканидой. То, что Домна ею не торгует, понимает и сама Леканида. Только это обстоятельство и определяет для нее разницу между «воительницей» и Авдотьей Ивановной Дислен, бывшей квартирной хозяйкой. Острый конфликт между Домной и Леканидой возникает именно потому, что отношения между ними поначалу складываются вопреки расчету, на основе взаимной симпатии, доброжелательности со стороны Домны, жалеющей Леканиду «истинно как дочь родную».

«Воительнице», однако, не приходит в голову помочь Леканиде иначе, не за счет ее падения, потому что беды «дамсок» в глазах Домны неотделимы от их вины. Для нее «романтические порывания» сбегавших от мужей Леканид — непростительная блажь («Ну что ж, — думаю, — надоело играть косточкой, покатай желвачок; не умела жить за мужней головой, так поживи за своей: пригонит мужа и к поганой луже, да еще будешь пить да похваливать»). Факт же самого падения Леканиды не имеет для Домны того значения, какое он приобретает для продавшей себя женщины. Признавая высоту нравственных «правил», «воительница» подходит к ним по-житейски, не ставя их выше самой жизни и обстоятельств. «Мерзавкой» Леканида станет для нее только тогда, когда проявит подлость и неблагодарность, к которым жизненные обстоятельства ее уже не побуждают. В «очерке» есть многозначительный эпизод ссоры Леканиды и Домны, когда Леканида, ставшая содержанкой высшего разряда, не посадила Домну за один стол с собой.

В четырех репликах, которыми обмениваются две женщины, шесть раз звучит слово «дряхь». И здесь слышны не только голоса бичующей себя «дамы» и разгневанной «воительницы». Для самого автора Леканида — не только жертва, но и виновница. Идеальные порывы испытываются самой жизнью, и в этом испытании Леканида терпит крах. Ее чистота переходит в аморальность не только из-за неблагоприятных обстоятельств, но и потому, что это чистота наивности, она не выстрадана Леканидой.

История падения Леканиды, занимающая такое большое место в «очерке», приобретает, таким образом, дополнительный художественный смысл. Два женских образа оказываются сопоставлены и противопоставлены вовсе не по принципу «поруганная чистота» — «аморальность». Повествователь не случайно стремится узнать об интимной стороне жизни героини. И оказывается, для самой Домны, находящейся в эпицентре «крытого и нагольного» разврата, всякое личное уклонение от нравственной нормы мучительно. Дважды ставшая жертвой мужских вожделений и совершившая прелюбодеяние «нико своей воли», она тяжело переживает свой «грех». И дело здесь не в боязни людского или божьего суда: пока молчит сердце, нет потребности и в физической близости.

Когда же голос сердца вдруг внезапно и запоздало заговорит, то, заглушив все практические соображения здравого смысла, отменяя их, не заставит умолкнуть голос совести. Более того, стихийное чувство к ничтожному Валерке, взрывая сложившиеся представления, высвобождает в героине способность к самопожертвованию и подлинному милосердию. Тогда-то кардинально меняется содержание социальной роли «воительницы» — роли «фактотума». В тифозной больнице именно к ней советуют обратиться, чтобы поручить больного бедняка «хоть на малейшую ласку и внимание». Домна обещает: «Как своего родного поберегу».

«Нелепая мценская баба», ничем не защищенная от «петербургских обстоятельств», но отвечающая на все сердцем, а не готовой моралью, не в пример «даме», так и не превратится в «продукт» уродливых общественных отношений. Их тупая власть наталкивается на стихийное сопротивление личности, еще не осознающей своей незаурядности и силы.

Нравственные ценности, по Лескову, передаются не только как некая нравственная эстафета от поколения к поколению. Личность должна нажать их в собственном душевном опыте. В сущности, автор в «Воительнице» ставит под сомнение всякое нравственное понятие как «головное», рационалистическое, если оно не опирается на жизненную практику человеческих отношений, не вышло из гуши народного самосознания.

И в «Леде Макбет...» и в «Воительнице» по-разному отразился драматизм личности, которая в силу своей незаурядности не способна слиться со своей средой, неизбежно выпадает из человеческого единства и потому обречена. Уже здесь Лесков задается вопросом, главным для всей русской литературы, — из чего вообще это человеческое единство складывается. В «Запечатленном ангеле» возникает некое земное сообщество людей, где коллективность оказывается необременительна для личности, не подавляет, а усиливает и обогащает ее. Эпохе крутых переделов и сдвигов, разрушения целостности общественной жизни Лесков противопоставляет такой жизненный уклад, который слился своей артельностью, своей связью с прошлым, со стариной и для которого ее самое ценное наследие — искусство — оказалось живым и действенным.

В жизни строительно-раскольничьей артели на первый взгляд нет ничего необыкновенного, «дивного», чудесного. «Занялись мы работой, и пошло все как надо! деньги за расчет у англичан в конторе верные; здоровье бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было, а Лукина Михайлида даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла», — рассказывает Марк Александров, связывая покой, единство, мирный труд и удовлетворение всем тем, что они дают, с чудесным покровительством чудотворной иконы ангела-хранителя. И рассказчик по-своему прав, видя здесь высший промысел, потому что эта жизнь гармоничная, целостная, труд и будни людей одухотворены, они живут «не хлебом единым». Иконописное искусство, к которому они приобщились, становится объединяющим началом и нравственной опорой. Добровольное объединение людей, ощущающих свою связь с богом, правдой и простотой, оказывается способно противостоять разобщенности внешнего мира и немощи отщепенства отдельной личности.

И все-таки границы этого идиллического существования в повести четко обозначены, три года остается в неприкосновенности патриархальная замкнутость раскольничьего мирка. Взрывной силой по отношению к ней становится не только корыстолюбивая пошлость, сама эта замкнутость окажется внутренне ушербной. Казалось, цепь случайностей (знакомство Пимена с легкомысленной барышкой, слухи о «видимой божьей благодати», месть чиновника и т. д.) приводит только к утратам, разрушению, гибели искусства. Но сквозь эти случайности прокладывает себе дорогу необходимость. Запечатление иконы и отступничество Пимена становятся началом нового пути, на котором раскольников ждали новые обретения. Недаром «перемена одних чудес на другие», хоть и горькая по своим последствиям, кажется рассказчику в итоге исполненной высокого смысла: «...горе нас ожидало, и устроилось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого оногo путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам

истинный путь, пред которым все, до сего часа исхоженные нами, пути были что лебрю темная и бесследная».

В финале повести конец пути (определяемого рассказчиком как «истинный») — это присоединение раскольников к православной церкви, что долгое время критикам и исследователям лесковского творчества казалось искусственным, внутренне немотивированным поступком самого автора. Чтобы вполне понять замысел Лескова, необходимо вдуматься в те причины, по которым такое воссоединение оказалось возможным. Мотив пути, дороги возникает в рассказе Марка Александрова дважды. Впервые в той его части, где говорится о передвижениях артели «с одних работ на другие», и во второй раз — после запечатления ангела, когда дух стойких приверженцев старой веры артель отправляет на поиски изографа. В этом втором случае мотив дороги оказывается необходимо связан с переоценкой прежних ценностей.

Запечатление ангела как бы размыкает замкнутый круг уединенного существования. Возникает своеобразная эстафета, в которую вовлекаются все новые лица, участвующие в спасении чудесной иконы. Неожиданно на помощь приходит англичанин, изограф Севастьян «распечатывает» ангела. Подлинное искусство оказывается способным объединить людей вопреки расстояниям, классовой и национальной розни. Связуют всех и единые общечеловеческие ценности.

В дороге, в поисках изографа, происходит встреча двух надежных «боготителеев» с миром, лежащим за пределами их маленького мира. Именно тогда и начинаются их сомнения в святая святых — старой вере, завершившиеся переходом в православие. Сомнения эти поначалу вызваны бесстыдством московских «братогрызцев», спекулирующих на старине. Но самым важным оказывается спор самих ревнителей раскола. Прозрение Левонтия начинается там, где истины, казавшиеся абсолютными, вдруг утрачивают свою неподвижность. Содержание духовной песни — плача Иосифа по своей матери Рахили — осмысливается «с преобразованием», как выражение сиротства разобщенных людей, детей одной матери, не соблюдающих законов братства. Он первый посягает на безусловность раскола, и ему первому открывается скрытый смысл испытаний, выпавших раскольникам: «...крестует бо ся Спас нас ради того, что мы его едиными усты и единым сердцем не ищем». В замкнутости мира-общины, в чистоте и благообразии ее жизни таится, оказывается, и грех отчужденности от остального мира. Побег в православие Пимена Иванова — игра случая, к собственному решению Пимен не способен. Левонтию же дано понять, что старина стоит «на едином упрямстве» и что само разделение на «церковных» и «староверов» уже утратило всякий смысл. Спор отрока Левонтия и Марка Александрова превращается в поединок между нерассуждающей верой, пытающейся отстоять себя любой ценой, и пытливой мыслью. Старший по возрасту Марк, упорно сопротивляясь всему, что не согласуется со старым, всю жизнь нажитым, вынужден признать в глубине души, что Левонтий его «правее»: «он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем и говорю ему самые пустяки».

Простую, но непреложную истину о том, что высшая правда не в самой иконе, что «ангел в душе человеческой живет», открывает ему анахорет Памва, «беззавистный и безгневный». Все остальное есть «суемудрие», разъединяющее людей, разрушающее их великое братство. И Марк Александров проникается с этих «гостинок» у старца Памвы влечением «одушевиться со всей Русью».

В «Запечатленном ангеле» самой большой силой является единство людей. Неожиданно для самого себя англичанин вводит в такие отношения с людьми другой национальности и неравного с ним социального положения, которые основаны на «взаимоверии». И делец-буржуа, и простые мужики до конца останутся верны этому необычному союзу. Самое удивительное чудо в повести — переход Луки по цепям недостроенного моста — совершается уже не ради иконы, а ради двух людей, которым грозит опасность, ради того, чтобы сдержать данное слово и не допустить, чтобы рухнуло обретенное «взаимоверие», и, наконец, ради того, чтобы еще одно клеймо (на этот раз клеймо каторжника) не обесчестило «доброчестное» лицо деда Мароя. Так сбывается пророчество Памвы: «любовь сокрушит печаль».

Через «чудеса» и «дивеса», о которых говорит рассказчик, находит образное выражение кное содержание: на страницах «Запечатленного ангела» происходит испытание творческих возможностей человека и жизни, «высвечивание» духовного смысла человеческого существования. Повесть пронизана мыслью о чуде, рождаемом самой жизнью, и самое «церковное» произведение Лескова оказывается обращенным не к богу, а к людям. Творит чудо и спасает его человек, в нем, в человеке, сходятся все начала и концы.

В «Очарованном страннике», созданном в один год с «Запечатленным ангелом», Лесков подходит

к тем же проблемам с другого конца. На первый план здесь выдвигается личность, редкостно оригинальная и самостоятельно добывающая связи с миром и другими людьми. Мотив дороги становится ведущим, и в самом странничестве героя заложен глубочайший смысл. Уже в обрамлении к рассказу Ивана Северьянина Флягина о своей «обширной протекшей жизненности» в трех историях (о ссыльном дьячке, о попике-запывашке и об укрощении коня) так или иначе ставится вопрос о степени заисимости личности от неблагоприятных житейских обстоятельств.

Губительны или благотворны «борения» с жизнью? Ответом на этот вопрос становится вся история «очарованного странника», представляющая собой процесс поисков гармонии между самобытностью, стихийной силой личности и требованиями самой жизни, ее законами.

Рассказчик свято верит в незыблемую силу предопределения. Однако фатализм лесковского героя с самого начала обнаруживает свои пределы и сложную сущность. Слова Флягина, сетующего, что он не попал на службу к англичанину Рарею — «но, верно, своего пути не обещишь, надо было другому призванию следовать», — противоречат его же собственному утверждению о необходимости не отступать от «дерзости своего призвания». Это противоречие — тот импульс, который движет повествование. Путь, который проходит герой повести, — это поиски своего места среди других людей, своего призвания, постижение смысла своих жизненных усилий, но не разумом, а всей своей жизнью и своей судьбой.

Каждый этап этого пути оказывается новым шагом в его нравственном развитии. Так же, как и в «Воительнице», Лесков в «Очарованном страннике» чрезвычайно внимателен к истокам нравственности. Свой в мире природы, с детства причастный ее тайнам, Флягин о мире людей судит на основании своего незначительного опыта, обретенного в замкнутом, иерархическом мире крепостного имения. Его, барского фрейтора, школили так же методично, как и лошадей на конном заводе. Жестокая эта наука не убила в герое природной доброты и богатства чувства, а способствовала особой крепости, «отборности» личности. Но чувства Флягина в этот период еще не развиты, первобытны, инстинктивны. Бессознательная потребность деятельности, природный артистизм натуры толкают его на самые противоположные поступки: рядом оказывается убийство монашка и спасение господ. И Флягину придется многое испытать, прежде чем ему откроется трагическая ответственность личности и в собственной свободе, и в свободе ее отношений с другими людьми.

Служа в няньках, то есть в должности, с точки зрения здравого смысла, самой дурацкой, комически несообразной с полом и физическим обликом Флягина, он делает первые шаги в освоении мира своей и чужой души. Впервые герой испытывает сострадание и привязанность, впервые под влиянием мгновенного озарения глубоко проникает в чувства матери доверенного ему ребенка. И невольно оказавшись замешанным в сложную человеческую судьбу, впервые принимает решение не в свою пользу, а в пользу страдающего человека.

Последовавшие затем десять лет татарского плена заставляют Флягина ощутить поэзию кровного родства со «своим», русским, национальным. Волею случая приобщившийся к домашней жизни чужого народа Флягин не может слиться с ней, принять ее всерьез и надолго. Вместо развитой духовной жизни здесь существуют лишь элементарные формы борьбы за существование. И в плену Флягина гнетет не убогость материального быта, а бедность переживаний и впечатлений. Тоска, которую испытывает Иван Северьянин в татарском плену, — это и есть неосознаваемая им тоска по несоизмеримо богатейшей и полной русской народной жизни. Сквозь конкретность бытовых мелочей в воспоминаниях Флягина просвечивает память об общих праздниках и буднях, об их национальном своеобразии. Но Лесков далек от идеализации русской жизни, от сотворения кумиров. Он глубоко обнажает ее трагический анекдотизм в судьбе своего героя. Святая Русь, к которой так стремился Флягин, отмечает возвращение блудного сына своеобразно — плетью: «...высекли в полиций и в свое имение доставили», граф «велел... еще раз дома высечь», после лишения отцом Ильей причастия граф приказал управителю опять высечь рассказчика «по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях». А неожиданное обретение свободы (граф отпускает на оброк) оборачивается новым испытанием: герой, редкостный знаток лошадей, ставший консультантом на конских ярмарках, постепенно втягивается в то привычное, повседневное пьянство, которое уже стало бичом России («и везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и все магарычи пью»). Только случайность спасает Флягина от гибели. Случайность эта переворачивает всю его жизнь и дает ей новый смысл и новое направление.

Рассказчик наивно убежден, что от горькой беды его освобождает колдовская сила «магнетизера». При всей комической несообразности лечения Флягина от запоя, оканчивающегося белой горячкой,

«магнетизер» на самом деле раз и навсегда освобождает Ивана Северьяныча от запойной страсти, открыв ему «красу природы совершенство», и, действительно, дает ему в жизни новое понятие. «Лонтрыга», «пьяничка», «самый препустейший-пустой человек» приводит Флягина к самой нужной для него душе. Благодаря встрече с цыганкой Грушей, герой, для которого не было на свете ничего выше красоты и совершенства лошади, открывает колдовскую силу таланта и женской красоты над человеческой душой. Талант и красота Груши вызывают не только эстетическое наслаждение, не только восторг и страсть, а нечто более сильное — потрясенность, поднимающую человека над собой, над общими нормами, корыстными расчетами. Чужие деньги, о которых еще недавно так заботился и ни на минуту не забывал Иван Северьяныч, приобретает вдруг иное качество: они теперь ценятся только по тому наслаждению, с которым он выбрасывает их под ноги цыганке, и из безличных денежных знаков превращаются в «белых лебедей».

Красота и талант Груши оказываются у Лескова неотделимы от суеверий, примитивных жизненных представлений, от грязного шнура на шею. Но чем больше рассеивается дымка романтической исключительности вокруг ее образа, тем сильнее и человечнее любовь к ней Флягина. Чистота и величие его чувства в том, что оно свободно от самолюбия и собственничества, в любви и бесконечном преклонении перед другим человеком для героя исчезает грань между жизнью для себя и жизнью для другого. Сбывается обещание «магнетизера»: «Я тебе в жизни новое понятие дам». И сам герой осознает, что любовь к Груше внутренне переродила его.

После смерти Груши — опять дорога, но это дорога к людям, к встрече с ними уже на новых основаниях. Обретенное героем единство с другими людьми разрешается в ситуации первой же встречи с убитыми горем стариком и старушкой, сына которых должны взять в рекруты. Флягин идет в солдаты, меняясь судьбой и именем с человеком, которого никогда не видел.

Пятнадцатилетняя служба на Кавказе становится для героя очередным испытанием. Он вынужден почти отказаться от самого себя: «И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание...» Когда же чрезвычайные обстоятельства заставляют его «открыться» полковнику, то в его признаниях обращает на себя внимание одна деталь. Флягин говорит о многих неповинных душах, погубленных им, тогда как читатель уже знает, что герой виноват в смерти трех человек: монашка, татарина Саввакирея и цыганки Груши. До этого момента только Грушина смерть воспринималась Флягиным как его страшная вина и великий грех. Смерти монашка и Саввакирея были для него всего лишь досадной случайностью. Иное отношение к чужой смерти и к своей вине за нее появляется тогда, когда герой духовно дозревает до личной ответственности перед другими людьми.

Обстоятельства жизни все время испытывают героя на прочность, жизнь ни в чем не помогает и ни в чем не поддерживает его. Вот он — героический кавалер и офицер, «благородный». Казалось, это хороший конец, итог полной лишений и тягот жизни, и должен начаться новый, счастливый ее этап. И новый этап действительно начинается, но как у Лескова все далеко от благодатных решений. «Благородство» не только не способствует «карьере», но даже мешает возможности вернуться к старому хучерскому ремеслу («говорят: ты благородный офицер, и военный орден имеешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно...»).

Чтобы не пропасть с голоду, герой идет в «артисты». В балагане на Адмиралтейской площади, где идут представления для народа, Иван Северьяныч изображает демона. Все здесь связано с мотивом своеобразного оборотничества; демона изображает добрейший, принца — злой насмешник и мучитель, богиню фортуны — молоденькая несчастная девушка. В представлении фея спасает принца от рук демона, в реальной жизни все наоборот: Иван Северьяныч, защищая «фею», наказывает «принца». И хотя после этого хозяин выгоняет его из труппы, торжествует все-таки человеческая солидарность: на этот раз бедная «фея» спасает героя от голода. Вот тут-то рассказчик наконец «доплывает» в своем рассказе до последней (как предполагает повествователь) житейской пристани — до монастыря. Повествование здесь разворачивается вокруг темы бесовского искушения. За комизмом ситуаций единоборства героя с бесом-искусителем стоят размышления автора о том, что может противостоять безудержности внутреннего развития личности. Флягин тем более открыт всякого рода искушениям, что живет по преимуществу не разумом, а чувством. Здесь, в монастыре, герой стремится одолеть в себе безграничную тоску, свою великую любовь к Груше. Задача поистине титаническая, и в исполнении ее Иван Северьяныч являет богатырскую силу духа. Одолевший «самого беса», то есть укротивший свои страсти, герой не теряет человечности, ничто не умирает в его душе, потому что подвиг духа находит разрешение не в фанатическом аскетизме, а в земной любви к своей Родине и народу.

Еще в обрамлении к рассказу «очарованного странника» сходятся начала и концы в том, что для пятидесятирехлетнего инока не заказаны и другие пути: «...из ряссофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить», — замечает один из пассажиров. Выражая сомнение в этой возможности, Флягин, однако, не отвергает ее совсем: «Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу...» Все дальнейшее повествование уводит от этой темы, чтобы вернуться к ней в финале, когда рассказчик поведает об одолеваящем его духе, повелевающим идти на предстоящую войну. На вопрос одного из слушателей: «Как же вы: в клобуке и в ряссе пойдете воевать?» — он отвечает: «Нет-с; я тогда клобукох сниму, а амуничку надену». На этот раз Иван Северьяныч Флягин собирается вновь надеть солдатскую амунцию (несмотря на то что произведен в офицеры), повинуясь обретенному наконец призванию. Это совсем не то, что «лоб забрить». Это возвращение к исходному моменту рассказа в финале повествования обретает особую значимость: есть несомненная предельная высота и праведность героя в этом ощущении личной ответственности за судьбу своей земли и готовности умереть за нее и за свой народ.

Не случайно и то, что в финале рассказа Флягина повторяются все основные мотивы повествования: постоянных искушений, одержимости любовью, плена и дороги. Это значит, что ничего еще не кончено для «очарованного странника», что смысл и цельность его жизни не подтожены и отпущенная ему «тысяча жизней» не прожита до конца. Читатель встречает героя в пути и покидает его в начале новых дорог.

Ни один образ в творчестве Лескова не достигает такой эпической монументальности, как образ «очарованного странника». Но чертами этого лесковского героя (силой, непосредственностью, душевной чистотой и добротой) будут отмечены многие персонажи лесковских произведений. По «Запечатленному ангелу» и «Очарованному страннику» уже можно судить о своеобразии решения автором проблемы положительного героя.

Сам писатель всегда считал, что наиболее сильно в его творчестве и изображении положительных типов. В предисловии, предпосланном небольшому циклу рассказов под общим и характерным названием «Праведники», Лесков объясняет смысл и направление своих художественных поисков: «Если без трех праведных, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одною дрянью, которая живет в моей и твоей душе, мой читатель?.. И пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число тех праведных, без которых «несть граду стояния», но куда я ни обращался, кого ни спрашивал — все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что все люди грешные, а так как кое-каких хороших людей и тот и другой знавали. Я и стал это записывать. Праведны они, думаю себе, или неправедны — все это надо собрать и потом разобрать: что тут возвышается над чертою простой нравственности и потому «свято господу».

В рассказе «Одному», который открывает названный цикл, а в предлагаемом сборнике является завершающим, герой сознательно строит свою жизнь в соответствии с библейскими заповедями, подчиняясь непреодолимому желанию «сделаться крепким, чтобы устыдить крепчайших», и бескомпромиссно следует по этому пути. Такая озабоченность личной нравственностью на первый взгляд выделяет этого героя среди других. Не говоря уже о «леди Макбет» и «воительнице», ни героев «Запечатленного ангела», ни Ивана Северьяныча Флягина нельзя назвать «праведниками». По глубокому замечанию Горького, герои Лескова — «люди сомнительной святости», ибо «у них совершенно и никогда нет времени подумать о своем, личном спасении... Они неразумно лезут в густейшую грязь жизни». И все-таки не случайно библейский подтекст есть не только в «Запечатленном ангеле», но и в «Воительнице», и даже в «Очарованном страннике» Иван Северьяныч Флягин примеривает свою исповедь к житийным образцам, которые не только анекдотически пародируются, но и очень серьезно просвечивают за жизненной «драмокомедией» героя. «Положительно прекрасного человека» Лесков ищет в ничтожной прозаической современности и открывает в самой будничной жизни возможность высокого, идеального и даже все условия для их возникновения.

«Полицейский философ» Рыжов совершает свое «житие» в мире, и мирская жизнь эта ничем не похожа на идиллическое, исполненное высокого смысла бытие раскольников в «Запечатленном ангеле». Мир провинциального городка ничем не напоминает излюбленную Лесковым «старую сказку» патриархального быта.

Это мирок, похожий на гоголевский, где государственная власть осуществляется раз и навсегда заведенным порядком, где духовные и должностные лица берут взятки и само взяточничество имеет

уже некую узаконенность. Даже губернатор не может поверить, что новый городничий не берет взятки, потому что знает: без дополнительных поборов прожить просто невозможно. Рыжов, начитавшийся Библии и исполняющий ее заветы буквально, оказывается противоположен и враждебен всей системе в целом. И косная тупая среда, обладающая колоссальной засасывающей силой, обнаруживает свое бессилие перед одним только человеком с неподкупной совестью. Неимуший Рыжов одерживает моральную победу, и почти столетняя продолжительность его жизни глубоко знаменательна — долгий век как бы дарован ему свыше за правду и нравственную безупречность.

Выдвигая в вышеупомянутом предисловии парадоксальность и неразрешимость поставленной перед собой задачи (с одной стороны, если стоят города, должны быть и праведники, а с другой — «никто таковых не выдавал, потому что все люди грешные»), Лесков объективному факту противопоставляет свою веру. Вера эта не только воодушевляет его на поиски праведных, но и заставляет доискиваться, что есть праведность, каков ее реальный житейский облик.

Реализм Лескова на рубеже 60-х и 70-х годов пограничен с романтикой: его художественный мир населен чужаками, оригиналами, обладающими подлинным человеколюбием, творящими добро бескорыстно, ради самого добра. Лесков глубоко верит в духовную силу народа и в нем видит спасение России. И в русскую литературу Лесков вошел как великий рассказчик, благодаря таланту которого читатель услышал народный глас, а услышав, приблизился к постижению тайны прочности, неизблемости истинно человеческого в постоянно меняющемся, динамическом мире.

После «Запечатленного ангела», «Очарованного странника», «Однодума» в творчестве Лескова появится еще множество других произведений. Еще два десятилетия он будет трудиться на литературных нивах, ему как художнику предстоит новые открытия, но определение «великий» с полным правом можно отнести к автору названных творений, потому что их питала извечная мысль о России и ее народе.

Б. Дыханова



Леди Макбет Мценского уезда

Очерк

«Первую песенку зардевшись спеть».

Поговорка

Глава первая



ной раз в наших местах задаются такие характеры, что, как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать ее *леди Макбет Мценского уезда*.

Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная. Ей от роду шел всего двадцать четвертый год; росту она была невысокого, но стройная, шея точно из мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза черные, живые, белый высокий лоб и черные, аж досиня черные волосы. Выдали ее замуж за нашего купца Измайлова с Тускари из Курской губернии, не по любви или какому влечению, а так, потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная, и перебирать женихами ей не приходилось. Дом Измайловых в нашем городе был не последний: торговали они крупчаткою, держали в уезде большую мельницу в аренде, имели доходный сад под городом и в городе дом хороший. Вообще купцы были зажиточные. Семья у них к тому же была совсем небольшая: свекор Борис Тимофеич Измайлов, человек уж лет под восемьдесят, давно вдовый; сын его Зиновий Борисыч, муж Катерины Львовны, человек тоже лет пятидесяти с лишком, да сама Катерина Львовна, и только всего. Детей у Катерины Львовны, пятый год, как она вышла за Зиновия Борисыча, не было. У Зиновия Борисыча не было детей и от первой жены, с которою он прожил лет двадцать, прежде чем овдовел и женился на Катерине Львовне. Думал он и надеялся, что даст ему бог хоть от второго брака наследника купеческому имени и капиталу; но опять ему в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось.

Бездетность эта очень много огорчала Зиновия Борисыча, и не то что одного Зиновия Борисыча, а и старика Бориса Тимофеича, да даже и самой Катерину Львовну это очень печалило. Раз, что скука непомерная в запертом купеческом терему с высоким забором и спущенными цепными собаками не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до одури, и она рада бы, бог весть как рада бы она была понянчиться с деточкой; а другое — и попреки ей надоели: «Чего шла да зачем шла замуж; зачем завязала человеку судьбу, неробдица», словно и в самом деле она преступление какое сделала и перед мужем, и перед свекром, и перед всем их честным родом купеческим.

При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий: наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе: пробежать бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечною лузгою; а тут все иначе. Встанут свекор с мужем ранехонько, напьются в шесть часов утра чаю, да и по своим делам, а она одна слоняет слоны из комнаты в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто, лампы сияют перед образами, а нигде по дому ни звука живого, ни голоса человеческого.

Походит, походит Катерина Львовна по пустым комнатам, начнет зевать со скуки и полезет по лесенке в свою супружескую опочивальню, устроенную на высоком небольшом мезонинчике. Тут тоже посидит, поглазеет, как у амбаров пенку вешают или крупчатку сыпают, — опять ей зевнется, она и рада: прикорнет часок-другой, а проснется — опять та же скука русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была не охотница, да и книг к тому ж, окромя киевского патерика, в доме их не было.

Скучною жизнью жилось Катерине Львовне в богатом свекровом доме в течение целых пяти лет ее жизни за неласковым мужем; но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания.

Глава вторая



Шестую весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину. Работы на ту пору, как нарочно, на мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная: вода ушла под нижний лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой никак не удавалось. Согнал Зиновий Борисыч народу на мельницу с целой округи, и сам там сидел безотлучно; городские дела уж один старик правил, а Катерина Львовна маялась дома по целым дням одна-одинешенька. Сначала ей без мужа еще скучней было, а тут будто даже как и лучше показалось: свободнее ей одной стало. Сердце ее к нему никогда особенно не лежало, а без него по крайней мере одним командиром над ней стало меньше.

Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под окошечком, зевала-зевала, ни о чем определенном не думая, да и стыдно ей, наконец, зевать стало. А на дворе

погода такая чудесная: тепло, светло, весело, и сквозь зеленую деревянную решетку сада видно, как по деревьям с сучка на сучок перепархивают разные птички.

«Что это я в самом деле развевалась?— подумала Катерина Львовна.— Сем-ну я хоть встану по двору погуляю или в сад пройдусь».

Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку и вышла.

На дворе так светло и крепко дышится, а на галерее у амбаров такой хохот веселый стоит.

— Чего это вы так радуетесь?— спросила Катерина Львовна свекровых приказчиков.

— А вот, матушка Катерина Ильвовна, свинью живую вешали,— отвечал ей старый приказчик.

— Какую свинью?

— А вот свинью Аксинью, что родила сына Василия да не позвала нас на крестины,— смело и весело рассказывал молодец с дерзким красивым лицом, обрамленным черными как смоль кудрями и едва пробивающейся бородкой.

Из мучной кади, привешенной к весовому коромыслу, в эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки Аксиньи.

— Черти, дьяволы гладкие,— ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло и вылезть из раскачивающейся кади.

— Восемь пудов до обеда тянет, а пихтёрь сена съест, так и гирь не достанет,— опять объяснял красивый молодец и, повернув кадь, выбросил кухарку на сложенное в угле кульё.

Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться.

— Ну-ка, а сколько во мне будет?— пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, стала на доску.

— Три пуда семь фунтов,— отвечал тот же красивый молодец Сергей, бросив гирь на весовую скайму.— Диковина!

— Чему ж ты дивуешься?

— Да что три пуда в вас потянуло, Катерина Ильвовна. Вас, я так рассуждаю, целый день на руках носить надо — и то не уморишься, а только за удовольствие это будешь для себя чувствовать.

— Что ж я, не человек, что ли? Небось тоже устанешь,— ответила, слегка краснея, отвыкшая от таких речей Катерина Львовна, чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и наговориться словами веселыми и шутливыми.

— Ни боже мой! В Аравию счастливую занес бы,— отвечал ей Сергей на ее замечание.

— Не так ты, молодец, рассуждаешь,— говорил ссыпавший мужичок.— Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? тело наше, милый человек, на весу ничего не значит: сила наша, сила тянет — не тело!

— Да, я в девках страсть сильна была,— сказала, опять не утерпев, Катерина Львовна.— Меня даже мужчина не всякий одолевал.

— А ну-с, позвольте ручку, если как это правда,— попросил красивый молодец.

Катерина Львовна смутилась, но протянула руку.

— Ой, пусти кольцо: больно!— вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергей сжал в своей руке ее руку, и свободною рукою толкнула его в грудь.

Молодец выпустил хозяйкину руку и от ее толчка отлетел на два шага в сторону.

— Н-да, вот ты и рассуждай, что женщина,— удивился мужичок.

— Нет, а вы позвольте так взяться, на-борки,— относился, раскидывая кудри, Серега.

— Ну, берись,— ответила, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла вверх свои локоточки.

Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной

рубашке. Катерина Львовна только было пошевелинула плечами, а Сергей приподнял ее от полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на опрокинутую мерку.

Катерина Львовна не успела даже распорядиться своею хваленною силою. Красная-раскрасная, поправила она, сидя на мерке, свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из амбара, а Сергей молодецки кашлянул и крикнул:

— Ну вы, олухи царя небесного! Сыпь, не зевай, гребля не замай; будут вершки, наши лишки.

Будто как он и внимания не обратил на то, что сейчас было.

— Девичур этот проклятый Сережка! — рассказывала, плетясь за Катериной Львовной, кухарка Аксинья. — Всем вор взял — что ростом, что лицом, что красотой, какую ты хочешь женщину, сейчас он ее, подлец, улестит, и улестит и до греха доведет. А что уж непостоянный, подлец, пренепостоянный-непостоянный!

— А ты, Аксинья... того, — говорила, идучи впереди ее, молодая хозяйка, — мальчик-то твой у тебя жив?

— Жив, матушка, жив — что ему! Где они не нужны-то кому, у тех они ведь живущи.

— И откуда это он у тебя?

— И-и! так, гулевой — на народе ведь живешь-то — гулевой.

— Давно он у нас, этот молодец?

— Кто это? Сергей-то, что ли?

— Да.

— С месяц будет. У Копчоновых допрежь служил, так прогнал его хозяин. — Аксинья понизила голос и досказала: — Сказывают, с самой хозяйкой в любви был... Ведь вот, тренафемская его душа, какой смелый!

Глава третья



Темные молочные сумерки стояли над городом. Зиновий Борисыч еще не возвращался с попрудки. Свекра Бориса Тимофеича тоже не было дома: поехал к старому приятелю на именины, даже и к ужину заказал себя не дожидаться. Катерина Львовна от нечего делать рано повечерела, открыла у себя на вышке окошечко и, прислонясь к косяку, шелушила подсолнечные зернышки. Люди в кухне поужинали и расходились по двору спать: кто под сарай, кто к амбарам, кто на высокие душистые сеновалы. Позже всех вышел из кухни Сергей. Он походил по двору, спустил цепных собак, повсвистал и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядел на нее и низко ей поклонился.

— Здравствуй, — тихо сказала ему с своей вышки Катерина Львовна, и двор смолк, словно пустыня.

— Сударыня! — произнес кто-то чрез две минуты у запертой двери Катерины Львовны.

— Кто это? — испугавшись, спросила Катерина Львовна.

— Не извольте пугаться: это я, Сергей, — отвечал приказчик.

— Что тебе, Сергей, нужно?

— Дельце к вам, Катерина Ильвовна, имею: просить вашу милость об одной малости желаю; позвольте взойти на минуту.

Катерина Львовна повернула ключ и выпустила Сергея.

— Что тебе?— спросила она, сама отходя к окошку.

— Пришел к вам, Катерина Ильвовна, попросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать. Скука очень одолевает.

— У меня, Сергей, нет никаких книжек: не читаю я их,— ответила Катерина Львовна.

— Такая скука,— жаловался Сергей.

— Чего тебе скучать!

— Помилуйте, как не скучать: человек я молодой, живем мы словно как в монастыре каком, а вперед видишь только то, что, может быть, до гробовой доски должен пропадать в таком одиночестве. Даже отчаянье иногда приходит.

— Чего ж ты не женишься?

— Легко сказать, сударыня, жениться! На ком тут жениться? Человек я незначительный; хозяйская дочь за меня не пойдет, а по бедности все у нас, Катерина Ильвовна, вы сами изволите знать, необразованность. Разве оне могут что об любви понимать как следует! Вот изволите видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, можно сказать, каждому другому человеку, который себя чувствует, в утешение бы только для него были, а вы у них теперь как канарейка в клетке содержитесь.

— Да, мне скучно,— сорвалось у Катерины Львовны.

— Как не скучать, сударыня, в эдакой жизни! Хоша бы даже и предмет какой у вас был со стороны, так, как другие прочие делают, так вам и видеться с ним даже невозможно.

— Ну это ты... не то совсем. Мне вот, когда б я себе ребеночка бы родила, вот бы мне с ним, кажется, и весело стало.

— Да ведь это, позвольте вам доложить, сударыня, ведь и ребенок тоже от чего-нибудь тоже бывает, а не так же. Нешто теперь, по хозяевам столько лет живши и на эдакую женскую жизнь по кучечеству гляючи, мы тоже не понимаем? Песня поется: «без мила дружка обуяла грусть-тоска», и эта тоска, доложу вам, Катерина Ильвовна, собственному моему сердцу столь, могу сказать, чувствительна, что вот взял бы я его вырезал булатным ножом из моей груди и бросил бы к вашим ножкам. И легче, сто раз легче бы мне тогда было...

У Сергея задрожал голос.

— Что это ты мне тут про свое сердце сказываешь? Мне это ни к чему. Иди ты себе...

— Нет, позвольте, сударыня,— произнес Сергей, трепеща всем телом и делая шаг к Катерине Львовне.— Знаю я, вижу и очень даже чувствую и понимаю, что и вам не легче моего на свете; ну только теперь,— произнес он одним придыханием,— теперь все это состоит в эту минуту в ваших руках и в вашей власти.

— Ты чего? чего? Чего ты пришел ко мне? Я за окно бросаюсь,— говорила Катерина Львовна, чувствуя себя под несносною властью неопишемого страха, и схватилась рукою за подоконницу.

— Жизнь ты моя несравненная! на что тебе бросаться?— развязно прошептал Сергей и, оторвав молодую хозяйку от окна, крепко ее обнял.

— Ох! ох! пусти,— тихо стонала Катерина Львовна, слабая под горячими поцелуями Сергея, а сама мимовольно прижималась к его могучей фигуре. Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и унес ее в темный угол.

В комнате наступило безмолвие, нарушавшееся только мерным тиканьем висевших над изголовьем кровати Катерины Львовны карманных часов ее мужа; но это ничему не мешало.

— Иди,— говорила Катерина Львовна через полчаса, не смотря на Сергея и поправляя перед маленьким зеркальцем свои разбросанные волосы.

— Чего я таперича отсюдава пойду,— отвечал ей счастливым голосом Сергей.

— Свекор двери запрет.

— Эх, душа, душа! Да каких ты это людей знала, что им только дверью к женщине и дорога? Мне что к тебе, что от тебя — везде двери,— отвечал молодец, указывая на столбы, поддерживающие галерею.

Глава четвертая



Винный Борисыч еще неделю не бывал домой, и всю эту неделю жена его, что ночь, до самого бела света гуляла с Сергеем.

Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисыча и винца из свекрового погреба попито, и сладких сластей поедено, и в сахарные хозяйкины уста поцеловано, и черными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки.

Не спалось Борису Тимофеичу: блуждал старик в пестрой ситцевой рубашке по тихому дому, подошел к одному окну, подошел к другому, смотрит, а по столбу из-под невесткина окна тихо-тихохонько спускается книзу красная рубаха молодца Сергея. Вот тебе и новость! Выскочил Борис Тимофеич и хватить молодца за ноги. Тот развернулся было, чтоб съездить хозяина от всего сердца по уху, да и остановился, рассудив, что шум выйдет.

— Сказывай,— говорит Борис Тимофеич,— где был, вор ты эдакой?

— А где был,— говорит,— там меня, Борис Тимофеич, сударь, уж нету,— отвечал Сергей.

— У невестки ночевал?

— Про то, хозяин, опять-таки я знаю, где ночевал; а ты вот что, Борис Тимофеич, ты моего слова послушай: что, отец, было, того назад не воротишь; не клади ж ты по крайности позору на свой купеческий дом. Сказывай, чего ты от меня теперь хочешь? Какого улагодворения желаешь?

— Желая я тебе, аспиду, пятьсот плетей заклатить,— отвечал Борис Тимофеич.

— Моя вина — твоя воля,— согласился молодец.— Говори, куда идти за тобой, и тебсья, пей мою кровь.

Повел Борис Тимофеич Сергея в свою каменную кладовеньку, и стегал он его нагайкою, пока сам из сил выбылся. Сергей ни стопа не подал, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъел.

Бросил Борис Тимофеич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугуна спина заживет; сунул он ему глиняный кувшин водицы, запер его большим замком и послал за сыном.

Но за сто верст на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездят, а Катерине Львовне без Сергея и час лишний пережить уже не вмоготу стало. Развернулась она вдруг во всю ширь своей проснувшейся природы и такая стала решительная, что и унять ее нельзя. Проведала она, где Сергей, поговорила

с ним через железную дверь и кинулась ключей искать. «Пусти, тятенька, Сергея»,— пришла она к свекру.

Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой наглой дерзости от согрешившей, но всегда до сих пор покорной невестки.

— Что ты это, такая-сякая,— начал он срамить Катерину Львовну.

— Пусти,— говорит,— я тебе совестью заручаюсь, что еще худого промеж нас ничего не было.

— Худого,— говорит,— не было!— а сам зубами так и скрипит.— А чем вы там с ним по ночам занимались? Подушки мужнины перебивали?

А та все с своим пристаёт; пусти его да пусти.

— А коли так,— говорит Борис Тимофеич,— так вот же тебе: муж придет, мы тебя, честную жену, своими руками на конюшне выдерем, а его, подлеца, я завтра же в острог отправлю.

Тем Борис Тимофеич и порешил; но только это решение его не состоялось.

Глава пятая



оел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашцей, и началась у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он умер, и как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготавливала особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком.

Выручила Катерина Львовна своего Сергея из стариковской каменной кладовой и без всякого зазора от людских очей уложила его отдыхать от свекровых побоев на мужниной постели; а свекра, Бориса Тимофеича, ничтоже сумняся, схоронили по закону христианскому. Дивным делом никому и невдомек ничего стало: умер Борис Тимофеич, да и умер, поевши грибков, как многие, поевши их, умирают. Схоронили Бориса Тимофеича спешно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое, а Зиновия Борисыча посланный не застал на мельнице. Тому лес случайно как-то дешево попался еще верст за сто: посмотреть его поехал и никому путем не объяснил, куда поехал.

Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж совсем разошлась. То она была баба неробкого десятка, а тут и нельзя было разгадать, что такое она себе задумала; ходит козырем, всем по дому распоряжается, а Сергея так от себя и не отпускает. Задивились было этому по двору, да Катерина Львовна всякого сумела найти своей щедрой рукой, и все это дивованье вдруг сразу прошло. «Зашла,— смекали,— у хозяйки с Сергеем алигория, да и только.— Ее, мол, это дело, ее и ответ будет».

А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять молодец молодцом, живым кречетом заходил около Катерины Львовны, и опять пошло у них снова житье разлюбезное. Но время катилось не для них одних: спешил домой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий Борисыч.

Глава шестая



дворе после обеда стоял пёк-
лый жар, и проворная муха несносно докучала. Катерина Львовна закрыла окно в спальне ставнями и еще шерстяным платком его изнутри завесила, да и легла с Сергеем отдохнуть на высокой купеческой постели. Спит и не спит Катерина Львовна, а только так ее и омаривает, так лицо потом и обливается, и дышится ей таково горячо и тягостно. Чувствует Катерина Львовна, что пора ей и проснуться; пора идти в сад чай пить, а встать никак не может. Наконец кухарка подошла и в дверь постучала: «Самовар,— говорит,— под яблонью гложнет». Катерина Львовна насилу прокинулась и ну кота ласкать. А кот промежду ее с Сергеем трется, такой славный, серый, рослый да претолстющий-толстый... и усы как у оброчного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой шерсти, а он так к ней с рылом и лезет: тычется тупой мордой в упругую грудь, а сам такую тихонькую песню поет, будто ею про любовь рассказывает. «И чего еще сюда этот котище зашел?— думает Катерина Львовна.— Сливки тут-то я на окне поставила: бесприменно он, подлый, у меня их вылопает. Выгнать его»,— решила она и хотела схватить кота и выбросить, а он, как туман, так мимо пальцев у нее и проходит. «Однако откуда же этот кот у нас взялся?— рассуждает в кошмаре Катерина Львовна.— Никогда у нас в спальне никакого кота не было, а тут ишь какой забрался!» Хотела она опять кота рукой взять, а его опять нет. «О, да что ж это такое? Уж это, полно, кот ли?»— подумала Катерина Львовна. Оторопь ее вдруг взяла и сон и дрему совсем от нее прогнала. Оглянулась Катерина Львовна по горнице — никакого кота нет, лежит только красивый Сергей и своей могучей рукой ее грудь к своему горячему лицу прижимает.

Встала Катерина Львовна, села на постель, целовала, целовала Сергея, миловала, миловала его, поправила измятую перину и пошла в сад чай пить; а солнце уже совсем свалило, и на горячо прогретую землю спускается чудный, волшебный вечер.

— Заспалась я,— говорила Аксиные Катерина Львовна и уселась на ковре под цветущею яблонью чай пить.— И что это такое, Аксиныюшка, значит?— пыталась она кухарку, вытирая сама чайным полотенцем блюдечко.

— Что, матушка?

— Не то что во сне, а вот совсем вот наяву кот ко мне все какой-то лез.

— И, что ты это?

— Право, кот лез.

Катерина Львовна рассказала, как к ней лез кот.

— И зачем тебе его было ласкать?

— Ну вот поди ж! сама не знаю, зачем я его ласкала.

— Чудно, право!— восклицала кухарка.

— Я и сама надивиться не могу.

— Это бесприменно вроде как к тебе кто-нибудь прибьется, что ли, либо еще что-нибудь такое выйдет.

— Да что ж такое именно?

— Ну именно что — уж этого тебе никто, милый друг, объяснить не может, что именно, а только что-нибудь да будет.

— Месяц все во сне видела, а потом этот кот,— продолжала Катерина Львовна.

— Месяц это младенец.

Катерина Львовна покраснела.

— Не спослать ли сюда к твоей милости Сергея?— попытала ее напрашивающаяся в наперсницы Аксинья.

— Ну что ж,— отвечала Катерина Львовна,— и то правда, пошли его: я его чаем тут напою.

— То-то, я говорю, что послать его,— порешила Аксинья и закачалась уткую к садовой калитке.

Катерина Львовна и Сергею про кота рассказала.

— Мечтанье одно,— отвечал Сергей.

— С чего ж его, этого мечтанья, прежде, Сережа, никогда не было?

— Мало чего прежде не бывало! бывало, вон я на тебя только глазком гляжу да сохну, а нонче вона! Всем твоим белым телом владею.

Сергей обнял Катерину Львовну, перекружил на воздухе и, шутя, бросил ее на пушистый ковер.

— Ух, голова закружилась,— заговорила Катерина Львовна.— Сережа! подика сюда; сядь тут возле,— позвала она, нежась и потягиваясь в роскошной позе.

Молодец, нагнувшись, вошел под низкую яблонь, залитую белыми цветами, и сел на ковре в ногах у Катерины Львовны.

— А ты сох же по мне, Сережа?

— Как же не сох.

— Как же ты сох? Расскажи мне про это.

— Да как про это расскажешь? Разве можно про это изъяснить, как сохнешь? Тосковал.

— Отчего ж я этого, Сережа, не чувствовала, что ты по мне убиваешься? Это ведь, говорят, чувствуют.

Сергей промолчал.

— А ты для чего песни пел, если тебе по мне скучно было? что? Я ведь небось слыхала, как ты на галдарее пел,— продолжала спрашивать, ласкаясь, Катерина Львовна.

— Что ж что песни пел? Комар вон и весь свой век поет, да ведь не с радости,— отвечал сухо Сергей.

Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочайшего восторга от этих признаний Сергея.

Ей хотелось говорить, а Сергей супился и молчал.

— Посмотри, Сережа, рай-то, рай-то какой!— воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающие ее густые ветви цветущей яблони на чистое голубое небо, на котором стоял полный погожий месяц.

Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы яблони, самыми причудливыми, светлыми пятнышками разбегался по лицу и всей фигуре лежавшей навзничь Катерины Львовны; в воздухе стояло тихо; только легонький теплый ветерочек чуть пошевеливал сонные листья и разносил тонкий аромат цветущих трав и деревьев. Дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям.

Катерина Львовна, не получая ответа, опять замолчала и все смотрела сквозь бледно-розовые цветы яблони на небо. Сергей тоже молчал; только его не занимало небо. Обхватив обеими руками свои колени, он сосредоточенно глядел на свои сапожки.

Золотая ночь! Тишина, свет, аромат и благотворная, оживляющая теплота. Далеко за оврагом, позади сада, кто-то завел звучную песню; под забором в густом черемушнике щелкнул и громко заколотил соловей; в клетке на высоком шесте

забрел сонный перепел, и жирная лошадь томно вздохнула за стенкой конюшни, а по выгону за садовым забором пронеслась без всякого шума веселая стая собак и исчезла в безобразной, черной тели полуразвалившихся, старых соляных магазинов.

Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву; а трава так и играет с лунным блеском, дробящимся о цветы и листья деревьев. Всю ее позолотили эти прихотливые, светлые пятнышки и так на ней и мелькают, так и трепещутся, словно живые огненные бабочки, или как будто вот вся трава под деревьями взялась лунной сеткой и ходит из стороны в сторону.

— Ах, Сережечка, прелесть-то какая!— воскликнула, оглядевшись, Катерина Львовна.

Сергей равнодушно повел глазами.

— Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или уж тебе и любовь моя прискучила?

— Что пустое говорить!— отвечал сухо Сергей и, нагнувшись, лениво поцеловал Катерину Львовну.

— Изменщик ты, Сережа,— ревновала Катерина Львовна,— обстоятельный.

— Я даже этих и слов на свой счет не принимаю,— отвечал спокойным тоном Сергей.

— Что ж ты меня так целуешь?

Сергей совсем промолчал.

— Это только мужа с женами,— продолжала, играя его кудрями, Катерина Львовна,— так друг дружке с губ пыль обивают. Ты меня так целуй, чтоб вот с этой яблони, что над нами, молодой цвет на землю посыпался. Вот так, вот,— шептала Катерина Львовна, обвиваясь около любовника и целуя его с страстным увлечением.

— Слушай, Сережа, что я тебе скажу,— начала Катерина Львовна спустя малое время,— с чего это все в одно слово про тебя говорят, что ты изменщик?

— Кому ж это про меня брехать охота?

— Ну уж говорят люди.

— Может быть, когда и изменял тем, какие совсем нестоящие.

— А на что, дурак, с нестоящими связывался? с нестоящею не надо и любви иметь.

— Говори ж ты! Неш это дело тоже как по рассуждению делается? Один соблаз действует. Ты с нею совсем просто, без всяких этих намерений заповедь свою преступил, а она уж и на шею тебе вешается. Вот и любви!

— Слушай же, Сережа! я там, как другие прочие были, ничего этого не знаю, да и знать про это не хочу; ну а только как ты меня на эту теперешнюю нашу любовь сам улешал и сам знаешь, что сколько я пошла на нее своею охотою, столько ж и твоей хитростью, так ежели ты, Сережа, мне да изменишь, ежели меня да на кого да нибудь, на какую ни на есть иную променяешь, я с тобою, друг мой сердечный, извини меня,— живая не расстанусь.

Сергей востепенулся.

— Да ведь, Катерина Ильвовна! свет ты мой ясный!— заговорил он.— Ты сама посмотри, какое наше с тобою дело. Ты вон так теперь замечаешь, что я задумчив нонче, а не рассудишь ты того, как мне и задумчивым не быть. У меня, может, все сердце мое в запеченной крови затонуло!

— Говори, говори, Сережа, свое горе.

— Да что тут и говорить! Вот сейчас, вот первое дело, благослови господи, муж твой наедет, а ты, Сергей Филипыч, и ступай прочь, отправляйся на задний двор к музыкантам и смотри из-под сарая, как у Катерины Ильвовны в спальне свеченька горит, да как она пуховую постельку перебивает, да с своим законным Зиновием с Борисычем опочивать укладывается.

— Этого не будет!— весело протянула Катерина Львовна и махнула ручкой.

— Как так этого не будет! А я так понимаю, что совсем даже без этого вам невозможно. А я тоже, Катерина Ильвовна, свое сердце имею и могу свои муки видеть.

— Да ну, полно тебе все об этом.

Катерине Львовне было приятно это выражение Сергеевой ревности, и она, рассмеявшись, опять взялась за свои поцелуи.

— А повторительно,— продолжал Сергей, тихонько высвобождая свою голову из голых по плечи рук Катерины Львовны,— повторительно надо сказать и то, что состояние мое самое ничтожное тоже заставляет, может, не раз и не десять раз рассудить и так и иначе. Будь я, так скажу, равный вам, будь я какой барин или купец, я бы то есть с вами, Катерина Ильвовна, и ни в жизнь мою не расстался. Ну, а так сами вы посудите, что я за человек при вас есть? Видючи теперь, как возьмут вас за белые ручки и поведут в опочивальню, должен я все это переносить в моем сердце и, может, даже сам для себя чрез то на целый век презренным человеком сделаться. Катерина Ильвовна! Я ведь не как другие прочие, для которого все равно, абы ему от женщины только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь и как она черной змеєю сосет мое сердце...

— Что ты это мне все про такое толкуешь?— перебила его Катерина Львовна.

Ей стало жаль Сергея.

— Катерина Ильвовна! Как про это не толковать-то? Как не толковать-то? Когда, может, все уж им объяснено и расписано, когда, может, не только что в каком-нибудь долгом расстоянии, а даже самого завтрашнего числа Сергея здесь ни духу, ни паху на этом дворе не останется?

— Нет, нет, и не говори про это, Сережа! Этого ни за что не будет, чтоб я без тебя осталась,— успокоивала его все с теми же ласками Катерина Львовна.— Если только пойдет на что дело... либо ему, либо мне не жить, а уж ты со мной будешь.

— Никак этого не может, Катерина Ильвовна, последовать,— отвечал Сергей, печально и грустно качая своею головою.— Я жизни моей не рад сам за этой любовью. Любил бы то, что не больше самого меня стоит, тем бы и доволен был. Вас ли мне с собою в постоянной любви иметь? Нешто это вам почет какой — полюбовницей быть? Я б хотел пред святым предвечным храмом мужем вам быть: так тогда я, хоть всегда млаже себя перед вами считая, все-таки мог бы по крайности публично всем обличить, сколь я у своей жены почтением своим к ней заслуживаю...

Катерина Львовна была отуманена этими словами Сергея, этою его ревностью, этим его желанием жениться на ней — желанием, всегда приятным женщине, несмотря на самую короткую связь ее с человеком до женитьбы. Катерина Львовна теперь готова была за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой. Она обезумела от своего счастья; кровь ее кипела, и она не могла более ничего слушать. Она быстро зажала ладонью Сергеевы губы и, прижав к груди своей его голову, заговорила:

— Ну, уж я знаю, как я тебя и купцом сделаю и жить с тобою совсем как следует стану. Ты только не печаль меня попусту, пока еще дело наше не пришло до нас.

И опять пошли поцелуи да ласки.

Старому приказчику, спавшему в сарае, сквозь крепкий сон стал слышаться в ночной тишине то шепот с тихим смехом, будто где шаловливые дети советуются, как злее над хилою старостью посмеяться; то хохот звонкий и веселый, словно кого озерные русалки шекочут. Все это, плескаясь в лунном свете да покатываясь по мягкому ковру, резвилась и играла Катерина Львовна с молодым мужниным приказчиком. Сыпался, сыпался на них молодой белый цвет с кудрявой яблонки, да уж и перестал сыпаться. А тем временем короткая летняя ночь

проходила, луна спряталась за крутую крышу высоких амбаров и глядела на землю искоса, тусклее и тусклее; с кухонной крыши раздался пронзительный кошачий дуэт; потом послышались плевки, сердитое фырканье, и вслед за тем два или три кота, оборвавшись, с шумом покатались по приставленному к крыше пучку теса.

— Пойдем спать, — сказала Катерина Львовна медленно, словно разбитая, приподнимаясь с ковра, и как лежала в одной рубашке да в белых юбках, так и пошла по тихому, до мертвенности тихому купеческому двору, а Сергей понес за нею коверчик и блузу, которую она, расшалившись, сбросила.

Глава седьмая



Только Катерина Львовна задула свечу и совсем раздетая улеглась на мягкий пуховик, сон так и окутал ее голову. Заснула Катерина Львовна, наигравшись и натешившись, так крепко, что и нога ее спит и рука спит; но опять слышит она сквозь сон, будто опять дверь открылась и на постель тяжелым осметком упал давешний кот.

— Да что же это в самом деле за наказание с этим котом? — рассуждает усталая Катерина Львовна. — Дверь теперь уж нарочно я сама, своими руками на ключ заперла, окно закрыто, а он опять тут. Сейчас его выкину, — собиралась встать Катерина Львовна, да сонные руки и ноги ее не служат ей; а кот ходит по всей по ней и таково-то мудрено курнычит, опять будто слова человеческие выговаривает. По Катерине Львовне по всей даже мурашки стали бегать.

«Нет, — думает она, — больше ничего, как непременно завтра надо богоявленской воды взять на кровать, потому что премудренный какой-то этот кот ко мне повадился».

А кот курны-мурны у нее над ухом, уткнулся мордою да и выговаривает: «Какой же, — говорит, — я кот! С какой стати! Ты это очень умно, Катерина Львовна, рассуждаешь, что совсем я не кот, а я именитый купец Борис Тимофеич. Я только тем теперь плох стал, что у меня все мои кишечки внутри потрескались от невестушкиного от угощения. С того, — мурлычит, — я весь вот и поубавился и котом теперь показываюсь тому, кто мало обо мне разумеет, что я такое есть в самом деле. Ну, как же ночью ты у нас живешь-можешь, Катерина Львовна? Как свой закон верно соблюдаешь? Я и с кладбища нарочно пришел поглядеть, как вы с Сергеем Филипычем мужнину постельку согреваете. Курны-мурны, я ведь ничего не вижу. Ты меня не бойся: у меня, видишь, от твоего угощения и глазки повывезли. Глянь мне в глаза-то, дружок, не бойся!»

Катерина Львовна глянула и закричала благим матом. Между ней и Сергеем опять лежит кот, а голова у того кота Бориса Тимофеича во всю величину, как была у покойника, и вместо глаз по огненному кружку в разные стороны так и вертится, так и вертится!

Проснулся Сергей, успокоил Катерину Львовну и опять заснул, но у нее весь сон прошел — и кстати.

Лежит она с открытыми глазами и вдруг слышит, что на двор будто кто-то через ворота перелез. Вот и собаки метнулись было, да и стихли, — должно быть, ласкаться стали. Вот и еще прошла минута, и железная клямка внизу шелкнула,

и дверь открылась. «Либо мне все это слышится, либо это мой Зиновий Борисыч вернулся, потому что дверь его запасным ключом отперта»,— подумала Катерина Львовна и торопливо толкнула Сергея.

— Слушай, Сережа,— сказала она и сама приподнялась на локоть и насторожила ухо.

По лестнице тихо, с ноги на ногу осторожно переступаячи, действительно кто-то приближался к запертой двери спальни.

Катерина Львовна быстро спрыгнула в одной рубашке с постели и открыла окошко. Сергей в ту же минуту босиком выпрыгнул на галерею и обхватил ногами столб, по которому не первый раз спускался из хозяйкиной спальни.

— Нет, не надо, не надо! Ты приляг тут... не отходи далеко,— прошептала Катерина Львовна и выкинула Сергею за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула под одеяло и дожидается.

Сергей послушался Катерины Львовны: он не шмыгнул по столбу вниз, а приютился под лубком на галереечке.

Катерина Львовна тем временем слышит, как муж подошел к двери, и, утаивая дыхание, слушает. Ей даже слышно, как учащенно стучает его ревнивое сердце; но не жалость, а злой смех разбирает Катерину Львовну.

«Ищи вчерашнего дня»,— думает она себе, улыбаясь и дыша непорочным младенцем.

Это продолжалось минут десять; но, наконец, Зиновию Борисычу надоело стоять за дверью и слушать, как жена спит: он постучался.

— Кто там?— не совсем скоро и будто как сонным голосом окликнула Катерина Львовна.

— Свои,— отозвался Зиновий Борисыч.

— Это ты, Зиновий Борисыч?

— Ну я! Будто ты не слышишь!

Катерина Львовна вскочила как лежала в одной рубашке, впустила мужа в горницу и опять нырнула в теплую постель.

— Чтой-то перед зарей холодно становится,— произнесла она, укутываясь одеялом.

Зиновий Борисыч взошел озираясь, помолился, зажег свечу и еще огляделся.

— Как живешь-можешь?— спросил он супругу.

— Ничего,— отвечала Катерина Львовна и, привставая, начала надевать распашную ситцевую блузу.

— Самовар небось поставить?— спросила она.

— Ничего, вскричите Аксинью, пусть поставит.

Катерина Львовна нахватила на босу ногу башмачки и выбежала. С полчаса ее назад не было. В это время она сама раздула самоварчик и тихонько заперкнула к Сергею на галерейку.

— Сиди тут,— шепнула она.

— Докуда же сидеть?— также шепотом спросил Сережа.

— О, да какой же ты bestолковый! Сиди, докуда я скажу.

И Катерина Львовна сама посадила его на старое место.

А Сергею отсюда с галереи все слышно, что в спальне происходит. Он слышит опять, как стукнула дверь и Катерина Львовна снова вошла к мужу. Все от слова до слова слышно.

— Что ты там возилась долго?— спрашивает жену Зиновий Борисыч.

— Самовар ставила,— отвечает она спокойно.

Вышла пауза. Сергею слышно, как Зиновий Борисыч вешает на вешалку свой куртку. Вот он умывается, фыркает и брызжет во все стороны водою; вот спросил полотенце; опять начинаются речи.

— Ну как же это вы тятеньку схоронили?— осведомляется муж.

— Так,— говорит жена,— они померли, их и схоронили.

— И что это за удивительность такая!

— Бог его знает,— отвечала Катерина Львовна и застучала чашками.

Зиновий Борисыч грустный ходил по комнате.

— Ну, а вы тут как свое время провождали?— спрашивает опять жену Зиновий Борисыч.

— Наши радости-то, чай, всякому известны: по балам не ездим и по театрам столько ж.

— А словно радости-то у вас и к мужу немного,— искоса поглядывая, завел Зиновий Борисыч.

— Не молоденькие тоже мы с вами, чтоб так без ума без разума нам встречаться. Как еще радоваться? Я вот хлопочу, бегая для вашего удовольствия.

Катерина Львовна опять выбежала самовар взять и опять заскочила к Сергею, дернула его и говорит: «Не зевай, Сережа!»

Сергей путем не знал, к чему все это будет, но, однако, стал наготове.

Вернулась Катерина Львовна, а Зиновий Борисыч стоит коленями на постели и вешает на стенку над изголовьем свои серебряные часы с бисерным шнурочком.

— Для чего это вы, Катерина Львовна, в одиноком положении постель на дворе разостлали?— как-то мудрено вдруг спросил он жену.

— А вас все дождала,— спокойно глядя на него, ответила Катерина Львовна.

— И на том благодарим вас покорно... А вот этот предмет теперь откуда у вас на перинке взялся?

Зиновий Борисыч поднял с простыни маленький шерстяной поясок Сергея и держал его за кончик перед жениными глазами.

Катерина Львовна нимало не задумалась.

— В саду,— говорит,— нашла да юбку себе подвязала.

— Да!— произнес с особым ударением Зиновий Борисыч,— мы тоже про ваши про юбки кое-что слышали.

— Что ж это вы слышали?

— Да всё про дела ваши про хорошие.

— Никаких моих дел таких нету.

— Ну, это мы разберем, все разберем,— отвечал, подвигая жене выпитую чашку, Зиновий Борисыч.

Катерина Львовна промолчала.

— Мы эти ваши дела, Катерина Львовна, все въявь произведем,— проговорил еще после долгой паузы Зиновий Борисыч, поведя на свою жену бровями.

— Не больно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не так очень она этого пужается,— ответила та.

— Что! что!— повыся голос, окрикнул Зиновий Борисыч.

— Ничего — проехали,— отвечала жена.

— Ну, ты гляди у меня того! Что-то ты больно речиста здесь стала!

— А с чего мне и речистой не быть?— отозвалась Катерина Львовна.

— Больше бы за собой смотрела.

— Нечего мне за собой смотреть. Мало кто вам длинным языком чего наязычит, а я должна над собой всякие наругательства сносить! Вот еще новости тоже!

— Не длинные языки, а тут верно про ваши амуры-то известно.

— Про какие такие мои амуры?— крикнула, неприятно вспыхнув, Катерина Львовна.

— Знаю я, про какие.

— А знаете, так что ж: вы яснее сказывайте!

Зиновий Борисыч промолчал и опять подвинул жене пустую чашку.

— Видно, и говорить-то не про что,— отозвалась с презрением Катерина Львовна, азартно бросив на блюде мужу чайную ложечку.— Ну сказывайте, ну про кого вам доносили? кто такой есть мой перед вами любовник?

— Узнаете, не спешите очень.

— Что вам про Сергея, что ли, что-нибудь набрехано?

— Узнаем-с, узнаем, Катерина Львовна. Нашей над вами власти никто не снимал и снять никто не может... Сами заговорите...

— И-их! терпеть я этого не могу,— скрипнув зубами, вскрикнула Катерина Львовна и, побледнев как полотно, неожиданно выскочила за двери.

— Ну вот он,— произнесла она через несколько секунд, вводя в комнату за рукав Сергея.— Расспрашивайте и его и меня, что вы такое знаете. Может, что-нибудь еще и больше того узнаешь, что тебе хочется?

Зиновий Борисыч даже растерялся. Он глядел то на стоявшего у притолки Сергея, то на жену, спокойно присевшую со скрежденными руками на краю постели, и ничего не понимал, к чему это близится.

— Что ты это, змея, делаешь?— насилу собрался он выговорить, не поднимаясь с кресла.

— Расспрашивай, о чем так знаешь-то хорошо,— отвечала дерзко Катерина Львовна.— Ты меня бойлом задумал пужать,— продолжала она, значительно моргнув глазами,— так не бывать же тому никогда; а что я, может, и допрежь твоих этих обещаний знала, что над тобой сделать, так я то сделаю.

— Что это? вон!— крикнул Зиновий Борисыч на Сергея.

— Как же!— передразнила Катерина Львовна.

Она проворно замкнула дверь, сунула ключ в карман и опять привалилась на постели в своей распашонке.

— Ну-ка, Сережечка, поди-ка, поди, голубчик,— поманила она к себе приказчика.

Сергей тряхнул кудрями и смело присел около хозяйки.

— Господи! Боже мой! Да что ж это такое? Что ж вы это, варвары?!— вскрикнул, весь побагровев и поднимаясь с кресла, Зиновий Борисыч.

— Что? Иль не люблю? Глянь-ко, глянь, мой ясмен сокол, каково прекрасно! Катерина Львовна засмеялась и страстно поцеловала Сергея при муже.

В это же мгновение на щеке ее запылала оглушительная пощечина, и Зиновий Борисыч кинулся к открытому окошку.

Глава восьмая



а, так-то!.. ну, приятель дорогой, благодарствуй. Я этого только и дожидалась!— вскрикнула Катерина Львовна.— Ну теперь видно уж... будь же по-моему, а не по-твоему...

Одним движением она отбросила от себя Сергея, быстро кинулась на мужа и, прежде чем Зиновий Борисыч успел доскочить до окна, схватила его сзади своими тонкими пальцами за горло и, как сырой конопляный сноп, бросила его на пол.

Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком об пол, Зиновий Борисыч совсем обезумел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употребленное против него женою, показало ему, что она решилась на все, лишь бы только от него избавиться, и что теперешнее его положение до крайности опасно. Зиновий Борисыч сообразил все это мигом в момент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его не достигнет ни до чьего уха, а только еще ускорит дело. Он молча повел глазами и остановил их с выражением злобы, упрека и страдания на жене, тонкие пальцы которой крепко сжимали его горло.

Зиновий Борисыч не защищался; руки его, с крепко стиснутыми кулаками,

лежали вытянутыми и судорожно подергивались. Одна из них была вовсе свободна, другую Катерина Львовна придавила к полу коленом.

— Подержи его,— шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу.

Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленами и хотел перехватить под руками Катерины Львовны за горло, но в это же мгновение сам отчаянно вскрикнул. При виде своего обидчика кровавая месть приподняла в Зиновии Борисыче все последние его силы: он страшно рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен свои придавленные руки и, вцепившись ими в черные кудри Сергея, как зверь закусил зубами его горло. Но это было ненадолго: Зиновий Борисыч тотчас же тяжело застонал и уронил голову.

Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе, стояла над мужем и любовником; в ее правой руке был тяжелый литой подсвечник, который она держала за верхний конец, тяжелою частью книзу. По виску и щеке Зиновия Борисыча тоненьким шнурочком бежала алая кровь.

— Попа,— тупо простонал Зиновий Борисыч, с омерзением откидываясь головою как можно далее от сидящего на нем Сергея.— Исповедаться,— произнес он еще невнятные, задрожав и косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь.

— Хорош и так будешь,— прошептала Катерина Львовна.

— Ну полно с ним копаться,— сказала она Сергею,— перехвати ему хорошенько горло.

Зиновий Борисыч захрипел.

Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергеевы руки, лежавшие на мужнином горле, и ухом прилегла к его груди. Через пять тихих минут она приподнялась и сказала: «Довольно, будет с него».

Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисыч лежал мертвый, с передавленным горлом и рассеченным виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которая, однако, более уже не лилась из запекшейся и завалявшейся волосами ранки.

Сергей снес Зиновия Борисыча в погребок, устроенный в подполье той же каменной кладовой, куда еще так недавно запирали самого его, Сергея, покойный Борис Тимофеич, и вернулся на вышку. В это время Катерина Львовна, засучив рукава распашонки и высоко подоткнув подол, тщательно замывала мочалкою с мылом кровавое пятно, оставленное Зиновием Борисычем на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого Зиновий Борисыч распаривал отравленным чаем свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось без всякого следа.

Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку.

— Ну-ка, свети,— сказала она Сергею, идучи к двери.— Ниже, ниже свети,— говорила она, внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновия Борисыча до самой ямы.

Только на двух местах на крашеном полу были два крошечные пятнышка величиною в вишню. Катерина Львовна потеряла их мочалкою, и они исчезли.

— Вот тебе, не лазь к жене вором, не подкарауливай,— произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись в сторону кладовой.

— Теперь шабаш,— сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса.

Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке и, золотя легонько одетые цветом яблони, заглядывала сквозь зеленые палки садовой решетки в комнату Катерины Львовны.

По двору, в накинутах на плечи полушубке, крестясь и позевывая, плелся из сарая в кухню старый приказчик.

Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочке ставню и внимательно оглянула Сергея, как бы желая прозреть его душу.

— Ну вот ты теперь и купец,— сказала она, положив Сергею на плечи свои белые руки.

Сергей ничего ей не ответил.

Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны.

Через два дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа; зато уж Зиновий Борисыч в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его никому до общего воскресения.

Глава девятая



Сергей ходил, замотав горло пунсовым платком, и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тем, прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами Зиновия Борисыча, мужа Катерины Львовны хватились. Сам Сергей еще чаще прочих начал про него поговаривать. Присядет вечером с молодцами на лавку около калитки и заведет: «Чтой-то, однако, исправди, ребята, нашего хозяина по сю пору нетути?»

Молодцы тоже дивуются.

А тут с мельницы пришло известие, что хозяин нанял коней и давно отъехал ко двору. Ямщик, который его возил, сказывал, что Зиновий Борисыч был будто в расстройстве и отпустил его как-то чудно: не доезжая до города версты с три, встал под монастырем с телеги, взял кису и пошел. Услыхав такой рассказ, и еще пуще все вздивовались.

Пропал Зиновий Борисыч, да и только.

Пошли розыски, но ничего не открывалось: купец как в воду канул. По показанию арестованного ямщика узнали только, что над рекою под монастырем купец встал и пошел. Дело не выяснилось, а тем временем Катерина Львовна поживала себе с Сергеем, по вдовьему положению, на свободе. Сочиняли наугад, что Зиновий Борисыч то там, то там, а Зиновий Борисыч все не возвращался, и Катерина Львовна лучше всех знала, что возвратиться ему никак невозможно.

Прошел так и месяц, и другой, и третий, и Катерина Львовна почувствовала себя в тягости.

— Наш капитал будет, Сережечка: есть у меня наследник,— сказала она Сергею и пошла жаловаться Думе, что так и так, она чувствует себя, что — беременна, а в делах застой начался: пусть ее ко всему допустят.

Не пропадать же коммерческому делу. Катерина Львовна жена своему мужу законная; долгов в виду нет, ну и следует, стало быть, допустить ее. И допустили.

Живет Катерина Львовна, царствует, и Сергею по ней уж Сергеем Филиппычем стали звать; а тут хлоп, ни оттуда ни отсюда, новая напасть. Пишут из Ливен городскому голове, что Борис Тимофеич торговал не на весь свой капитал, что более, чем его собственных денег, у него в обороте было денег его малолетнего племянника, Федора Захарова Лямина, и что дело это надо разобрать и не давать в руки одной Катерине Львовне. Пришло это известие, поговорил о нем голова Катерине Львовне, а эдак через неделю бац — из Ливен приезжает старушка с небольшим мальчиком.

— Я,— говорит,— покойному Борису Тимофеичу сестра двоюродная, а это — мой племянник Федор Лямин.

Катерина Львовна их приняла.

Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сделанный Катериною Львовною приезжим, побледнел как плат.

— Чего ты?— спросила его хозяйка, заметив его мертвую бледность, когда он вошел вслед за приезжими и, разглядывая их, остановился в передней.

— Ничего,— отвечал, поворачиваясь из передней в сени, приказчик.— Думаю, сколь эти Ливны дивны,— договорил он со вздохом, затворяя за собой сеничную дверь.

— Ну, а как же теперь быть?— спрашивал Катерину Львовну Сергей Филиппыч, сидя с нею ночью за самоваром.— Теперь, Катерина Ильвовна, выходит все наше с вами дело прах.

— Отчего так прах, Сережа?

— Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над чем же тут над пустым делом будет хозяйничать?

— Неш с тебя, Сережа, мало будет?

— Да не о том, что с меня; а я в тем только сумлеваюсь, что счастья уж того нам не будет.

— Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет?

— Потому, как по любви моей к вам я желал бы, Катерина Ильвовна, видеть вас настоящей дамой, а не то что как вы допрежь сего жили,— отвечал Сергей Филиппыч.— А теперь наоборот того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже еще произойти.

— Да неш мне это, Сережечка, нужно?

— Оно точно, Катерина Ильвовна, что вам, может быть, это и совсем не в интересе, ну только для меня, как я вас уважаю, и опять же супротив людских глаз, подлых и завистливых, ужасно это будет больно. Вам там как будет угодно, разумеется, а я так своим соображением располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастливы быть не могу.

И пошел и пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишен будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всем своим купечеством. Сводил это Сергей всякий раз на то, что не будь этого Федя, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до девяти месяцев после пропажи мужа, достанется ей весь капитал и тогда счастьем их конца-меры не будет.

Глава десятая



потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о нем речи в устах Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум и в сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и к самому Сергею неласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет, или богу молиться станет, а на уме все у нее одно: «Как же это? за что в самом деле должна я через него лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла,— думает Катерина Львовна,— а он без

всяких хлопот приехал и отнимает у меня... И добро бы человек, а то дитя, мальчик...»

На дворе стали ранние заморозки. О Зиновии Борисыче, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило. Катерина Львовна полнеда и все ходила задумчивая; по городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как и отчего молодая Измайлова все нерóдица была, все худела да чаврела, и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочествовающий сонаследник Федя Лямин в легком беличьем тулупе погуливал по двору да ледок по колдобинкам поламывал.

— Ну, Феодор Игнатьич! ну, купецкий сын!— кричит, бывало, на него, пробегая по двору, кухарка Аксинья.— Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копать?

А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предметом, побрыкивал себе безмятежным козликом и еще безмятежнее спал супротив пестовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или побавил счастья.

Наконец набегал себе Федя ветряную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарем послали.

Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то Катерину Львовну попросит.

— Потрудись,— скажет,— Катеринушка,— ты, мать, сама человек грузный, сама суда божьего ждешь; потрудись.

Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли та ко всенощной помолиться за «лежащего на одре болезни отрока Феодора» или к ранней обедне часточку за него вынуть, Катерина Львовна сидит у больного, и напоит его, и лекарство ему даст вовремя.

Так пошла старушка к вечерне и ко всенощной под праздник введения, а Катеринушку попросила присмотреть за Федюшкой. Мальчик в эту пору уж обмогался.

Катерина Львовна взошла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает патерик.

— Что ты это читаешь, Федя?— спросила его, усевшись в кресло, Катерина Львовна.

— Житие, тетенька, читаю.

— Занятно?

— Очень, тетенька, занято.

Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотреть на шевелящего губами Федю, и вдруг словно демоны с цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик и как бы хорошо было, если бы его не было.

«А ведь что,— думалось Катерине Львовне,— ведь больной он; лекарство ему дают... мало ли что в болезни... Только всего и скажу, что лекарь не такое лекарство потрафил».

— Пора тебе, Федя, лекарства?

— Пожалуйте, тетенька,— отвечал мальчик и, хлебнув ложку, добавил:— очень занято, тетенька, это о святых описывается.

— Ну читай,— проронила Катерина Львовна и, обведя холодным взглядом комнату, оставила его на разрисованных морозом окнах.

— Надо окна велеть закрыть,— сказала она и вышла в гостиную, а оттуда в залу, а оттуда к себе наверх и присела.

Минут через пять к ней туда же наверх молча вошел Сергей в романовском полушубке, отороченном пушистым котиком.

— Закрыли окна?— спросила его Катерина Львовна.

— Закрыли,— отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки.

Водворилось молчание.

— Нонче всенощная не скоро кончится?— спросила Катерина Львовна.

— Праздник большой завтра: долго будут служить,— отвечал Сергей.

Опять вышла пауза.

— Сходить к Феде: он там один,— произнесла, подымаясь, Катерина Львовна.

— Один?— спросил ее, глянув исподлобья, Сергей.

— Один,— отвечала она ему шепотом,— а что?

И из глаз в глаза у них замелькала словно какая сеть молниеносная; но никто не сказал более друг другу ни слова.

Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам: везде все тихо; лампы спокойно горят; по стенам разбегается ее собственная тень; закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал:

— Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вон ту, с образника, пожалуйста.

Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу.

— Ты не заснул ли бы, Федя?

— Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться.

— Чего тебе ее ждять?

— Она мне благословенного хлебца от всенощной обещалась.

Катерина Львовна вдруг побледнела, собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у нее протянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущие руки.

— Ну!— шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки.

— Что?— спросил едва слышно Сергей и поперхнулся.

— Он один.

Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать.

— Пойдем,— порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна.

Сергей быстро снял сапоги и спросил:

— Что ж взять?

— Ничего,— одним придыханием ответила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку.

Глава одиннадцатая



Большой мальчик вздрогнул и опустил на колени книжку, когда к нему в третий раз взошла Катерина Львовна.

— Что ты, Федя?

— Ох, я, тетенька, чего-то испугался,— отвечал он, тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол постели.

— Чего ж ты испугался?

— Да кто это с вами шел, тетенька?

— Где? Никто со мной, миленький, не шел.

— Никто?

Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив глаза, посмотрел по направлению к дверям, через которые вошла тетка, и успокоился.

— Это мне, верно, так показалось,— сказал он.

Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стенку племянниковой кровати.

Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она отчего-то совсем бледная.

В ответ на это замечание Катерина Львовна произвольно кашлянула и с ожиданием посмотрела на дверь гостиной. Там только тихо треснула одна половица.

— Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата, тетенька, читаю. Вот угождал богу-то.

Катерина Львовна стояла молча.

— Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочитаю?— ласкался к ней племянник.

— Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале поправлю,— ответила Катерина Львовна и вышла торопливою походкой.

В гостиной послышался самый тихий шепот; но он дошел среди общего безмолвия до чуткого уха ребенка.

— Тетенька! да что ж это? С кем же это вы там шепчетесь?— вскрикнул, с слезами в голосе, мальчик.— Идите сюда, тетенька: я боюсь,— еще слезливее позвал он через секунду, и ему послышалось, что Катерина Львовна сказала в гостиной «ну», которое мальчик отнес к себе.

— Чего боишься?— несколько охрипшим голосом спросила его Катерина Львовна, входя смелым, решительным шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гостиной была закрыта от больного ее телом.— Ляг,— сказала она ему вслед за этим.

— Я, тетенька, не хочу.

— Нет, ты, Федя, послушайся меня, ляг, пора; ляг,— повторила Катерина Львовна.

— Что это вы, тетенька! да я не хочу совсем.

— Нет, ты ложись, ложись,— проговорила Катерина Львовна опять изменившимся, нетвердым голосом и, схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье.

В это мгновение Федя неистово вскрикнул: он увидел входящего бледного, босого Сергея.

Катерина Львовна захватила свою ладонью раскрытый в ужасе рот испуганного ребенка и крикнула:

— А ну скорее; держи ровно, чтоб не бился!

Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним движением закрыла детское личико страдальца большою пуховою подушкой и сама навалилась на нее своей крепкой, упругой грудью.

Минуты четыре в комнате было могильное молчание.

— Кончился,— прошептала Катерина Львовна и только что привстала, чтобы привести все в порядок, как стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, затряслись от оглушительных ударов: окна дребезжали, полы качались, цепочки висячих лампад вздрагивали и блуждали по стенам фантастическими тенями.

Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать; Катерина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними. Казалось, какие-то неземные силы колыхали грешный дом до основания.

Катерина Львовна боялась, чтобы, гонимый страхом, Сергей не выбежал на двор и не выдал себя своим перепугом; но он кинулся прямо на вышку.

Взбежавши на лестницу, Сергей в темноте треснулся лбом о полупритворенную дверь и со стоном полетел вниз, совершенно обезумев от суеверного страха.

— Зиновий Борисыч, Зиновий Борисыч!— бормотал он, летя вниз головою по лестнице и увлекая за собою сбитую им с ног Катерину Львовну.

— Где?— спросила она.

— Вот над нами с железным листом пролетел. Вот, вот опять! ай, ай!— закричал Сергей,— гремит, опять гремит.

Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в двери.

— Дурак! вставай, дурак!— крикнула Катерина Львовна, и с этими словами она сама порхнула к Феде, уложила его мертвую голову в самой естественной спящей позе на подушках и твердой рукой отперла двери, в которые ломилась куча народа.

Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а чрез высокий забор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон стоит от людского говора.

Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покои.

Глава двенадцатая



вся эта тревога произошла вот каким образом: народу на всенощной под двенадесятый праздник во всех церквях хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо, а уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоку упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым регентом тоже из любителей вокального искусства.

Наш народ набожный, к церкви божией рачительный и по всему этому народ в свою меру художественный: благолепие церковное и стройное «органистое» пение составляют для него одно из самых высоких чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь: приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые с фабрик, заводов и сами хозяева с своими половинами,— все собьются в одну церковь; каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть под окном на пёклом жару или на трескучем морозе послушать, как органит октава, а заносистый тенор отливает самые капризные варшлаки¹.

В приходской церкви измайловского дома был престол в честь введения во храм пресвятыя богородицы, и потому вечером под день этого праздника, в самое время описанного происшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же известного баса.

Но не всех занимали эти вокальные вопросы: были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами.

— А вот, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают,— заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу,— сказывают,— говорил он,— будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут...

¹ В Орловской губернии певчие так называют форшляги. (Примеч. автора.)

— Это уж всем известно,— отвечал тулуп, крытый синей нанкой.— Ее нонче и в церкви, знать, не было.

— Что церковь? Столь скверная бабенка испаскудилась, что уж ни бога, ни советы, ни глаз людских не боится.

— А ишь, у них вот светится,— заметил машинист, указывая на светлую полосу между ставнями.

— Глянь-ка в щелочку, что там делают?— цыкнули несколько голосов.

Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул:

— Братцы мои, голубчики! душат кого-то здесь, душат!

И машинист отчаянно заколотил руками в ставню. Человек десять последовали его примеру и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками.

Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла известная нам осада измайловского дома.

— Видел сам, собственными моими глазами видел,— свидетельствовал над мертвым Федею машинист,— младенец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его.

Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели в ее верхнюю комнату и приставили к ней двух часовых.

В доме Измайловых был нестерпимый холод: печи не топились, дверь на пяди не стояла: одна густая толпа любопытного народа сменяла другую. Все ходили смотреть на лежащего в гробу Федею и на другой большой гроб, плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу у Федеи лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от удушения, и приведенный к его трупу Сергей, при первых же словах священника о страшном суде и наказании нераскаянным, расплакался и чистосердечно сознался не токмо в убийстве Федеи, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисыча. Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился: его вынули и уложили в большой гроб. Своею участницею в обоих этих преступлениях Сергей назвал, к всеобщему ужасу, молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только: «я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили уличать ее на очной ставке. Выслушав его признания, Катерина Львовна посмотрела на него с немим изумлением, но без гнева, и потом равнодушно сказала:

— Если ему охота была это сказывать, так мне запираяться нечего: я убила.

— Для чего же?— спрашивали ее.

— Для него,— отвечала она, показав на повесившего голову Сергея.

Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею и купеческой третьей гильдии вдове Катерине Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетью на торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштемпелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками.

Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, он падал, сходя с черного эшафота, а Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегали к ее изорванной спине.

Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только сказала: «Ну его совсем!» и, отвернувшись к стене, без всякого стога, без всякой жалобы повалилась грудью на жесткую койку.

Глава тринадцатая



артия, в которую попали Сергей и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще по народной пословице «ярко светило, да не тепло грело».

Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофенча, так как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец оставался единственным наследником всего теперь измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком страстных женщин, не переходила никакую свою часть на ребенка.

Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей; она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась видаться с своим Сережечкой, а о дитяти забыла и думать.

Надежды Катерины Львовны ее не обманули: тяжело окованный цепями, клейменный Сергей вышел в одной с нею кучке за острожные ворота.

Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает и в каждом положении он сохраняет по возможности способность преследовать свои скудные радости; но Катерине Львовне не к чему было и приспособливаться; она видит опять Сергея, а с ним ей и каторжный путь цветет счастьем.

Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестрядинном мешке ценных вещей и еще того меньше наличных денег. Но и это все, еще далеко не доходя до Нижнего, раздала она этапным ундерам за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним обнявшись часок темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора.

Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков: что ей ни скажет, как оторвет; тайными свиданьями с ней, за которые та не евши и не пивши отдает самой ей нужный четвертачок из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не раз говаривал:

— Ты замест того, чтоб углы-то в коридоре выходить со мной обгирать, мне бы эти деньги предоставила, что ундеру отдала.

— Четвертачок всего, Сереженька, я дала, — оправдывалась Катерина Львовна.

— А четвертачок неш не деньги? Много ты их на дороге-то наподнимала, этих четвертачков, а рассовала уж, чай, немало.

— За то же, Сережа, видались.

— Ну, легко ли, радость какая после такой муки видаться-то! Жисть-то свое проклял бы, а не то что свидание.

— А мне, Сережа, все равно: мне лишь бы тебя видеть.

— Глулости все это, — отвечал Сергей.

Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при таких ответах, а иной раз и на ее неплаксивых глазах слезы злобы и досады наворачивались в темноте ночных свиданий; но все она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать.

Таким образом в этих новых друг к другу отношениях дошли они до Нижне-

го Новгорода. Здесь партия их соединилась с партией, следовавшей в Сибирь с московского тракта.

В этой большой партии в числе множества всякого народа в женском отделении были два очень интересные лица: одна — солдатка Фиона из Ярославля, такая чудесная, роскошная женщина, высокого роста, с густою черною косою и томными карими глазами, как таинственной фатой завешенными густыми ресницами; а другая — семнадцатилетняя востролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и золотисторусыми кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под арестантской пестрядиной повязки. Девочку эту в партии звали Сонеткой.

Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого. В своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха, и никто не огорчался, видя, как она тем же самым успехом дарила другого искателя.

— Тетка Фиона у нас баба добреющая, никому от нее обиды нет, — говорили шутя арестанты в один голос.

Но Сонетка была совсем в другом роде.

Об этой говорили:

— Вьюн: около рук вьется, а в руки не дается.

Сонетка имела вкус, блюла выбор и даже, может быть, очень строгий выбор; она хотела, чтобы страсть приносили ей не в виде сыроежки, а под пикантную, пряною приправою, с страданиями и с жертвами; а Фиона была русская простота, которой даже лень сказать кому-нибудь: «прочь поди» и которая знает только одно, что она баба. Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестантских партиях и петербургских социально-демократических коммунах.

Появление этих двух женщин в одной соединенной партии с Сергеем и Екатериной Львовной имело для последней трагическое значение.

Глава четырнадцатая



С первых же дней совместного следования соединенной партии от Нижнего к Казани Сергей стал видимым образом заискивать расположения солдатки Фионы и не пострадал безуспешно. Томная красавица Фиона не истомила Сергея, как не томила она по своей доброте никого. На третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себе, посредством подкупа, свидание с Сережечкой и лежит не спит: все ждет, что вот-вот взойдет дежурный ундерок, тихонько толкнет ее и шепнет: «беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина юркнула в коридор; отворилась и еще раз дверь, и еще с нар скоро вскочила и тоже исчезла за провожатым другая арестантка; наконец дернули за свиту, которой была покрыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась с облощенных арестантскими боками нар, накинула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею провожатого.

Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только в одном месте, слабо освещенном слепую площадкою, она наткнулась на две или три пары, не дававшие ничем себя заметить издали. При проходе Катерины Львовны мимо мужской

арестантской, сквозь окошечко, прорезанное в двери, ей послышался сдержанный хохот.

— Ишь жируют,— буркнул провожатый Катерины Львовны и, придержав ее за плечи, ткнул в уголок и удалился.

Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду; другая ее рука коснулась жаркого женского лица.

— Кто это?— спросил вполголоса Сергей.

— А ты чего тут? с кем ты это?

Катерина Львовна дернула вправо повязку с своей соперницы. Та скользнула в сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то в коридоре, полетела.

Из мужской камеры раздался дружный хохот.

— Злодей!— прошептала Катерина Львовна и ударила Сергея по лицу концами платка, сорванного с головы его новой подруги.

Сергей поднял было руку; но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохот из мужской комнаты вслед ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявший против площадки и плевавший себе в носок сапога, приподнял голову и рыкнул:

— Цыц!

Катерина Львовна улеглась молча и так пролежала до утра. Она хотела себе сказать: «не люблю ж его», и чувствовала, что любила его еще горячее, еще больше. И вот в глазах ее все рисуется, все рисуется, как ладонь его дрожала у той под ее головою, как другая рука его обнимала ее жаркие плечи.

Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была в эту минуту под ее головою и чтоб другая его же рука обняла ее истерически дрожащие плечи.

— Ну, одначе, дай же ты мне мою повязку,— побудила ее утром солдатка Фиона.

— А, так это ты?..

— Отдай, пожалуйста!

— А ты зачем разлучаешь?

— Да чем же я вас разлучаю? Неш это какая любовь или интерес в самом деле, чтоб сердиться?

Катерина Львовна секунду подумала, потом вынула из-под подушки сорванную ночью повязку и, бросив ее Фионе, повернулась к стенке.

Ей стало легче.

— Тыфу,— сказала она себе,— неужели ж таки к этой лоханке крашеной я ревновать стану? Стинь она! Мне и применять-то себя к ней скверно.

— А ты, Катерина Ильвовна, вот что,— говорил, идучи назавтра дорогою, Сергей,— ты, пожалуйста, разумеи, что один раз я тебе не Зиновий Борисыч, а другое, что и ты теперь не велика купчиха: так ты не пышишь, сделай милость. Козьи рога у нас в торг нейдут.

Катерина Львовна ничего на это не отвечала, и с неделю она шла, с Сергеем ни словом, ни взглядом не обменявшись. Как обиженная, она все-таки выдерживала характер и не хотела сделать первого шага к примирению в этой первой ее ссоре с Сергеем.

Между тем этой порою, как Катерина Львовна на Сергея сердилась, Сергей стал чепуриться и заигрывать с беленькой Сонеткой. То раскланивается ей «с нашим особенным», то улыбается, то, как встретится, норовит обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видит, и только душе у нее сердце кипит.

«Уж помириться бы мне с ним, что ли?»— рассуждает, спотыкаясь и земли под собою не видя, Катерина Львовна.

Но подойти же первой помириться теперь еще более, чем когда-либо, гордость не позволяет. А тем временем Сергей все неотступнее вяжется за Сонеткой, и уж всем сдается, что недоступная Сонетка, которая все выном вилась, а в руки не давалась, что-то вдруг будто ручнеть стала.

— Вот ты на меня плакалась,— сказала как-то Катерине Львовне Фиона,— а я что тебе сделала? Мой случай был, да и прошел, а ты вот за Сонеткой-то глядела б.

«Пропади она, эта моя гордость: непременно нонче же помирюсь»,— решила Катерина Львовна, размышляя уж только об одном, как бы только ловчей взяться за это примирение.

Из этого затруднительного положения ее вывел сам Сергей.

— Ильвовна!— позвал он ее на привале.— Выдь ты нонче ко мне на минуточку ночью: дело есть.

Катерина Львовна промолчала.

— Что ж, может, сердиться еще — не выйдешь?

Катерина Львовна опять ничего не ответила.

Но Сергей, да и все, кто наблюдал за Катериной Львовной, видели, что, подходя к этапному дому, она все стала жаться к старшему ундеру и сунула ему семнадцать копеек, собранных от мирского подаяния.

— Как только соберу, я вам додам гривну,— упрасивала Катерина Львовна.

Ундер спрятал за обшлаг деньги и сказал:

— Ладно.

Сергей, когда кончились эти переговоры, крикнул и подмигнул Сонетке.

— Ах ты, Катерина Ильвовна!— говорил он, обнимая ее при входе на ступени этапного дома.— Супротив этой женщины, ребята, в целом свете другой такой нет.

Катерина Львовна и краснела и задыхалась от счастья.

Чуть ночью тихонько приотворилась дверь, она так и выскочила: дрожит и ищет руками Сергея по темному коридору.

— Катя моя!— произнес, обняв ее, Сергей.

— Ах ты, злодей ты мой!— сквозь слезы отвечала Катерина Львовна и прильнула к нему губами.

Часовой ходил по коридору, и, останавливаясь, плевал на свои сапоги, и ходил снова, за дверями усталые арестанты храпели, мышь грызла перо, под печью, взапуски друг перед другом, заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала.

Но устали восторги, и слышна неизбежная проза.

— Смерть больно: от самой от щиколотки до самого колена кости так и гудит,— жаловался Сергей, сидя с Катериной Львовной на полу в углу коридора.

— Что же делать-то, Сережечка?— расспрашивала она, ютясь под полу его свиты.

— Нешто только в лазарет в Казани попрошусь?

— Ох, чтой-то ты, Сережа?

— А что ж, когда смерть моя больно.

— Как же ты останешься, а меня погонят?

— А что ж делать? трет, так, я тебе говорю, трет, что как в кость вся цепь не вьедается. Разве когда б шерстяные чулки, что ли, поддеть еще,— проговорил Сергей спустя минуту.

— Чулки? у меня еще есть, Сережа, новые чулки.

— Ну, на что!— отвечал Сергей.

Катерина Львовна, ни слова не говоря более, юркнула в камеру, растормошила на нарах свою сумочку и опять торопливо выскочила к Сергею с парю толстых синих болховских шерстяных чулок с яркими стрелками сбоку.

— Эдак теперь ничего будет,— произнес Сергей, прощаясь с Катериной Львовной и принимая ее последние чулки.

Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары и крепко заснула.

Она не слыхала, как после ее прихода в коридор выходила Сонетка и как тихо она возвратилась оттуда уже перед самым утром.

Это случилось всего за два перехода до Казани.

Глава пятнадцатая



олодный, ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанным со снегом, неприветно встретил партию, выступавшую за ворота душного этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что стала в ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у нее стало темно; все чувства ее заныли и расслабели. Перед Катериной Львовной стояла Сонетка в хорошо знакомых той синих шерстяных чулках с яркими стрелками.

Катерина Львовна двинулась в путь совсем неживая; только глаза ее страшно смотрели на Сергея и с него не смаргивали.

На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала «подлец» и неожиданно плюнула ему прямо в глаза.

Сергей хотел на нее броситься; но его удержали.

— погоди ж ты! — произнес он и обтерся.

— Ничего, однако, отважно она с тобой поступает, — трунили над Сергеем арестанты, и особенно веселым хохотом заливалась Сонетка.

Эта интрижка, на которую сдалась Сонетка, шла совсем в ее вкусе.

— Ну это ж тебе так не пройдет, — грозился Катерине Львовне Сергей.

Умаявшись непогодью и переходом, Катерина Львовна с разбитою душою тревожно спала ночью на нарах в очередном этапном доме и не слышала, как в женскую казарму вошли два человека.

С приходом их с нар приподнялась Сонетка, молча показала она вошедшим рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своею свитою.

В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой одною суровою рубашкою, загулял во всю мужичью мочь толстый конец вдвое свитой веревки.

Катерина Львовна вскрикнула; но голоса ее не было слышно из-под свиты, окутывающей ее голову. Она рванулась, но тоже без успеха; на плечах ее сидел здоровый арестант и крепко держал ее руки.

— Пятьдесят, — сосчитал, наконец, один голос, в котором никому не трудно было узнать голос Сергея, и ночные посетители разом исчезли за дверью.

Катерина Львовна раскутала голову и вскочила; никого не было; только не-далеке кто-то злорадно хихикал под свитою. Катерина Львовна узнала хохот Сонетки.

Обиде этой уже не было меры; не было меры и чувству злобы, закипевшей в это мгновение в душе Катерины Львовны. Она без памяти ринулась вперед и без памяти упала на грудь подхватившей ее Фионы.

На этой полной груди, еще так недавно тешившей сластью разврата неверного любовника Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, как дитя к матери, прижималась к своей глупой и рыхлой сопернице. Они были теперь равны: они обе были сравнены в цене и обе брошены.

Они равны!.. подвластная первому случаю Фиона и совершающая драму любви Катерина Львовна!

Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно. Выплакав свои слезы,

она окаменела и с деревянным спокойствием собиралась выходить на перелычку.

Барабан бьет: тах-тарарах-тах; на двор вываливают скованные и нескованные арестантики, и Сергей, и Фиона, и Сонетка, и Катерина Львовна, и раскольник, скованный с жидом, и поляк на одной цепи с татаринном.

Все сгучились, потом выровнялись кое в какой порядок и пошли.

Безотраднейшая картина: горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом все до ужаса безобразно: бесконечная грязь, серое небо, обезлиственные, мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет.

В этих адских, душу раздирающих звуках, которые довершают весь ужас картины, звучат советы жены библейского Иова: «Прокляни день твоего рождения и умри».

Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о смерти и в этом печальном положении не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно понимает простой человек: он спускает тогда на волю всю свою звериную простоту, начинает глумить, издеваться над собою, над людьми, над чувством. Не особенно нежный и без того, он становится зол сугубо.

— Что, купчиха? Все ли ваше степенство в добром здоровье?— нагло спросил Катерину Львовну Сергей, чуть только партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала.

С этими словами он, сейчас же обратясь к Сонетке, покрыл ее своею полою и запел высоким фальцетом:

За окном в тени мелькает русая головка.

Ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка.

Я пойду тебя прикрою, так что не заметят.

При этих словах Сергей обнял Сонетку и громко поцеловал ее при всей партии...

Катерина Львовна все это видела и не видала: она шла совсем уж неживым человеком. Ее стали поталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с Сонеткой. Она стала предметом насмешек.

— Не троньте ее,— заступалась Фиона, когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающеюся Катериной Львовною.— Нешто не видите, черти, что женщина больна совсем?

— Должно, ножки промочила,— острил молодой арестант.

— Известно, купеческого роду: воспитания нежного,— отозвался Сергей.

— Разумеется, если бы им хотя чулочки бы теплые: оно бы ничего еще,— продолжал он.

Катерина Львовна словно проснулась.

— Змей подлый!— произнесла она, не стерпев,— насмехайся, подлец, насмехайся!

— Нет, я это совсем, купчиха, не в насмешку, а что вот Сонетка чулки больно гоже продает, так я только думал: не купит ли, мол, наша купчиха.

Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат. Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец показывается темная свинцовая полоса; другого края ее не рассмотришь. Эта полоса — Волга. Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно поднимающиеся широкопастые темные волны.

Партия промохших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перезову и остановилась, ожидая парома.

Подошел весь мокрый, темный паром; команда начала размещать арестантов. — На этом пароме, сказывают, кто-то водку держит, — заметил какой-то арестант, когда осыпaeмый хлопьями мокрого снега паром отчалил от берега и закачался на валах расходившейся реки.

— Да, теперь ба точно безделицу пропустить ничего, — отзывался Сергей и, преследуя для Сонеткиной потехи Катерину Львовну, произнес: — Купчиха, а ну-ко по старой дружбе угости водочкой. Не скупись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя радость, погуливали, осенние долги ночи просиживали, твоих родных без попов и без дяков на вечный покой спроваживали.

Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ее горела как в огне; зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно вперены в ходящие волны.

— Ну а водочки и я б уж выпила: мочи нет холодно, — прозвенела Сонетка.

— Купчиха, да угости, что ль! — мозолил Сергей.

— Эх ты, совесть! — выговорила Фиона, качая с упреком головою.

— Не к чести твоей совсем это, — поддержал солдатку арестантих Гордюшка.

— Хушь бы ты не против самой ее, так против других за нее посовестился.

— Ну ты, мирская табакерка! — крикнул на Фиону Сергей. — Тоже — совеститься! Что мне тут еще совеститься! я ее, может, и никогда не любил, а теперь... да мне вот стоптанный Сонеткин башмак милее ее рож, кошки здакой ободранной: так что ж ты мне против этого говорить можешь? Пусть вон Гордюшку косоногого любит; а то... — он оглянулся на едущего верхом сморчка в бурке и в военной фуражке с кокардой и добавил: — а то вон еще лучше к этапному пусть поластитя: у него под буркой по крайности дождем не пробирает.

— И все б офицершей звать стали, — прозвенела Сонетка.

— Да как же!.. и на чулочки-то б шутя бы достала, — поддержал Сергей.

Катерина Львовна за себя не заступалась: она все пристальнее смотрела в волны и шевелила губами. Промежду гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскрывающихся и хлопающих валов. И вот вдруг из одного переломившегося вала показывается ей синяя голова Бориса Тимофеича, из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой Федей. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами; а губы ее шепчут: «как мы с тобой погуливали, осенние долги ночи просиживали, лютой смертью с бела света людей спроваживали».

Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту — и она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним махом перекинулась с нею за борт парома.

Все окаменели от изумления.

Катерина Львовна показалась на верху волны и опять нырнула; другая волна вынесла Сонетку.

— Багор! бросай багор! — закричали на пароме.

Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Сонетки опять не стало видно. Через две секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками; но в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на Сонетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу, и обе более уже не показались.





Воительница

Очерк

Вся жизнь моя была досель
Правоучительною школой,
И смерть есть новый в ней урок.

Ап. Майков

Глава первая



ге-ге-ге! Нет, уж ты, ба-
тюшка мой, со мною, сделай милость, не спорь!

— Да отчего это, Домна Платоновна, не спорить-то? Что вы это, в самом деле, за привычку себе взяли, что никто против вас уж и слова не смей пикнуть?

— Нет, это не я, а вы-то все что себе за привычки позволяете, что обо всем сейчас готовы спорить! Погоди еще, брат, поживи с мое, да тогда и спорь; а пока человек жил мало или всех петербургских обстоятельств как следует не понимает, так ему — мой совет — сидеть да слушать, что говорят другие, которые постарше и эти обстоятельства знают.

Этак каждый раз останавливала меня моя добрая приятельница, кружевница Домна Платоновна, когда я в чем-нибудь не соглашался с ее мнениями о свете и людях. Этак же она останавливала и всякого другого из своих знакомых, если кто из них как-нибудь дерзал выражать какие-нибудь свои замечания, несогласные с убеждениями Домны Платоновны. А знакомство у Домны Платоновны было самое обширное, по собственному ее выражению даже «необъятное» и притом самое разнокалиберное. Приказчики, графы, князья, камер-лакеи, кухмистеры, актеры и купцы именитые — словом, всякого звания и всякой породы были у Домны Платоновны знакомые, а что про женский пол, так о нем и говорить нечего. Домна Платоновна женским полом даже никогда не хвалилась.

— Женский пол, — говорила она, когда так уже к слову выпадет, — мне вот как он мне весь известен!

При этом Домна Платоновна сожмет, бывало, горсть и показывает.

— Вот он, — говорит, — женский-то пол где у меня, весь в одном суставе сидит.

Столь обширное и разнообразное знакомство Домны Платоновны, составленное ею в таком городе, как Петербург, было для многих предметом крайнего удивления, и эти многие даже с некоторым благоговейным страхом спрашивали:

— Домна Платоновна! как это вы, матушка?..

— Что такое?

— Да что — вы со всеми знакомы?

— Да, мой друг, со всеми; почти решительно со всеми.

— Какими же это случаями и по какой причине...

— А все своей простотой, решительно одной простотой, — отвечает Домна Платоновна.

— Будто одной простотой!

— Да, друг мой, все меня любят, потому что я проста необыкновенно, и через эту свою простоту да через доброту много я на свете видела всякого горя; много я обид приняла; много клеветы всяческой оттерпела и не раз даже, сказать тебе, была бита, чтобы так не очень бита, но в конце всего люди любят.

— Ну, уж за то же и свет вы хорошо знаете.

— А уж что, мой друг, свет этот подлый я знаю, так точно знаю. На ладонке вот теперь, кажется, каждую шельму вижу. Только опять тебе скажу — нет... — добавит, смущаясь и задумываясь, Домна Платоновна.

— Что ж еще такое?

— А то, друг мой, — отвечает она, вздохнувши, — что нынче все новое выдумывают, и еще больше всякий человек ухитряется.

— Как же и чем он ухитряется, Домна Платоновна?

— А так и ухитряется, что ты его нынче, человека-то, с головы поймаешь, а он, гляди, к тебе с ног подходит. Удивительно это даже, ей-богу, как это сколько пошло обманов да выдумок: один так выдумывает, а другой еще лучше того превзойти хочет.

— Будто уж таки везде один обман на свете, Домна Платоновна?

— Да уж нечего тебе со мною спорить: на чем же, по-твоему, нынешний свет-то стоит? — на обмане да на лукавстве.

— Ну есть же все-таки и добрые люди на свете.

— На кладбищах, между родителей, может быть, есть и добрые; ну, только проку-то по ним мало; а что уж из живой-то из всей нынешней сволочи — все одно качество: отврат да и только.

— Что ж это так, Домна Платоновна, по-вашему выходит, что всё уж теперь плут на плуте и никому уж и верить нельзя?

— А ведь это, батюшка, никому не запрещено, верить-то; верь, сделай одолжение, если тебя охота берет. Я вон генеральше Шемельфеник верила; двадцать семь аршин кружевов ей поверила, да пришла анадмедни, говорю: «Старый должок, ваше превосходительство, позвольте получить», а она говорит: «Я тебе отдала». — «Никак нет, — говорю, — никогда я от вас этих денег не получала», а она еще как крикнет: «Как ты, — говорит, — смеешь, мерзавка, мне так отвечать? Вон ее!» — говорит. Лакей меня сейчас ту ж минуту под ручки, да и на солнышко, да еще штучку кружевов там позабыла (спасибо, дешевенькие). Вот ты им и верь.

— Ну, что ж, — говорю, — ведь это одна ж такая!

— Одна! нет, батюшка, не одна, а легион им имя-то сказывается. Это ведь в первые времена-то, как крестьяне у дворян были, ну точно, что в тогдашнее время воровство будто до низкого сословия все больше принадлежало; а как нынче, когда крестьян не стало, господа и сами тоже этим ничуть не гнушаются. Всем ведь известно, какое лицо на бале бриллиантовое кольцо сфендрил... Да, милый, да, нынче никто не спускает. Вон тоже Караулоза Авдотья Петровна, поглядеть на нее, чем не барыня? а воротничок на даче у меня в глазах украла.

— Как,— говорю,— украла? Что вы это! Матушка Домна Платоновна, вспомните, что вы говорите-то? Как это даме красть?

— А так себе просто; как крадут, так и украла. Еще ты то скажи, что я это ту ж самую минуту заметила и вежливо, политично ей говорю: «Извините,— говорю,— сударыня, не обронила ли я здесь воротничка, потому что воротничка,— говорю,— одного нет». Так она сейчас на эти слова хватить меня по наружности и отпечатала. «Вывести ее!»— говорит лакею; очень просто — и вывели. Говорю лакею: «Милосливый государь! сам ты,— говорю,— служащий человек, сам,— сказываю,— посуди, голубчик, ведь свое, ведь жалко мне!» А он мне в ответ: «Что,— говорит,— жалко, когда у нее привычка такая!» Вот тебе только всего и скажу. Она теперь в своем звании всякие привычки себе позволяет, а ты, бедный человек, молчи.

— И что ж вы изо всего этого, Домна Платоновна, выводите?

— А что, батюшка, мне выводите! Не мое дело никого выводить, когда меня самой выводят; а что народ плут и весь плутом взялся, против этого ты со мной, пожалуйста, лучше не спорь, потому я уж, слава тебе господи, я нонче только взгляну на человека, так вижу, что он в себе замыкает.

И попробовали бы вы после этого Домне Платоновне возражать! Нет, уж какой вы там ни будьте диалектик, а уж Домна Платоновна вас все-таки переспорит; ничем ее не убедите. Одно разве: приказали бы ее вывести; ну, тогда другое дело, а то непременно переспорит.

Глава вторая



неприменно должен откомендовать моим читателям Домну Платоновну как можно подробнее.

Домна Платоновна росту невысокого, и даже очень невысокого, а скорее совсем низенькая, но всем она показывается человеком крупным. Этот оптический обман происходит оттого, что Домна Платоновна, как говорят, воперек себя шире, и чем вверх не доросла, тем вишь берет. Здоровьем она не хвалится, хотя никто ее больною не помнит и на вид она гора горою ходит; одна грудь так такое из себя представляет, что даже ужасно, а сама она, Домна Платоновна, все жалуется.

— Дама я,— говорит,— из себя хотя, точно, полная, но настоящей крепости во мне, как в других прочих, никакой нет, и сон у меня самый страшный сон — аридов. Чуть я лягу, сейчас он меня оморит, и хоть ты после этого возьми меня да воробьям на пугало выставь, пока вволю не выплюсь — ничего не почувствую.

Могучий сон свой Домна Платоновна также считала одним из недугов своего полного тела и, как ниже увидим, немало от него перенесла горестей и несчастий.

Домна Платоновна очень любила прибегать к медицинским советам и в подробности описывать свои немощи, но лекарств не принимала и верила в одни только гарлемские капли, которые называла «гарлемскими каплями» и пузыречек с которыми постоянно носила в правом кармане своего шелкового капота. Лет Домне Платоновне, по ее собственному показанию, все вертелось

около сорока пяти, но по свежему ее и бодрому виду ей никак нельзя было дать более сорока. Волосы у Домны Платоновны в пору первого моего с нею знакомства были темно-коричневые — седого тогда еще ни одного не было заметно. Лицо у нее белое, щеки покрыты здоровым румянцем, которым, впрочем, Домна Платоновна не довольствуется и еще покупает в Пассаже, по верхней галерее, такие французские карточки, которыми усиливает свой природный румянец, не поддавшийся до сих пор никаким горестям, ни финским ветрам и туманам. Брови у Домны Платоновны словно как будто из черного атласа наложены: черны несказанно и блестят ненатуральным блеском, потому что Домна Платоновна сильно наводит их черным фиксатуаром и вытягивает между пальчиками в шнурочек. Глаза у нее как есть две черные сливы, окрапленные возбуждительною утреннею росой. Один наш общий знакомый, пленный турок Испулат, привезенный сюда во время Крымской войны, никак не мог спокойно созерцать глаза Домны Платоновны. Так, бывало, и заколотится как бесноватый, так и закричит:

— Ай грецкая глаза, совсем грецкая!

Другая на месте Домны Платоновны, разумеется, за честь бы себе такой отзвыв поставила; но Домна Платоновна никогда на эту турецкую лесть не поддавалась и всегда горячо отстаивала свое непогрешимо русское происхождение.

— Врешь ты, рожа твоя некрещеная! врешь, лягушка ты пузастая! — отвечает она, бывало, весело турку. — Я своего собственного поколения известного; да и у нас в своем месте даже и греков-то этих в заводе совсем нет, и никогда их там не было.

Нос у Домны Платоновны был не нос, а носик, такой небольшой, стройненький и пряменький, какие только ошибкой иногда зарождаются на Оке и на Зуше. Рот у нее был-таки великонец: видно было, что круглую ложкою в детстве кушала; но рот был приятный, такой свеженький, очертание правильное, губки алые, зубы как из молодой редьки вырезаны — одним словом, даже и не на острове необитаемом, а еще даже и среди града многолюдного с Домной Платоновной поцеловаться охотнику до поцелуев было весьма незложно. Но высшую прелесть лица Домны Платоновны, бесспорно, составляли ее персиковый подбородок и общее выражение, до того мягкое и детское, что если бы вас когда-нибудь взяла охота поразмыслить: как таки, при этой бездне простодушия, разлитой по всему лицу Домны Платоновны, с языка ее постоянно не сходит речь о людском ехидстве и злобе? — так вы бы непременно сказали себе: будь ты, однако, Домна Платоновна, совсем от меня проклята, потому что черт тебя знает, какие мне по твоей милости задачи приходят!

Нрава Домна Платоновна была самого общительного, веселого, доброго, необидчивого и простодушно-суеверного. Характер у нее был мягкий и сговорчивый; натура в основании своем честная и довольно прямая, хотя, разумеется, была у нее, как у русского человека, и маленькая лукавинка. Труд и хлопоты были сферою, в которой Домна Платоновна жила безвыходно. Она вечно суетилась, вечно куда-то бежала, о чем-то думала, что-то такое соображала или приводила в исполнение.

— На свете я живу одним-одна, одною своею душенькой, ну а все-таки жизнь, для своего пропитания, веду самую прекратительную, — говорила Домна Платоновна: — мнучься я, как угорелая кошка по базару; и если не один, то другой меня за хвост беспрестанно так и ловят.

— Всех дел ведь сразу не переделаете, — скажешь ей, бывало.

— Ну, всех, хоть не всех, — отвечает, — а все же ведь ужасно это как, я тебе скажу, отяготительно, а пока что прощай — до свиданья: люди ждут, в семи местах ждут, — и сама действительно так и побежит скороходью.

Домна Платоновна нередко и сама сознавала, что она не всегда трудится

для своего единого пропитания и что отяготительные труды ее и ее прекратительная жизнь могли бы быть значительно облегчены без всякого ущерба ее прямым интересам; но никак она не могла воздержать свою хлопотливость.

— Завистна уж я очень на дело; сердце мое даже взывает, как вижу, дело какое есть.

Завистна Домна Платоновна именно была только на хлопоты, а не на плату. К заработку своему, напротив, она иногда относилась с каким-то удивительным равнодушием.

«Обманул, варвар!» или «обманула, варварка!», бывало, только от нее и слышишь, а глядишь, уж и опять она бежит и распинается для того же варвара и для той же варварки, вперед предсказывая самой себе, что они и опять непременно надуют.

Хлопоты у Домны Платоновны были самые разнообразные. Официально она точно была только кружевница, то есть мецанки, бедные купчихи и поповны насылали ей «из своего места» разные воротнички, кружева и манжеты: она продавала эти произведения вразнос по Петербургу, а летом по дачам, и выроченные деньги, за удержанием своих процентов и лишков, высылала «в свое место». Но, кроме кружевной торговли, у Домны Платоновны были еще другие приватные дела, при орудовании которых кружева и воротнички играли только роль пропускного вида.

Домна Платоновна сватала, прискивала женихов невестам, невест женихам; находила покупателей на мебель, на надеванные дамские платья; отыскивала деньги под заклады и без закладов; ставила людей на места вкупно от губернерских до дворнических и лакейских; заносила записочки в самые известные салоны и будуары, куда городская почта и подумать не смеет проникнуть, и приносила ответы от таких дам, от которых несет только крещенским холодом и благочестием.

Но, несмотря на все свое досужество и связи, Домна Платоновна, однако, не озолотилась и не осеребрилась. Жила она в достатке, одевалась, по собственному ее выражению, «поважно» и в куске себе не отказывала, но денег все-таки не имела, потому что, во-первых, очень она зарывалась своей завистностью к хлопотам и часто ее добрые люди обманывали, а потом и с самыми деньгами у нее выходили какие-то мудреные оказии.

Главное дело, что Домна Платоновна была художница — увлекалась своими произведениями. Хотя она рассказывала, что все это она трудится из-за хлеба насущного, но все-таки это было несправедливо. Домна Платоновна любила свое дело как артистка: скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться делами рук своих — вот что было главное, и за этим просматривались и деньги и всякие другие выгоды, которых особа более реалистическая ни за что бы не просмотрела.

Впала в свою колею Домна Платоновна ненароком. Сначала она смиренно таскала свои кружева и вовсе не помышляла о сопряжении с этим промыслом каких бы то ни было других занятий: но столица волшебная преобразила нелепую мценскую бабу в того тонкого фактотума, каким я знавал драгоценную Домну Платоновну.

Стала Домна Платоновна смекать на все стороны и проникать всюду. Пошло это у нее так, что, не проникнуть куда бы то ни было Домне Платоновне было даже невозможно: всегда у нее на рученьке вышитый саквояж с кружевами, сама она в новеньком шелковом капоте; на шее кружевной воротничок с большими городками, на плечах голубая французская шаль с белой каймою; в свободной руке белый, как кипень, голландский платочек, а на голове либо фиолетовая, либо серизовая гроденаплевая повязочка, ну, одним словом, прелесть дама. А лицо! — само смирение и благочестие. Лицом своим Домна Платоновна умела владеть, как ей угодно.

— Без этого,— говорила она,— никак в нашем деле и невозможно: надо виду не показать, что ты Ананья или каналья.

К тому же и обращение у Домны Платоновны было тонкое. Ни за что, бывало, она в гостинной не скажет, как другие, что «была, дескать, я во всенародной бане», а выразится, что «имела я, сударь, счастье вчера быть в бес-телесном маскараде»; о беременной женщине ни за что не брякнет, как другие, что она, дескать, беременна, а скажет: «она в своем марьяжном интересе», и тому подобное.

Вообще была дама с обращением и, где следовало, умела задать тону своей образованностью. Но, при всем этом, надо правду сказать, Домна Платоновна никогда не заносилась и была, что называется, своему отечеству патриотка. По узости политического горизонта Домны Платоновны и самый патриотизм ее был самый узкий, то есть она считала себя обязанною хвалить всем Орловскую губернию и всячески привечать и обласкивать каждого человека «из своего места».

— Скажи ты мне,— говорила она,— что это такое значит: знаю ведь я, что наши орловцы первые на всем свете воры и мошенники; ну, а все какой ты ни будь шельма из своего места, будь ты хуже турки Испулатки лупоглазого, а я его не брошу и ни на какого самого честного из другой губернии променять не согласна?

Я ей на это отвечать не умел. Только, бывало, оба удивляемся:

— Отчего это в самом деле?

Глава третья



ое знакомство с Домной Платоновной началось по пустому поводу. Жил я как-то на квартире у одной полковницы, которая говорила на шести европейских языках, не считая польского, на который она сбивалась со всякого. Домна Платоновна знала ужасно много таких полковниц в Петербурге и почти для всех их обдывала самые разнообразные делишки: сердечные, карманные и совокупно карманно-сердечные и сердечно-карманные. Моя полковница была, впрочем, действительно дама образованная, знала свет, держала себя как нельзя приличнее, умела представить, что уважает в людях их прямые человеческие достоинства, много читала, приходила в неподдельный восторг от поэтов и любила декламировать из «Марии» Мальчевского:

Bo na tym świecie śmierć wszystko zmiecie.
Robak się legnie i w bujnym kwiecie.

Я видел Домну Платоновну первый раз у своей полковницы. Дело было вечером; я сидел и пил чай, а полковница декламировала мне:

Bo na tym świecie śmierć wszystko zmiecie.
Robak się legnie i w bujnym kwiecie¹.

¹ Потому что на этом свете смерть все уничтожит.
И в пышном цветке гнездится червяк. (Перевод автора.)

Домна Платоновна вошла, помолилась богу, у самых дверей поклонилась на все стороны (хотя, кроме нас двух, в комнате никого и не было), положила на стол свой саквояж и сказала:

— Ну вот, мир вам, и я к вам!

В этот раз на Домне Платоновне был шелковый коричневый капот, воротничок с язычками, голубая французская шаль и серизовая гроденаплевая повязочка, словом, весь ее мундир, в котором читатели и имеют представлять ее теперь своему художественному воображению.

Полковница моя очень ей обрадовалась и в то же время при появлении ее будто немножко покраснела, но приветствовала Домну Платоновну дружески, хотя и с немалым тактом.

— Что это вас давно не видно было, Домна Платоновна?— спрашивала ее полковница.

— Всё, матушка, дела,— отвечала, усаживаясь и осматривая меня, Домна Платоновна.

— Какие у вас дела!

— Да ведь вот тебе, да другой такой-то, да третьей, всем вам кортит, всем и угодить надо; вот тебе и дела.

— Ну, а то дело, о котором ты меня просила-то, помнишь...— начала Домна Платоновна, хлебнув чайку.— Была я наемднии... и говорила...

Я встал проститься и ушел.

Только всего и встречи моей была с Домной Платоновной. Кажется, знакомству бы с этого завязаться весьма трудно, а оно, однако, завязалось.

Сию я раз после этого случая дома, а кто-то стук-стук-стук в двери.

— Войдите,— отвечаю, не оборачиваясь.

Слышу, что-то широкое аползло и ворочается. Оглянулся — Домна Платоновна.

— Где ж,— говорит,— милостивый государь, у тебя здесь образ висит?

— Вон,— говорю,— в угле, над шторой.

— Польский образ или наш, христианский?— опять спрашивает, приподнимая потихоньку руку.

— Образ,— отвечаю,— кажется, русский.

Домна Платоновна покрыла глаза горсточкой, долго всматривалась в образ и наконец махнула рукою — дескать: «все равно!»— и помолилась.

— А узелочек мой,— говорит,— где можно положить?— и оглядывается.

— Положите,— говорю,— где вам понравится.

— Вот тут-то,— отвечает,— на диване его пока положу.

Положила саквояж на диван и сама села.

«Милый гость,— думаю себе,— бесцеремонливый».

— Этакие нынче образки маленькие,— начала Домна Платоновна,— в моду пошли, что ничего и не рассмотришь. Во всех это у аристократов всё маленькие образки. Как это нехорошо.

— Чем же это вам так не нравится?

— Да как же: ведь это, значит, они бога прячут, чтоб совсем и не найти его.

Я промолчал.

— Да право,— продолжала Домна Платоновна,— образ должен быть в свою меру.

— Какая же,— говорю,— мера, Домна Платоновна, на образ установлена?— и сам, знаете, вдруг стал чувствовать себя с ней как со старой знакомой.

— А как же!— возговорила Домна Платоновна,— посмотри-ка ты, милый друг, у купцов: у них всегда образ в своем виде, ланпад и сияние... все это как должно. А это значит, господа сами от бога бежат, и бог от них далече. Вот нынче на святой была я у одной генералши... и при мне камердинер ее входит и докладывает, что священники, говорит, пришли.

«Отказать»,— говорит.

«Зачем,— говорю ей,— не отказывайте — грех».

«Не люблю,— говорит,— я попов».

Ну что ж, ее, разумеется, воля; пожалуй себе отказывай, только ведь ты не любишь посланного; а тебя и пославший любить не будет.

— Вои,— говорю,— какая вы, Домна Платоновна, рассудительная!

— А нельзя,— отвечает,— мой друг, нынче без рассуждения. Что ты сколько за эту комнату платишь?

— Двадцать пять рублей.

— Дорого.

— Да и мне кажется дорого.

— Да что ж,— говорит,— не переедешь?

— Так,— говорю,— возиться не хочется.

— Хозяйка хороша.

— Нет, полноте,— говорю,— что вы там с хозяйкой.

— Ц-ты! Говори-ка, брат, кому-нибудь другому, да не мне; я знаю, какие все вы, шельмы.

«Ничего,— думаю,— отлично ты, гостья дорогая, выражаешься».

— Они, впрочем, полячки-то эти ловкие тоже,— продолжала, зевнув и крестя рот, Домна Платоновна,— они это с рассуждением делают.

— Напрасно,— говорю,— вы, Домна Платоновна, так о моей хозяйке думаете: она женщина честная.

— Да тут, друг милый, и бесчестия ей никакого нет: она человек молодой.

— Речи ваши,— говорю,— Домна Платоновна, умные и справедливые, но только я-то тут ни при чем.

— Ну, был ни при чем, стал городничом; знаю уж я эти петербургские обстоятельство, и мне толковать про них нечего.

«И вправду,— думаю,— тебя, матушка, не разуверишь».

— А ты ей помогай — плати, мол, за квартиру-то,— говорила Домна Платоновна, пригинаясь ко мне и ударяя меня слегка по плечу.

— Да как же,— говорю,— не платить?

— А так — знаешь, ваш брат, как осétит нашу сестру, так и норовит сейчас все на ее счет...

— Полноте, что это вы! — останавливаю Домну Платоновну.

— Да, дружок, наша-то сестра, особенно русская, в любви-то куда ведь она глупа: «на, мой сокол, тебе», готова и мясо с костей срезать да отдать; а ваш брат шаматон этим и пользуется.

— Да полноте вы, Домна Платоновна, какой я ей любовник.

— Нет, а ты ее жалей. Ведь если так-то посудить, ведь жалка, ей-богу же, друг мой, жалка наша сестра! Нашу сестру уж как бы надо было бить да драть, чтоб она от вас, поганцев, подальше береглась. И что это такое, скажи ты, за мудрено сотворено, что мир весь этими соглядатаями, мужчинами преисполнен!.. На что они? А опять посмотришь, и без них все будто как скучно; как будто под иную пору словно тебе и недостает чего. Черта в стуле, вот чего недостает! — рассердилась Домна Платоновна, плюнула и продолжала: — Я вон так-то раз прихожу к полковнице Домуховской... не знавал ты ее?

— Нет,— говорю,— не знавал.

— Красавица.

— Не знаю.

— Из полячек.

— Так что ж,— говорю,— разве я всех полячек по Петербургу знаю?

— Да она не из самых настоящих полячек, а крещеная,— нашей веры!

— Ну, вот и знай ее, какая такая есть госпожа Домуховская не из самых полячек, а нашей веры. Не знаю,— говорю,— Домна Платоновна; решительно не знаю.

— Муж у нее доктор.

— А она полковница?

— А тебе это в диковину, что ль?

— Ну-с, ничего,— говорю,— что же дальше?

— Так она с мужем-то с своим, понимаешь, попштыкалась.

— Как это попштыкалась?

— Ну, будто не знаешь, как, значит, в чем-нибудь не уговорились, да сейчас пшик-пшик, да и в разные стороны. Так и сделала эта Леканидка.

«Очень,— говорит,— Домна Платоновна, он у меня нравен».

Я слушаю да головой качаю.

«Капризов,— говорит,— я его сносить не могу; нервы мои,— говорит,— не выносят».

Я опять головой качаю. «Что это,— думаю,— у них нервы за стервы, и отчего у нас этих нервов нет?»

Прошло этак с месяц, смотрю, смотрю — моя барыня квартиру сняла: «жилцов,— говорит,— буду пущать».

«Ну что ж,— думаю,— надоело играть косточкой, покатай желвачок; не умела жить за мужней головой, так поживи за своей; пригонит мужа и к поганой луже, да еще будешь пить да похваливать».

Прихожу к ней опять через месяц, гляжу — жилец у нее есть, такой из себя мужчина видный, ну только худой и этак немножко осповат.

«Ах,— говорит,— Домна Платоновна, какого мне бог жильца послал — деликатный, образованный и добрый такой, всеми моими делами занимается».

«Ну, деликатиться-то, мол, они нынче все уж, матушка, выучились, а когда во все твои дела уж он взошел, так и на что ж того и законней?»

Я это смеюся, а она, смотрю, пых-пых, да и спламенела.

Ну, мой суд такой, что всяк себе как знает, а что если только добрый человек, так и умные люди не осудят и бог простит. Заходила я потом еще раза два, все застаю: сидит она у себя в каморке да плачет.

«Что так,— говорю,— мать, что рано соленой водой умываться стала?»

«Ах,— говорит,— Домна Платоновна, горе мое такое»,— да и замолчала.

«Что, мол,— говорю,— такое за горе? Иль живую рыбку съела?»

«Нет,— говорит,— ничего такого, слава богу, нет».

«Ну, а нет,— говорю,— так все другое пустяки».

«Денег у меня ни грошика нет».

«Ну, это,— думаю,— уж действительно дрянь дело; но знаю я, что человека в такое время не надо печалить».

«Денег,— говорю,— нет — перед деньгами. А жильцы ж твои»,— спрашиваю.

«Один,— говорит,— заплатил, а то пустые две комнаты».

«Вот уж эта мерзость запустения,— говорю,— в вашем деле всего хуже. Ну, а дружок-то твой?» Так уж, знаешь, без церемонии это ее спрашиваю.

Молчит, плачет. Жаль мне ее стало: слабая, вижу, неразумная женщина.

«Что ж,— говорю,— если он наглец какой, так и вон его».

Плачет на эти слова, ажно платок мокрый за кончики зубами шипет.

«Плакать,— говорю,— тебе нечего и убиваться из-за них, из-за поганцев, тоже не стоит, а что отказала ему, да только всего и разговора, и найдем себе такого, что и любовь будет и помощь; не будешь так-то зубами щелкать да убиваться». А она руками замахала: «не надо! не надо! не надо!» да сама кинулась в постель головой, в подушки, и надрывается, ажно как спинка в платье не лопнет. У меня на то время был один тоже знакомый купец (отец у него по Суровской линии свой магазин имеет), и просил он меня очень: «Познакомь,— говорит,— ты меня, Домна Платоновна, с какой-нибудь барышней, или хоть и с дамой, но только чтоб очень образованная была. Терпеть,— говорит,— не могу необразованных». И поверить можно, потому и отец у них и все мужчины в семье все как есть на дурах женаты, и у этого-то тоже жена дурища — всё, когда ни приди, сидит да печатаные пряники ест.

«На что,— думаю,— было бы лучше желать и требовать, как эту Леканиду сукотить с ним». Но, вижу, еще глупа — я и оставила ее: пусть дойдет на солнце!

Месяца два я у нее не была. Хоть и жаль было мне ее, но что, думала себе, когда своего разума нет и сам человек ничем кругом себя ограничить не понимает, так уж ему не поможешь.

Но о спажинках была я в их доме; кружевцов немного продала, и вдруг мне что-то кофию захотелось, и страсть как захотелось. Дай, думаю, зайду к Домуховской, к Леканиде Петровне, напьюсь у нее кофию. Иду это по черной лестнице, отворяю дверь на кухню — никого нет. Ишь, говорю, как живут откровенно — бери что хочешь, потому и самовар и кастрюли, все, вижу, на полках стоит.

Да только что этак-то подумала, иду по коридору и слышу, что-то хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Ах ты, боже мой! что это? думаю. Скажите пожалуйста, что это такое? Отворяю дверь в ее комнату, а он, этот приятель-то ее добрый — из актеров он был, и даже немаловажный актер — артист назывался; ну-с, держит он, сударь, ее одною рукою за руку, а в другой нагайка.

«Варвар! варвар!» — закричала я на него, — что ты это, варвар, над женщиной делаешь!» — да сама-то, знаешь, промеж них, саквожем-то своим накрываюсь, да промеж них-то. Вот ведь что вы, злодеи, над нашей сестрой делаете!

Я молчал.

— Ну, тут-то я их разняла, не стал он ее при мне больше наказывать, а она еще было и отговаривается.

«Это,— говорит,— вы не думайте, Домна Платоновна; это он шутил».

«Ладно,— говорю,— матушка; бочка-то, гляди, в платье от его шутилки не потрескались ли». Однако жили опять; все он у нее стоял на квартире, только ничего ей, мошенник, ни грошика не платил.

— Тем и кончилось?

— Ну, нет; через несколько времени пошел у них опять карамболь, пошел он ее опять что день трепать, а тут она какую-то жилищку еще к себе, приезжую барыньку из купчих, приняла. Чай, ведь сам знаешь, наши купчихи, как из дому вырвутся, на это дело препростые... Ну он ко всему же к прежнему да еще почал с этой жилищкой амуриться — пошло у них теперь такое, что я даже и ходить перестала.

«Бог с вами совсем! живите,— думаю,— как хотите».

Только тринадцатого сентября, под самое воздвижение честнаго и животворящаго креста, пошла я к Знаменью, ко всеношней. Отстояла всеношнюю, выхожу и в самом притворе на паперти, гляжу — эта самая Леканида Петровна. Жалкая такая, бурнусишко старенький, стоит на коленочках в уголочке и плачет. Опять меня взяла на нее жалость.

«Здравствуй,— говорю,— Леканида Петровна!»

«Ах, душечка,— говорит,— моя, Домна Платоновна, такая-сякая немазаная! Сам бог,— говорит,— мне вас послал», — а сама так вот ручьями слез горьких и заливается.

«Ну,— я говорю,— бог, матушка, меня не посылал, потому что бог ангелов бесплотных посылает, а я человек в свою меру грешный; но ты все-таки не плачь, а пойдем куда-нибудь под насесть сядем, Расскажи мне свое горе; может, чем-нибудь надумаемся и поможем».

Пошли.

«Что варвар твой, что ли, опять над тобой что сделал?» — спрашиваю ее.

«Никого,— говорит,— никакого варвара у меня нет».

«Да куда же это ты идешь?» — говорю, потому квартира ее была в Шестилавочной, а она, смотрю, на Грязную заворачивает.

Слово по слову, и раскрылось тут все дело, что квартиры уж у нее нет: мебелишку, какая была у нее, хозяин за долг забрал; дружок ее пропал — да и хорошо сделал, — а живет она в каморочке, у Авдотьи Ивановны Дислен. Такая эта подлая Авдотья Ивановна, даром что майорская она дочь и дворян-

ством своим величается, ну, а преподлая-подлая. Чуть я за нее, за негодяйку, один раз в квартал не попала по своей простоте по дурацкой. «Ну, только,— говорю я Леканиде Петровне,— я эту Дисленьшу, мой друг, очень знаю — это первая мошенница».

«Что ж,— говорит,— делать! Голубочка Домна Платоновна, что же делать?»

Ручонки-то, гляжу, свои ломит, ломит, инда даже смотреть жалко, как она их коверкает.

«Зайдите,— говорит,— ко мне».

«Нет,— говорю,— душечка, мне тебя хоша и очень жаль, но я к тебе в Дисленьшину квартиру не пойду — я за нее, за бездельницу, и так один раз чуть в квартал не попала, а лучше, если есть твое желание со мной поговорить, ты сама ко мне зайди».

Пришла она ко мне: я ее напоила чайком, обогрела, почавкали с нею, что бог послал на ужин, и спать ее с собой уложила. Довольно с тебя этого?

Я кивнул утвердительно головою.

— Ночью-то что я еще через нее страху имела! Лежит-лежит она, да вдруг вскочит, сядет на постели, бьет себя в грудь. «Голубочка,— говорит,— моя, Домна Платоновна! Что мне с собой делать?»

Какой час, уж вижу, поздний. «Полно,— говорю,— себе убиваться,— спи. Завтра подумаем».

«Ах,— говорит,— не спится мне, не спится мне, Домна Платоновна».

Ну, а мне спать смерть как хочется, потому у меня сон необыкновенно какой крепкий.

Проспала я этак до своего часу и прокинулась. Я прокинулась, а она, гляжу, в одной рубашоночке сидит на стуле, ножонки под себя подобрала и папироску курит. Такая беленькая, хорошенькая да нежненькая — точно вот пух в атласе.

«Умеешь,— спрашиваю,— самоварчик поставить?»

«Пойду,— говорит,— попробую».

Надела на себя юбочку бумазейную и пошла в кухню. А мне-таки тут что-то смерть не хотелось вставать. Приносит она самоваришко, сели мы чай пить, она и говорит: «Что,— говорит,— я, Домна Платоновна, надумалась?»

«Не знаю,— говорю,— душечка, чужую думку своей не раздумашь».

«Поеду я,— говорит,— к мужу».

«На что, мол, лучше этого, как честной женой быть,— когда б,— спрашиваю,— только он тебя принял?»

«Он,— говорит,— у меня добрый; я теперь вижу, что он всех добрей».

«Добрый-то,— отвечаю ей,— это хорошо, что он добрый; а скажи-ка ты мне, давно ты его покинула-то?»

«А уж скоро,— говорит,— Домна Платоновна, как с год будет».

«Да вот, мол, видишь ты, с год уж тому прошло. Это тоже,— говорю,— дамочка, время не малое».

«А что же,— спрашивает,— такое, Домна Платоновна, вы в этом полагаете?»

«Да то,— говорю,— полагаю, что не завелась ли там на твое место тоже какая-нибудь прирочная мастерица, горшечная пагубница».

«Я,— отвечает,— об этом, Домна Платоновна, и не подумала».

«То-то, мол, мать моя, и есть, что *«не подумала»*. И все-то вот вы так-то об этом не думаете!.. А надо думать. Когда б ты подумала-то да рассудила, так, может быть, и много б чего с тобой не было».

Она таки тут ух как засмутилась! Заскребло, вижу, ее за сердчишко-то; губенки свои этак кусает, да и произносит таково тихонечко: «Он,— говорит,— мне кажется, совсем не такой был».

«Ах вы,— подумала я себе,— звери вы этикие капустные! Сами козами в горах так и прыгают, а муж хоть и им негод, так и другой не трожь». Не поверишь ты, как мне это всякий раз на них досадно бывает. «Прости-ка ты

меня, матушка,— сказала я ей тут-то,— а только речь твоя эта, на мой згад, ни к чему даже не пристала. Что же,— говорю,— он, твой муж, за такой за особенный, что ты говоришь: *не такой он?* Ни в жизнь мою никогда я этому не поверю. Всё, я думаю, и он такой же самый, как и все: костяной да жильный. А ты бы,— говорю,— лучше бы вот так об этом сообразила, что ты, женщиной бымши, себя не очень-то строго соблюла, а ему,— говорю,— ничего это и в суд не поставится,— потому что ведь и в самом-то деле, хоть и ты сам, ангел мой, сообрази: мужчина что сокол: он схватил, встрепенулся, отряхнулся, да и опять лети, куда око глянет; а нашей сестре вся и дорога, что от пени до порога. Наша сестра вашему брату все равно что дураку волынка: поиграл, да и кинул. Согласен ли ты с этой справедливостью?

Ничего не возражаю.

А Домна Платоновна, спасибо ей, не дождавшись моего ответа, продолжает:

— Ну-с, вот и эта, милостивая моя государыня, наша Леканида Петровна, после таких моих слов и говорит: «Я,— говорит,— Домна Платоновна, ничего от мужа не скрою, во всем сама повинюсь и признаюсь: пусть он хоть голову мою снимет».

«Ну, это,— отвечаю,— опять тоже, по-моему, не дело, потому что мало ли какой грех был, но на что про то мужу сказывать. Что было, то прошло, а слушать ему про это за большое удовольствие не будет. А ты скрепись и виду не покажи».

«Ах, нет!— говорит,— ах, нет, я лгать не хочу».

«Мало,— говорю,— чего не хочешь! Сказывается: грех воровать, да нельзя миновать».

«Нет, нет, нет, я не хочу, не хочу! Это грех обманывать».

Зарядила свое, да и баста.

«Я,— говорю,— прежде все опишу, и если он простит — получу ответ, тогда и поеду».

«Ну, делай, мол, как знаешь; тебя, видно, милая, не научишь. Дивлюсь только,— говорю,— одному, что какой это из вас такой новый завод пошел, что на грех идете, вы тогда с мужьями не спрашиваетесь, а промолчать, прости господи, о пакостях о своих — греха боитесь. Гляди,— говорю,— бабочка, не кусать бы тебе локтя!»

Так-таки оно все на мое вышло. Написала она письмо, в котором, уж бог ее знает, все объяснила, должно быть,— ответа нет. Придет, плачет-плачет — ответа нет.

«Поеду,— говорит,— сама; слугою у него буду».

Опять я подумала — и это одобряю. Она, думаю, хорошенькая, пусть хоть первоначально какое время и погневается, а как она на глазах будет, авось опять дух, во тьме приходящий, спутает; может, и забудется. Ночная кукушка, знаешь, дневную всегда перекукует.

«Ступай,— говорю,— все ж муж, не полюбовник, все скорей смиляется».

«А где б,— говорит,— мне, Домна Платоновна, денег на дорогу достать?»

«А своих-то,— спрашиваю,— аль уж ничего нет?»

«Ни грошика,— говорит,— нет; я уж и Дисленьше должна».

«Ну, матушка, денег доставать здесь остро».

«Взгляните,— говорит,— на мои слезы».

«Что ж,— говорю,— дружок, слезы?— слезы слезами, и мне даже самой очень тебя жаль, да только Москва слезам не верит, говорит пословица. Под них денег не дадут».

Она плачет, я это тоже с нею сижу, да так промеж себя и разговариваем, а в комнату ко мне шасть вдруг этот полковник... как его зовут-то?

— Да ну, бог там с ним, как его зовут!

— Уланский, или как их это называются-то они?— инженер?

— Да бог с ним, Домна Платоновна.

— Ласточкин он, кажется, будет по фамилии, или как не Ласточкин? Так как-то птичья фамилия и не то с «люди», не то с «како» начинается...

— Ах, да оставьте вы его фамилию в покое.

— Я этак-то вот много кого: по местам сейчас тебе найду, а уж фамилию не припомню. Ну, только входит этот полковник; начинает это со мною шутить, да на ушко и спрашивает:

«Что,— говорит,— это за барышня такая?»

Она совсем барыня, ну, а он ее барышней назвал: очень она еще моложава была на вид.

Я ему отвечаю, кто она такая.

«Из провинции?»— спрашивает.

«Это,— говорю,— вы угадали — из провинции».

А он это — не то как какой ветренник или повеса — известно, человек уж в таком чине — любил, чтоб женщина была хоть и на краткое время, но не забывши свой стыд, и с правилами; ну, а наши питерские, знаешь, чай, сам, сколько у них стыда-то, а правил и еще того больше: у стриженной девки на голове волос больше, чем у них правил.

— Ну-с, Домна Платоновна?

«Ну, сделай,— говорит,— милость, Домна Панталоновна»,— у них это, у полковых, у всех все такая привычка: не скажет: Платоновна, а *Панталоновна*. «Ну-с,— говорит,— Домна Панталоновна, ничего,— говорит,— для тебя не пожалю, только ограничь ты мне это дело в порядке».

Я, знаешь, ничего ему решительного не отвечаю, а только бровями этак, понимаешь, на нее повела и даю ему мину, что, дескать, «трудно».

«Невозможно?»— говорит.

«Этого,— говорю,— я тебе, генерал мой хороший, не объясню, потому это ее душа, ее и воля, а что хотя и не надеюсь, но попробовать я для тебя попробую».

А он сейчас мне: «Нечего,— говорит,— тут, Панталониха, словами разговаривать; вот,— говорит,— тебе пятьдесят рублей, и все их сейчас ей передай».

— И вы их,— спрашиваю,— передали?

— А ты вот лучше не забегай, а если хочешь слушать, так слушай. Рассуждаю я, взявши у него эти деньги, что хотя, точно, у нас с нею никогда разговора такого, на это похожего, не было, чтоб претекст мне ей такой сделать, ну только, зная эти петербургские обстоятельства, думаю: «Ох, как раз она еще гляди, и сама рада, бедная, будет!» Выхожу я к ней в свою в маленькую комнатку, где мы сидели-то, и говорю: «Ты,— говорю,— Леканида Петровна, в рубашечке, знать, родилась. Только о деньгах поговорили, а оне,— говорю,— и вот оне», да бумажку-то перед ней и кладу. Она: «Кто это? как это? откуда?»— «Бог,— я говорю,— тебе послал»,— говорю ей громко, а на ушко-то шепчу: «Вот этот барин,— сказываю,— за одно твое внимание тебе посылает... Прибери,— говорю,— скорей эти деньги!»

А она, смотрю, слезы у нее по глазам и на стол кап-кап, как гороховины. С радости или с горя — никак не разберу, с чего эти слезы.

«Прибери,— говорю,— деньги-то да выдь на минутку в ту комнату, а я тут покопаюсь...» Довольно тебе кажется, как я все это для нее вдруг прекрасно устроила?

Смотрю я на Домну Платоновну: ни бровка у нее не моргнет, ни уста у нее не лукавят; вся речь ее проста, сердечна; все лицо ее выражает одно доброе желание пособить бедной женщине и страх, чтоб это внезапно подвернувшееся благодетельное событие как-нибудь не расстроилось,— страх не за себя, а за эту же несчастную Леканиду.

— Довольно тебе этого? Кажется, все, что могла, все я для нее сделала,— говорит, привскакивая и ударяя рукою по столу, Домна Платоновна, причем лицо ее вспыхивает и принимает выражение гневное.— А она, мерзавка этакая! — восклицает Домна Платоновна,— она с этим самым словом — мах, безо всего,

как сидела, прямо на лестницу и гу-гу-гу: во всю мочь ревет, значит. Осрамила! Я это в свой уголок скорей; он тоже за шайку да драла. Гляжу вокруг себя — вижу, и платок она свой шейный, так, мериносовый, старенький платчишко, — забыла. «Ну, стой же, — думаю, — ты, дрянь этакая! Придешь ты, гадкая, я тебе этого так не подарю». Через день, не то через два, вернулась это я к себе домой, смотрю — и она жалуется. Я, хоть сердце у меня на ее невелико, потому что я вспыльчива только, а сердца долго никогда не держу, но вид такой ей даю, что сердита ужасно.

«Здравствуйте, — говорит, — Домна Платоновна».

«Здравствуй, — говорю, — матушка! За платочком, что ли, пришла? — вот твой платок».

«Я, — говорит, — Домна Платоновна, извините меня, так тогда испугалась».

«Да, — говорю ей, — покорно вас, матушка, благодарю. За мое же к вам за расположение вы такое мне наделали, что на что лучше желать-требовать».

«В перепуге, — говорит, — я была, Домна Платоновна, простите, пожалуйста».

«Мне, — отвечаю, — тебя прощать нечего, а что мой дом не такой, чтоб у меня скандалять, бегать от меня по лестницам да визги эти свои всякие здесь поднимать. Тут, — говорю, — и жильцы благородные живут, да и хозяин, — говорю, — процентчик — к нему что минута народ идет, так он тоже этих визгов-то не захочет у себя слышать».

«Виновата я, Домна Платоновна. Сами вы посудите, такое предложение».

«Что ж ты, — говорю, — такая за особенная, что этак очень тебя предложение это оскорбило? Предложить, — говорю, — всякому это вольно, так как ты женщина нуждающая; а ведь тебя насильно никто не брал, и зевать-то, стало быть, тебе во все горло нечего было».

Простить просит.

Я ей и простила, и говорить с ней стала, и чаю чашку налила.

«Я к вам, — говорит, — Домна Платоновна, с просьбой: как бы мне денег заработать, чтоб к мужу ехать».

«Как же, мол, ты их, сударыня, заработаешь? Вот был случай, упустила, теперь сама думай; я уж ничего не придумаю. Что ж ты такое можешь работать».

«Шить, — говорит, — могу; шляпы могу делать».

«Ну, душечка, — отвечаю ей, — ты лучше об этом меня спроси; я эти петербургские обстоятельства-то лучше тебя знаю; с этой работой-то, окромя уж того, что ее, этой работы, достать негде, да и те, которые ею и давно-то занимаются и настоящие-то шитвицы, так и те, — говорю, — давно голые бы ходили, если б на одежонку себе грехом не доставали».

«Так как же, — говорит, — мне быть?» — и опять руки ломает.

«А так, — говорю, — и быть, что было бы не коробатиться; давно бы, — говорю, — уж другой бы день к супругу выехала».

И-и-их, как она опять на эти мои слова вся как вспыхнет!

«Что это, — говорит, — вы, Домна Платоновна, говорите? Разве, — говорит, — это можно, чтоб я на такие скверные дела пустилась?»

«Пускалась же, — говорю, — меня про то не спрашивалась».

Она еще больше запламенела.

«То, — говорит, — грех мой такой был, увлечение, а чтобы я, — говорит, — раскаявшись да собираясь к мужу, еще на этакие подлые средства поехала — ни за что на свете!»

«Ну, ничего, — говорю, — я, матушка, твоих слов не понимаю. Никаких я тут подлостей не вижу. Мое, — говорю, — рассуждение такое, что когда если хочешь себя женщина на настоящий путь поворотить, так должна она всем этим пренебрегать».

«Я, — говорит, — этим предложением пренебрегаю».

Очень, слышь, большая барыня! Так там с своим с конопастым безо всякого

без пути сколько время валандалась, а тут для дела, для собственного покоя, чтоб на честную жизнь себя повернуть — шагу одного не может, видишь, ступить, минутая уж ей одна и та тяжела очень стала.

Смотрю опять на Домну Платоновну — ничего в ней нет такого, что лежит печатью на специалистках по части образования жертв «общественного недуга», а сидит передо мною баба самая простодушная и говорит свои мерзости с невозмутимой уверенностью в своей доброте и непроходимой глупости госпожи Леканидки.

— «Здесь,— говорю,— продолжает Домна Платоновна,— столица; здесь даром, матушка, никто ничего не даст и шагу-то для тебя не ступит, а не то что деньги».

Этак поговорили — она и пошла. Пошла она, и недели с две, я думаю, ее не было видно. На конец того дела является голубка вся опять в слезах и опять с своими охами да вздохами.

«Вздыхай,— говорю,— ангел мой, не вздыхай, хоть грудь надсади, но как я хорошо петербургские обстоятельства знаю, ничего тебе от твоих слез не pomoжeтся».

«Боже мой! — сказывает,— у меня уж, кажется, как глаза от слез не вылезут, голова как не треснет, грудь болит. Я уж,— говорит,— и в общества сердобольные обращалась: пороги все обила — ничего не выходила».

«Что ж, сама ж,— говорю,— виновата. Ты бы меня расспросила, что эти все общества значат. Туда,— говорю,— для того именно и ходят, чтоб только последние башмаки дотапывать».

«Взгляните,— говорит,— сами, какая я? На что я стала похожа».

«Вижу,— отвечаю ей,— вижу, мой друг, и нимало не удивляюсь, потому горе только одного рака красит, но помочь тебе,— говорю,— ничем не могу».

С час тут-то она у меня сидела и все плакала, и даже, правду сказать, уж и надоела.

«Нечего,— говорю ей на конец того,— плакать-то: ничего от этого не pomoжeтся; а умнее сказать, надо покориться».

Смотрю, слушает с плачем и — уж не сердится.

«Ничего,— говорю,— друг любезный, не поделаешь: не ты первая, не ты будешь и последняя».

«Занять бы,— говорит,— Домна Платоновна, хоть рублей пятьдесят».

«Пятидесяти копеек,— говорю,— не займешь, а не то что пятидесяти рублей — здесь не таковский город, а столица. Были у тебя пятьдесят рублей в руках — точно, да не умела ты их брать, так что ж с тобой делать?»

Поплакала она и ушла. Было это как раз, помню, на Иоанна Рыльского, а тут как раз через два дня живет праздник: иконы Казанския божьей матери. Так что-то мне в этот день ужасно как нездоровилось — с вечера я это к одной купчихе на Охту ездила да, должно быть, простудилась на этом каторжном перевозе, — ну, чувствую я себя, что нездорова; никуда я не пошла: даже и у обедни не была; намазала себе нос салом и сажу на постели. Гляжу, а Леканида Петровна моя ко мне жалует, без бурнусика, одним платочком покрывшись.

«Здравствуйте,— говорит,— Домна Платоновна».

«Здравствуй,— говорю,— душечка. Что ты,— спрашиваю,— такая неубранная?»

«Так,— говорит,— на минуту,— говорит,— выскочила,— а сама, вижу, вся в лице меняется. Не плачет, знаешь, а то всполыхнет, то сбледнеет. Так меня тут же как молонья мысль и прожгла: верно, говорю себе, чуть ли ее Дисленьша не выгнала».

«Или,— спрашиваю,— что у вас с Дисленьшей вышло?» — а она это дёрг-дёрг себя за губенку-то, и хочет, вижу, что-то сказать, и заминается.

«Говори, говори, матушка, что такое?»

«Я,— говорит,— Домна Платоновна, к вам». А я молчу.

«Как,— говорит,— вы, Домна Платоновна, поживаете?»

«Ничего,— говорю,— мой друг. Моя жизнь все одинаковая».

«А я...— говорит,— ах, я просто совсем с ног сбился».

«Тоже,— говорю,— видно, и твое все еще одинаково?»

«Все то же самое,— говорит.— Я уж,— говорит,— всюду кидалась. Я уж, кажется, всякий свой стыд позабыла; все ходила к богатым людям просить. В Кузнечном переулке тут, говорили, один богач помогает бедным — у него была; на Знаменской тоже была».

«Ну, и много же,— говорю,— от них вынесли?»

«По три целковых».

«Да и то,— говорю,— еще много. У меня,— говорю,— купец знакомый у Пяти Углов живет, так тот разменяет рубль на копейки и по копейке в воскресенье и раздает. «Все равно,— говорит,— сто добрых дел выходит перед богом». Но чтоб пятьдесят рублей, как тебе нужно,— этого,— говорю,— я думаю, во всем Петербурге и человека такого нет из богачей, чтобы даром дал».

«Нет,— говорит,— говорят, есть».

«Кто ж это, мол, тебе говорил? Кто такого здесь видел?»

«Да одна дама мне говорила... Там у этого богача мы с нею в Кузнечном вместе дожидали. Грек, говорит, один есть на Невском: тот много помогает».

«Как же это,— спрашиваю,— он за здорово живешь, что ли, помогает?»

«Так,— говорит,— так, просто так помогает, Домна Платоновна».

«Ну, уж это,— говорю,— ты мне, пожалуйста, этого лучше и не ври. Это,— говорю,— сущий вздор».

«Да что же вы,— говорит,— спорите, когда эта дама сама про себя даже рассказывала? Она шесть лет уж не живет с мужем, и всякий раз как пойду, говорит, так пятьдесят рублей».

«Врет,— говорю,— тебе твоя знакомая дама».

«Нет,— говорит,— не врет».

«Врет, врет,— говорю,— и врет. Ни в жизнь этому не поверю, чтобы мужчина женщине пятьдесят рублей даром дал».

«А я,— говорю,— утверждаю вас, что это правда».

«Да ты что ж, сама, что ли,— говорю,— ходила?»

А она краснеет, краснеет, глаз куда деть не знает.

«Да вы,— говорит,— что, Домна Платоновна, думаете? Вы, пожалуйста, ничего такого не думайте! Ему восемьдесят лет. К нему много дам ходят, и он ничего от них не требует».

«Что ж,— говорю,— он красотой, что ли, только вашей освещается?»

«Вашею? Почему же это,— говорит,— вы опять так утверждаете, что как будто и я там была?» А сама так, как розан, и покраснелась.

«Чего ж,— говорю,— не утверждать? разве не видно, что была?»

«Ну так что ж такое, что была? Да, была».

«Что ж, очень,— говорю,— твоему счастью рада, что побывала в хорошем доме».

«Ничего,— говорит,— там нехорошего нет. Я очень просто зашла,— говорит,— к этой даме, что с ним знакома, и рассказала ей свои обстоятельства... Она, разумеется, мне сначала сейчас те же предложения, что и все делают... Я не захотела; ну, она и говорит: «Ну так вот, не хотите ли к одному греку боготому сходить? Он ничего не требует и очень много хорошеьким женщинам помогает. Я вам,— говорит,— адрес дам. У него дочь на фортепиано учится, так вы будто как учительница придете, но к нему самому ступайте, и ничего,— говорит,— вас стеснять не будет, а деньги получите». Он, понимаете, Домна Платоновна, он уже очень старый-престарый».

«Ничего,— говорю,— не понимаю».

Она, вижу, на мою недогадливость сердится. Ну, а я уж где там не догады-

ваюсь: я все отлично это понимаю, к чему оно клонит, а только хочу ее стыдом-то этим помучить, чтоб совесть-то ее взяла хоть немножко.

«Ну как,— говорит,— не понимаете?»

«Да так,— говорю,— очень просто не понимаю, да и понимать не хочу».

«Отчего это так?»

«А оттого,— говорю,— что это отврат и противность, тьфу!» Стыжу ее; а она, смотрю, морг-морг и кидается ко мне на плечи, и целует, и плачучи говорит: «А с чем же я все-таки поеду?»

«Как с чем, мол, поедешь? А с теми деньгами-то, что он тебе дал».

«Да он мне всего,— говорит,— десять рублей дал».

«Отчего так,— говорю,— десять? Как это — всем пятьдесят, а тебе всего десять!»

«Черт его знает!»— говорит с сердцем.

И слезы даже у нее от большого сердца остановились.

«А то-то, мол, и есть!.. видно, ты чем-нибудь ему не потрафила. Ах вы,— говорю,— дамки вы этикие, дамки! Не лучше ли, не честнее ли я тебе, простая женщина, советовала, чем твоя благородная посоветовала?»

«Я сама,— говорю,— это вижу».

«Раньше,— говорю,— надо было видеть».

«Что ж я,— говорит,— Домна Платоновна... я же ведь теперь уж и решилась»,— и глаза это в землю тупит.

«На что ж,— говорю,— ты решилась?»

«Что ж,— говорит,— делать, Домна Платоновна, так, как вы говорили... вижу я, что ничего я не могу пособить себе. Если б,— говорит,— хоть хороший человек...»

«Что ж,— говорю, чтоб много ее словами не конфузить,— я,— говорю,— отягощусь, похлопочу, но только уже и ты ж, смотри, сделай милость, не капризничай».

«Нет,— говорит,— уж куда!..» Вижу, сама давится, а сама твердо отвечает: «Нет,— говорит,— отяготитесь, Домна Платоновна, я не буду капризничать». Узнаю тут от нее, посидевши, что эта подлая Дисленьша ее выгоняет; и то есть не то что выгоняет, а и десять рублей-то, что она, несчастная, себе от грека принесла, уж отобрала у нее и потом совсем уж ее и выгнала и бельишко — какая там у нее была рубашка да перемывашка — и то все обобрала за долг и за хвост ее, как кошку, да на улицу.

«Да знаю,— говорю я,— эту Дисленьшу».

«Она,— говорит,— Домна Платоновна, кажется, просто торговать мною хотела».

«От нее,— отвечаю,— другого-то ничего и не дождешься».

«Я,— говорит,— когда при деньгах была, я ей не раз помогала, а она со мной так обошлась, как с последней».

«Ну, душечка,— говорю,— нынче ты благодарности в людях лучше и не ищи. Нынче, чем ты кому больше добра делай, тем он только готов тебе за это больше напакостить. Тонет, так топор сулит, а вынырнет, так и топорница жаль».

Рассуждаю этак с ней и ни-и-и думаю того, что она сама, шельма эта Леканида Петровна, как мне за все отблагодарит.

Домна Платоновна вздохнула.

— Вижу, что она все это мнется да трется,— продолжала Домна Платоновна,— и говорю: «Что ты хочешь сказать-то? Говори — лишних бревен никаких нет: в квартал надзирателю доносить некому».

«Когда же?»— спрашивает.

«Ну,— говорю,— мать моя, надо подождать: это тоже шах-мах не делается».

«Мне,— говорит,— Домна Платоновна, деться некуда».

А у меня — вот ты как зайдешь когда-нибудь ко мне, я тебе тогда покажу — есть такая каморка, так, маленькая такая, вещи там я свои, какие есть, берегу,

и если случится какая то же дамка, что места ищет иногда или случая какого дожидается, так в то время отдаю. На эту пору каморочка у меня была свободна. «Переходи,— говорю,— и живи».

Переход ее весь в том и был, что в чем пришла, в том и осталась: все Дисленьша, мерзавка, за долги забрала.

Ну, видя ее бедность, я дала ей тут же платье — купец один мне дарил; чудное платье, крепкошелеевое, не то шикшинетеневое, так как-то материя-то эта называлась,— но только узко оно мне в лифике было. Шитвица-пакостница не потрафила, да я, признаться, и не люблю фасонных платьев, потому сжимают они очень в грудях, я все вот в этаких капотах хожу.

Ну, дала я ей это платье, дала кружевцов; перешла она это платьишко, отдала его кое-где кружевцами, и чудесное еще платьице вышло. Пошла я, сударь мой, в Штинбоков пассаж, купила ей полсапожки, с кисточками такими, с бахромочкой, с каблучками; дала ей воротничков, манишечку — ну, одним словом, нарядила молодца, яко старца; не стыдно ни самой посмотреть, ни людям показать. Даже сама я не утерпела, пошутила ей: «Франтишка,— говорю,— ты какая! умеешь все как к лицу сделать».

Живем мы после этого вместе неделю, живем другую, все у нас с нею отлично: я по своим делам, а она дома остается. Вдруг тут-то дело мне припало к одной не то что к дамке, а к настоящей барыне, и немолодая уж барыня, а такая-то, прости господи!.. звезда восточная. Студента все к сыну в гувернеры искала. Ну, уж я знаю, какого ей надо студента.

«Чтоб был,— говорит,— опрятный; чтоб не из этих, как вот шляются — сицилисты,— они не знают небось, где и мыло продается».

«На что ж,— говорю,— из этих? Куда они годятся!»

«И,— говорит,— чтоб в возрасте был, а не дитею бы смотрел; а то дети его и слушаться не будут».

«Понимаю, мол, все».

Отыскала я студента: мальчонко молоденький, но этаким штуковатый и чищенный, все сразу понимает. Иду-с я теперь с этим делом к этой даме; передала ей адрес; говорю: так и так, тогда и тогда будет, и извольте его посмотреть, а что такое если не годится — другого,— говорю,— найдем, и сама ухожу. Только иду это с лестницы, а в швейцарской генерал мне навстречу и вот он. И этот самый генерал, надо тебе сказать, хоть он и штатский, но очень образованный. В доме у него роскошь такой: зеркала, лампы, золото везде, ковры, лакеи в перчатках, везде это духами накурено. Одно слово, свой дом, и живут в свое удовольствие; два этажа сами занимают: он, как взойдешь из швейцарской, сейчас налево; комнат восемь, один живет, а направо сейчас другая такая ж половина, в той сын старший, тоже женатый уж года с два. На богатой тоже женился, и все как есть в доме очень ее хвалят, говорят — предобрая барыня, только чахотка, должно, у нее — очень уж худая. Ну, а наверху, сейчас по этакой лестнице — широкая-преширокая лестница и вся цветами установлена — тут сама старуха, как тетеря на токовище, сидит с меньшенькими детьми, и гувернеры-то эти там же. Ну, знаешь уж, как на большую ногу живут!

Встретил меня генерал и говорит: «Здравствуй, Домна Платоновна!» — Превежливый барин.

«Здравствуйте,— говорю,— ваше превосходительство».

«У жены, что ль, была?» — спрашивает.

«Точно так,— говорю,— ваше превосходительство, у супруги вашей, у генеральши была; кружевца,— говорю,— старинные приносила».

«Нет ли,— говорит,— у тебя чего, кроме кружевцов, хорошенького?»

«Как,— говорю,— не быть, ваше превосходительство! Для хороших,— говорю,— людей всегда на свете есть что-нибудь хорошее».

«Ну, пойдем-ка,— говорит,— пройдемся; воздух,— говорит,— нынче очень свежий».

«Погода,— отвечаю,— отличная, редко такой и дожدهшься».

Он выходит на улицу, и я за ним, а карета сзади нас по улице едет. Так вместе по Моховой и идем — ей-богу правда. Препростодушный, говорю тебе, барин! «Что ж,— спрашивает,— чем же ты это нынче, Домна Платоновна, мне похвалишься?»

«А уж тем, мол, ваше превосходительство, похваюсь, что могу сказать, что редкость».

«Ой ли, правда?»— спрашивает — не верит, потому что он очень и опытный — постоянно все по циркам да по балетам и везде страшно по этому предмету со вниманием следит.

«Ну, уж хвалиться,— говорю,— вам, сударь, не стану, потому что, кажется, изволите знать, что я попусту врать на ветер не охотница, а вы, когда вам угодно, извольте,— говорю,— пожаловать. Гляженое лучше хваленого».

«Так не лжешь,— говорит,— Домна Платоновна, стоящая штучка?»

«Одно слово,— отвечаю ему я,— ваше превосходительство, больше и говорить не хочу. Не такой товар, чтоб еще нахваливать».

«Ну, посмотрим,— говорит,— посмотрим».

«Милости,— говорю,— просим. Когда пожалуете?»

«Да как-нибудь на этих днях,— говорит,— вероятно, заеду».

«Нет,— говорю,— ваше превосходительство, вы извольте назначить как наверное, так,— говорю,— и ждать будем; а то я,— говорю,— тоже дома не сижу: волка, мол, ноги кормят».

«Ну, так я,— говорит,— послезавтра, в пятницу из присутствия заеду».

«Очень хорошо,— говорю,— я ей скажу, чтоб дождалась».

«А у тебя,— спрашивает,— тут в узелке-то что-нибудь хорошенькое есть?»

«Есть,— говорю,— штучка шелковых кружев черных, отличная. Половину,— солгала ему,— половину,— говорю,— ваша супруга взяли, а половина,— говорю,— как раз на двадцать рублей осталась».

«Ну, передай,— говорит,— ей от меня эти кружева: скажи, что *добрый гений* ей посылает», — шутит это, а сам мне двадцать пять рублей бумажку подает, и сдачи, говорит, не надо: возьми себе на орехи.

Довольно тебе, что и в глаза ее не видавши, этакой презент.

Сел он в карету тут у Семионовского моста и поехал, а я Фонталкой по набережной да и домой.

«Вот,— говорю,— Леканида Петровна, и твое счастье нашлось».

«Что,— говорит,— такое?»

А я ей все по порядку рассказываю, хвалю его, знаешь, ей, как ни быть лучше: хотя, говорю, и в летах, но мужчина видный, полный, бельё, говорю, тонкое носит, в очках, сказываю, золотых; а она все так и трясется.

«Нечего,— говорю,— мой друг, тебе его бояться: может быть, для кого-нибудь другого он там по чину своему да по должности пускай и страшен, а твое,— говорю,— дело при нем будет совсем особенное; еще ручки, ножки свои его целовать заставь. Им,— говорю,— одна дамка-полячка (я таки ее с ним еще и познакомила) как хотела помыкала и амантов,— говорю,— имела, а он им еще и отличные какие места подавал, все будто вместо своих братьев она ему их выдавала. Положись на мое слово и ничуть его не опасайся, потому что я его отлично знаю. Эта полячка, бывало, даже руку на него поднимала: делает, бывало, истерику, да мах его рукою по очкам; только стеклышки зазвонят. А твое воспитание ничуть не ниже. А вот,— говорю,— тебе от него пока что и презентик», — вынула кружева да перед ней и положила.

Прихожу опять вечером домой, смотрю — она сидит, чулок себе штопает, а глаза такие заплаканные; гляжу, и кружева мои на том же месте, где я их положила.

«Прибрать бы,— говорю,— тебе их надо; вон хоть в комоду,— говорю,— мою, что ли, бы положила; это вещь дорогая».

«На что,— говорит,— они мне?»

«А не нравятся, так я тебе за них десять рублей деньги ворочу».

«Как хотите»,— говорит. Взяла я эти кружева, смотрю, что все целы,— свернула их как должно и так, не мерявши, в свой саквояж и положила.

«Вот,— говорю,— что ты мне за платье должна — я с тебя лишнего не хочу,— положим за него хоть семь рублей, да за полсапожки три целковых, вот,— говорю,— и будем квиты, а остальное там, как сочтемся».

«Хорошо»,— говорит,— а сама опять плакать.

«Плакать-то теперь бы,— говорю,— не следовало».

А она мне отвечает:

«Дайте,— говорит,— мне, пожалуйста, мои последние слезы выплакать. Что вы,— говорит,— беспокоитесь? — не бойтесь, поправлюсь!»

«Что ж,— говорю,— ты, матушка, за мое же добро да на меня же фыркаешь? То же,— говорю,— новости: у Фили пили, да Филю ж и били!»

Взяла да и говорить с ней перестала.

Прошел четверг, я с ней не говорила. В пятницу напилась чаю, выхожу и говорю: «Изволь же,— говорю,— сударыня, быть готова: он нынче приедет».

Она как вскочит: «Как нынче! как нынче!»

«А так,— говорю,— чай, сказано тебе было, что он обещался в пятницу, а вчера, я думаю, был четверг».

«Голубушка,— говорит,— Домна Платоновна!»— пальцы себе кусает, да бух мне в ноги.

«Что ты,— говорю,— сумасшедшая? Что ты?»

«Спасите!»

«От чего,— говорю,— от чего тебя спасать-то?»

«Защитите! Пожалейте!»

«Да что ты,— говорю,— блажишь? Не сама ли же,— говорю,— ты просила?»

А она опять берет себя руками за щеки да вопит: «Душечка, душечка, пусть завтра, пусть,— говорит,— хоть послезавтра!»

Ну, вижу, нечего ее, дуру, слушать, хлопнула дверь и ушла. Приедет, думаю, он сюда — сами поладят. Не одну уж такую-то я видела: все они попервоначалу благи бывают. Что ты на меня так смотришь? Это, поверь, я правду говорю: все так-то убиваются.

— Продолжайте,— говорю,— Домна Платоновна.

— Что ж, ты думаешь, она, логанка, сделала?

— А кто ее знает, что ее черт угораздил сделать! — сорвалось у меня со злости.

— Уж именно правда твоя, что черт ее угораздил,— отвечала с похвалою моей прозорливости Домна Платоновна.— Этакого человека, этакую вельможу она, шельмовка этакая, и в двери не пустила!.. Стучал-стучал, звонил-звонил — она тебе хоть бы ему голос какой подала. Вот ведь какая хитростная — на что отважилась! Сидит запершись, словно ее и духу там нет. Захожу я вечером к нему — сейчас меня впустили — и спрашиваю: «Ну что,— говорю,— обманула я вас, ваше превосходительство?» — а он туча-тучей. Рассказывает мне все, как он был и как ни с чем назад пошел.

«Этак,— говорит,— Домна Платоновна, любезная моя, с порядочными людьми не поступают».

«Батюшка,— говорю,— да как это можно! верно,— говорю,— она куда на минутку выходила или что такое — не слыхала»,— ну, а сама себе думаю: «Ах ты, варварка! ах ты, злодейка этакая! страмовщица ты!»

«Пожалуйте,— прошу его,— ваше превосходительство, завтра — верно вам ручаюсь, что все будет как должно».

Да ушедши-то от него домой, да бегом, да бегом. Прибегаю, кричу:

«Варварка! варварка! что ж ты это, варварка, со мной наделала? с каким ты меня человеком, может быть, расстроила? Ведь ты,— говорю,— сама со

всей твоей родней-то да и с целой губернией-то с вашей и сапога его одного отоптанного не стоишь! Он, — говорю, — в прах и в пепел всех вас и все начальство-то ваше истереть одной ногой может. Чего ж ты, бездельница этакая, модничаешь? Даром я, что ли, тебя кормлю? Я бедная женщина; я на твоих же глазах день и ночь постоянно отягощаюсь; я на твоих же глазах веду самую прекратительную жизнь, да еще ты, — говорю, — щелчок ты этакой, нахлебница навязалась!»

И как уж я ее тут-то ругала! Как страшно я ее с сердцов ругала, что ты не поверишь. Кажется б, вот взяла я да глаза ей в сердцах повыцарапала.

Домна Платоновна сморгнула набежавшую на один глаз слезу и проговорила между строк: «Даже теперь жалко, как вспомню, как я ее тогда обидела».

«Гольтепа ты дворянская! — говорю ей, — аон от меня! вон, чтоб и дух твой здесь не пах!» — и даже за рукав ее к двери бросила. — Ведь вот, ты скажи, что с сердцов человек иной раз делает: сама назавтри к ней такого грандеву пригласила, а сама ее нынче же вон выгоняю! Ну, а она — на эти мои слова сейчас и готова — и к двери.

У меня уж было и сердце все проходить стало, как она все это стояла-то да молчала, а уж как она по моему по последнему слову к двери даже обернулась, я опять и вскипела.

«Куда, куда, — говорю, — такая-сякая, ты летишь?»

Уж и сама даже не помню, какими ее словами опять изругала.

«Оставайся, — говорю, — не смей ходить!..»

«Нет, я, — говорит, — пойду».

«Как пойдешь? как ты смеешь идтить?»

«Что ж, — говорит, — вы, Домна Платоновна, на меня сердитесь, так лучше же мне уйти».

«Сержусь! — говорю. — Нет, я мало что на тебя сержусь, я тебя буду бить».

Она вскрикнула, да в дверь, а я ее за ручку, да назад, да тут-то сторгяча оплеух с шесть таки горячих ей и закатила.

«Воровка ты, — говорю, — а не дама», — кричу на нее; а она стоит в уголке как я ее оттрепала, и вся, как клёнов лист, трясется, но и тут, заметь, свою амбицию дворянскую почувствовала.

«Что ж, — говорит, — такое я у вас украла?»

«Космы-то, — говорю, — патлы-то свои подбери, — потому я ей всю прическу расстроила. — То, — говорю, — ты у меня украла, что я тебя, варварку, поила-кормила две недели; обула-одела тебя; я, — говорю, — на всякий час отягощаюсь, я веду прекратительную жизнь, да еще через тебя должна куска хлеба лишиться, как ты меня с таким человеком поссорила!»

Смотрю, она потихоньку косы свои опять в пучок подвернула, взяла в ковшик холодной воды — умылась; голову расчесала и села. Смирно сидит у окошечка, только все жестяное зеркальце потихонечку к щекам приклады вает. Я будто не смотрю на нее, раскладываю по столу кружева, а сама вижу что щеки-то у нее так и горят.

«Ах, — думаю, — напрасно ведь это я, злодейка, так уж очень ее обидела!»

Все, что стою над столом да думаю — то все мне ее жалче; что стою думаю — то все жалче...

Ахти мне, горе с моим добрым сердцем! Никак я с своим сердцем не совладаю И досадно, и знаю, что она виновата и вполне того заслужила, а жалко.

Вскочила я на минуточку на улицу — тут у нас, в нашем же доме, под низом кондитерская, — взяла десять штукеч песочного пирожного и прихожу сама поставила самовар; сама чаю чашку ей налила и подаю с пирожным. Она взяла из моих рук чашку и пирожное взяла, откусила кусочек, да меж зубов и держит. Кусочек держит, а сама вдруг улыбается, улыбается, и весело улыбается, а слезы кап-кап-кап, так и брызжут; таки вот просто не текут, а как сок из лимона, если подавишь, брызжут.

«Полно,— говорю,— не обижайся».

«Нет,— говорит,— я ничего, я ничего, я ничего...»— да как зарядила это: «я ничего» да «я ничего»— твердит одно, да и полно.

«Господи!— думаю,— уж не сделалось ли ей помрачение смыслов?» Водой на нее брызнула; она тихе, тише и успокоилась: села в уголку на постелишке и сидит. А меня все, знаешь, совесть мутит, что я ее обидела. Помолилась я богу — прочитала, как еще в Мценске священник учил от запаления ума: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая»,— и сняла с себя капотик, и подхожу к ней в одной юбке, и говорю: «Послушай ты меня, Леканида Петровна! В Писании читается: «да не зайдет солнце во гневе вашем»; прости же ты меня за мою дерзость; давай помиримся!»— поклонилась ей до земли и взяла ее руку поцеловала: вот тебе, ей-богу, как завтрашний день хочу видеть, так поцеловала. И она, смотрю, наклоняется ко мне и в плечо меня чмок, гляжу — и тоже мою руку поцеловала, и сами мы между собою обе друг дружку обняли и поцеловались.

«Друг мой,— говорю,— ведь я не со злости какой или не для своей корысти, а для твоего же добра!»— толкую ей и по головке ее ласкаю, а она все этак скороговоркой:

«Хорошо, хорошо; благодарю вас, Домна Платоновна, благодарю».

«Вон он,— говорю,— завтра опять приедет».

«Ну что ж,— говорит,— ну что ж! очень хорошо, пусть приезжает».

Я ее опять по головке глажу, волоски ей за ушко запроваляю, а она сидит и глазком с ланпады не смигнет. Ланпад горит перед образами таково тихо, сияние от икон на нее идет, и вижу, что она вдруг губами все шевелит, все шевелит.

«Что ты,— спрашиваю,— душечка, богу это, что ли, молишься?»

«Нет,— говорит,— это я, Домна Платоновна, так».

«Что ж,— говорю,— я думала, что ты это молишься, а так самому с собой разговаривать, друг мой, не годится. Это только одни помешанные сами с собою разговаривают».

«Ах,— отвечает она мне,— я,— говорю,— Домна Платоновна, уж и сама думаю, что я, кажется, помешанная. На что я только иду! на что я это иду!»— заговорила она вдруг и в грудь себя таково изо всей силы ударяет.

«Что ж,— говорю,— делать? Так тебе, верно, путь такой тяжелый назначен».

«Как,— говорю,— такой мне путь назначен? Я была честная девушка! я была честная жена! Господи! господи! да где же ты? Где же, где бог?»

«Бога,— говорю,— читается, друг мой, никто же виде и нигде же».

«А где же есть сожалительные, добрые христиане? Где они? где?»

«Да здесь,— говорю,— и христиане».

«Где?»

«Да как где? Вся Россия — всё христиане, и мы с тобой христианки».

«Да, да,— говорит,— и мы христианки...»— и сама, вижу, эти слова выговаривает и в лице страшная становится. Словно она с кем с невидимым говорит.

«Фу,— говорю,— да сумасшедшая ты, что ли, в самом деле? что ты меня пужаешь-то? что ты ропот-то на создателя своего произносишь?»

Смотрю: сейчас она опять смирилась, плачет опять тихо и рассуждает:

«Из-за чего,— говорит,— это я только все себе надела? Каких я людей слушала? Разбили меня с мужем; натолковали мне, что он и тиран и варвар, когда это совсем неправда была, когда я, я сама, презренная и низкая капризница, я жизнь его отравляла, а не покоила. Люди! подлые вы люди! сбили меня; насылили мне здесь горы золотые, а не сказали про реки огненные. Муж меня теперь бросил, смотреть на меня не хочет, писем моих не читает. А завтра я... бррр...!»

Вся даже задрожала.

«Маменька!— стала звать,— маменька! если б ты меня теперь, душечка,

видела? Если б ты, чистенький ангел мой, на меня теперь посмотрела из своей могилки? Как она нас, Домна Платоновна, воспитывала! Как мы жили хорошо; ходили всегда чистенькие; все у нас в доме было такое хорошенькое; цветочки мама любила; бывало,— говорит,— возьмет за руки и пойдем двое далеко... в луга пойдем...»

Тут-то, знаешь ты, сон у меня удивительный — слушала я, как это хорошо все она вспоминает, и заснула.

Ну, представь же ты теперь себе: сплю это; заснула у нее, на ее постеленке, и как пришла к ней, совсем даже в юбке заснула, и опять тебе говорю, что сплю я свое время крепко и снов никогда никаких не вижу, кроме как разве к какому у меня воровству; а тут все это мне видятся рощи такие, палисадники и она, эта Леканида Петровна. Будто такая она маленькая, такая хорошенькая: головка у нее русая, вся в кудряшках, и носит она в ручках веночек, а за нею собачка, такая беленькая собачка, и все на меня гам-гам, гам-гам — будто сердится и укусить меня хочет. Я будто нагибаюсь, чтоб поднять палочку, чтоб эту собачку от себя отогнать, а из земли вдруг мертвая ручища: хватъ меня вот за самое за это место, за кость. Вскинулась я, смотрю — свое время я уж проспала и руку страсть как неловко перележала. Ну, оделась я, помолилась богу и чайку напилась, а она все спит.

«Пора,— говорю,— Леканида Петровна, вставать; чай,— говорю,— на конфорке стоит, а я, мой друг, ухожу».

Поцеловала ее на постели в лоб, истинно говорю тебе, как дочь родную жалючи, да из двери-то выходя, ключик это потихоньку вынула да в карман.

«Так-то,— думаю,— дело честнее будет».

Захожу к генералу и говорю: «Ну, ваше превосходительство, теперь дело не мое. Я свое сделала — пожалуйста поскорей», — и ему отдала ключ.

— Ну-с,— говорю,— милая Домна Платоновна, не на этом же все кончилось?

Домна Платоновна засмеялась и головой закачала с таким выражением, что смешны, мол, все люди на белом свете.

— Прихожу я домой нарочно попозже, смотрю — огня нет.

«Леканида Петровна!» — зову.

Слышу, она на моей постели ворочается.

«Спишь?» — спрашиваю; а самое меня, знаешь, так смех и подмывает.

«Нет, не сплю», — отвечает.

«Что ж ты огня, мол, не засветишь?»

«На что ж он мне, — говорит, — огонь?»

Зажгла я свечу, раздула самоваришку, зову ее чай пить.

«Не хочу, — говорит, — я», — а сама все к стенке заворачивается.

«Ну, по крайности,— говорю,— встань же, хоть на свою постель перейди: мне мою постель надо поправить».

Вижу, поднимается, как волк угрюмый. Взглянула исподлобья на свечу и глаза рукой заслоняет.

«Что ты, — спрашиваю, — глаза закрываешь?»

«Больно, — отвечает, — на свет смотреть».

Пошла, и слышу, как была опять совсем в платье одетая, так и повалилась.

Разделась и я как следует, помолилась богу, но все меня любопытство берет, как тут у них без меня были подробности? К генералу я побоялась идти думаю, чтоб опять афронта какого не было, а ее спросить даже следует, но она тоже как-то не допускает. Дай, думаю, с хитростью к ней подойду. Вхожу к ней в каморку и спрашиваю:

«Что, никого, — говорю, — тут, Леканида Петровна, без меня не было?»

Молчит.

«Что ж, — говорю, — ты, мать, и ответить не хочешь?»

А она с сердцем этак: «Нечего, — говорит, — вам меня расспрашивать»

«Как же это,— говорю,— нечего мне тебя расспрашивать? Я хозяйка».

«Потому,— говорит,— что вы без всяких вопросов очень хорошо все знаете»,— и это, уж я слышу, совсем другим тоном говорит.

Ну, тут я все дело, разумеется, поняла.

Она только вздыхает; и пока я улеглась и уснула — все вздыхает.

— Это,— говорю,— Домна Платоновна, уж и конец?

— Это первому действию, государь мой, конец.

— А во втором-то что же происходило?

— А во втором она вышла против меня мерзавка — вот что во втором происходило.

— Как же,— спрашиваю,— это, Домна Платоновна, очень интересно, как так это случилось?

— А так, сударь мой, и случилось, как делается: силу человек в себе почувал, ну сейчас и свиной стал.

— И вскоре,— говорю,— это она так к вам переменялась?

— Тут же таки. На другой день уж всю это свою козью прыть показала. На другой день я, по обнаковению, в свое время встала, сама поставила самовар и села к чаю около ее постели в каморочке, да и говорю: «Иди же,— говорю,— Леканида Петровна, умывайся да богу молись, чай пора пить». Она, ни слова не говоря, вскочила и, гляжу, у нее из кармана какая-то бумажка выпала. Нагинаюсь я к этой бумажке, чтоб поднять ее, а она вдруг сама, как ястреб, на нее бросается.

«Не троньте!»— говорит, и хап ее в руку.

Вижу, бумажка сторублевая.

«Что ж ты,— говорю,— так, матушка, рычишь?»

«Так хочу, так и рычу».

«Успокойся,— говорю,— милая; я, слава богу, не Дисленьша, в моем доме никто у тебя твоего добра отнимать не станет».

Ни слова она мне в ответ не сказала: мой чай пьет и на меня ж глядеть не хочет; возьми ты это, хоть кому-нибудь доведися — станет больно. Ну, однако, я ей это спустила, думала, что она это еще в расстройке, и точно, вижу, что как это ворот-то у нее в рубашке широкий, так видно, знаешь, как грудь-то у ней так вот и вздрагивает, и на что, я тебе сказывала, была она собою телом и бела и розовая, точно пух в атласе, а тут, знаешь, будто вдруг она какая-то темная мне показалась телом, и всё у нее по голым плечам-то сиротки вспрыгивают, пупырышки эти такие, что вот с холоду когда выступают. Холеной неженке первый снежок труден. Я ее даже молча и пожалела еще и никак себе не воображала, какая она ехидная.

Вечером прихожу; гляжу — она сидит перед свечкой и рубашку себе новую шьет, а на столе перед ней еще так три, не то четыре рубашки лежат прикреонные.

«Почем,— спрашиваю,— брала полотно?»

А она этак тихо-тихохонько мне вот что отвечает:

«Я,— говорит,— Домна Платоновна, желала вас просить: оставьте вы меня, пожалуйста, с вашими разговорами».

Смотрю, вид у нее такой покойный, будто совсем и не сердится. «Ну,— думаю,— матушка, когда ты такая, так и я же к тебе стану иная».

«Я,— говорю ей,— Леканида Петровна, в своем доме хозяйка и все говорить могу; а тебе если мои разговоры неприятны, так не угодно ли,— говорю,— отправляться куда угодно».

«И не беспокойтесь,— говорит,— я и отправлюсь».

«Только прежде всего надо,— я говорю,— рассчитаться: честные люди не рассчитавшись не съезжают».

«Опять,— говорю,— не беспокойтесь».

«Я,— отвечаю,— не беспокоюсь»,— ну, только считаю ей за полтора месяца

за квартиру десять рублей и что пила-ела пятнадцать рублей, да за чай, говорю положим хоть три целковых, тридцать один целковый, говорю. За свечки тут-то не посчитала, и что в баню с собой два раза ее брала, и то тоже забыла.

«Очень хорошо-с,— отвечает,— все будет вам заплачено».

На другой день вечером ворочаюсь опять домой, застаю ее, что она опять сидит себе рубашку шьет, а на стенке, так насупотив ее, на гвоздике висит этакой бурнус, черный атласный, хороший бурнус, на гроденаплевой подкладке и на пуху. Закипело у меня, знаешь, что все это через меня, через мое радетельство получила, да еще без меня же, словно будто потоймя от меня справляет.

«Бурнусы-то,— говорю,— можно б, мне кажется, погодить справлять, а прежде б с долгами расчесться».

Она на эти мои слова сейчас опускает белу рученьку в карман; вытаскивает оттуда бумажку и подает. Смотрю, в этой бумажке аккурат тридцать и один целковый.

Взяла я деньги и говорю: «Благодарствуйте,— говорю,— Леканида Петровна». Уж «вы» ей, знаешь, нарочно говорю.

«Не за что-с,— отвечает,— а сама и глаз на меня даже с работы не вскинет; все шьет, все шьет; так игла-то у нее и летает».

«Постой же,— думаю,— змейка ты зеленая; не очень еще ты чванься, что ты со мною расплатилась».

«Это,— говорю,— Леканида Петровна, вы мне мои расходы вернули, а что ж вы мне за мои за хлопоты пожалуете?»

«За какие,— спрашивает,— за хлопоты?»

«Как же,— говорю,— я вам стану объяснять? сами, чай, понимаете».

А она это шьет, наперстком-то по рубцу водит, да и говорит, не глядя: «Пусть,— говорит,— вам за эти ваши милые хлопоты платит тот, кому они были нужны».

«Да ведь вам,— говорю,— они больше всех нужны-то были».

«Нет, мне,— говорит,— они не были нужны. А впрочем, сделайте милость, оставьте меня в покое».

Довольно с тебя этой дерзости! Но я и ею пренебрегла. Пренебрегла и оставила, и не говорю с нею, и не говорю.

Только наутро, где бы пить чай, смотрю — она убралась; рубашку эту что ночью дошила, на себя надела, недошитые свернула в платочек; смотрю, нагинается, из-под кровати вытащила кордонку, шляпочку оттуда достает. Прехорошенькая шляпочка... все во всем ее вкусе... Надела ее и говорит: «Прощайте, Домна Платоновна».

Жаль мне ее опять тут, как дочь родную, стало: «Постой же,— говорю ей,— постой, хоть чаю-то напейся!»

«Покорно благодарю,— отвечает,— я у себя буду пить чай».

Понимай, значит,— то, что у себя! Ну, бог с тобой, я и это мимо ушей пустила.

«Где ж,— говорю,— ты будешь жить?»

«На Владимирской,— говорит,— в Тарховом доме».

«Знаю,— говорю,— дом отличный, только дворники большие повесы».

«Мне,— говорит,— до дворников дела нет».

«Разумеется,— говорю,— мой друг, разумеется! Комнатку себе, что ли, наняла?»

«Нет,— отвечает,— квартиру взяла, с кухаркой буду жить».

Вон, вижу, куда заиграло! «Ах ты, хитрая! — говорю,— хитрая! — шути в^а нее, знаешь, пальцем грожусь.— Зачем же,— говорю,— ты меня обманывала то, говорила, что к мужу-то поедешь?»

«А вы,— говорит,— думаете, что я вас обманывала?»

«Да уж,— отвечаю,— что тут думать! когда б имела желание ехать, то разумеется, не нажимала б тут квартиры».

«Ах,— говорит,— Домна Платоновна, как мне вас жалко! ничего вы не понимаете».

«Ну,— говорю,— уж не хитри, душечка! Вижу, что ты умно обделала дельце».

«Да вы,— говорит,— что это толкуете! Разве такие мерзавки, как я, к мужьям ездят?»

«Ах, мать ты моя! что ты это,— отвечаю,— себя так уж очень мерзавишь! И в пять раз мерзавней тебя, да с мужьями живут».

А она, уж совсем это на пороге-то стоючи, вдруг улыбнулась, да и говорит: «Нет, извините меня, Домна Платоновна, я на вас сердилась; ну, а вижу, что на вас нельзя сердиться, потому что вы совсем глупы».

Это вместо прощанья-то! нравится это тебе? «Ну,— подумала я ей вслед,— глупа-неглупа, а, видно, умней тебя, потому, что я захотела, то с тобой, с умницей, с воспитанной, и сделала».

Так она от меня сошла, не то что с ссорою, а все как с небольшим удовольствием. И не видала я ее с тех пор, и не видала, я думаю, больше как год. В это-то время у меня тут как-то работку бог давал: четырех купцов я женила; одну полковницкую дочь замуж выдала; одного надворного советника на вдове, на купчихе, тоже женила, ну и другие разные дела тоже перепадали, а тут это товар тоже из своего места насылали — так время и прошло. Только вышел тут такой случай: была я один раз у этого самого генерала, с которым Леканидку-то познакомила: к невестке его зашла. С сыном-то с его я давно была знакома: такой тоже весь в отца вышел. Ну, прихожу я к невестке, мантиль блондовую она хотела дать продать, а ее и нет: в Воронеж, говорят, к Митрофанью угоднику поехала.

«Зайду,— думаю,— по старой памяти к барину».

Всхожу с заднего хода, никого нет. Я потихонечку топы-топы, да одну комнату прошла и другую, и вдруг, сударь ты мой, слышу Леканидкин голос: «Шарман мой! — говорит,— я,— говорит,— люблю тебя; ты одно мое счастье земное!»

«Отлично,— думаю,— и с папенькой и с сыночком романсы проводит моя Леканида Петровна», да сама опять топы-топы да теми же пятами вон. Узнаю-поузнаю, как это она познакомилась с этим, с молодым-то,— аж выходит, что жена-то молодого сама над нею сжалилась, навещать ее стала потихоньку, все это, знаешь, жалеючи ее, что такая будто она дамка образованная да хорошая; а она, Леканидка, ей, не хуже как мне, и отблагодарила. Ну, ничего, не мое это, значит, дело; знаю и молчу; даже еще покрываю этот ее грех, и где следует виду этого не подаю, что знаю. Прошло опять чуть не с год ли. Леканидка в ту пору жила в Кирпичном переулке. Собиралась я это на средокрестной неделе говеть и иду этак по Кирпичному переулку, глянула на дом-то да думаю: как это нехорошо, что мы с Леканидой Петровной такое время поссорившись; тела и крови готовясь принять — дай зайду к ней, помирюсь! Захожу. Парад такой в квартире, что лучше требовать нельзя. Горничная — точно как барышня.

«Доложите,— говорю,— умница, что, мол, кружевница Домна. Платоновна желает их видеть».

Пошла и выходит, говорит: «Пожалуйте».

Вхожу в гостиную; таково тоже все парадно, и на диване сидит это сама Леканидка и генералова невестка с ней: обе кофий кушают. Встречает меня Леканидка будто и ничего, будто со вчера всего только не видались.

Я тоже со всей моей простотой: «Славно,— говорю,— живешь, душечка; дай бог тебе и еще лучше».

А она с той что-то вдруг и залопотала по-французски. Не понимаю я ничего по-ихнему. Сижу, как дура, глазею по комнате, да и зевать стала.

«Ах,— говорит вдруг Леканидка,— не хотите ли вы, Домна Платоновна, кофью?»

«Отчего ж,— говорю,— позвольте чашечку».

Она это сейчас звонит в серебряный колокольчик и приказывает своей девке: «Даша,— говорит,— напоите Домну Платоновну кофею».

Я, дура, этого тогда сразу-то и не поняла хорошенько, что такое значит *напоите*; только смотрю, так минут через десять эта самая ее Дашка входит опять и докладывает: «Готово,— говорит,— сударыня».

«Хорошо,— говорит ей в ответ Леканидка, да и оборачивается ко мне:— Подите,— говорит,— Домна Платоновна: она вас напоит».

Ух, уж на это меня взорвало! Сверзну я ее, подумала себе, но удержалась. Встала и говорю: «Нет, покорно вас благодарю, Леканида Петровна, на вашем угощении. У меня,— говорю,— хоть я и бедная женщина, а у меня и свой кофей есть».

«Что ж,— говорит,— это вы так рассердились?»

«А то,— прямо ей в глаза говорю,— что вы со мной мою хлеб-соль вместе кушивали, а меня к своей горничной посылаете: так это мне, разумеется, обидно».

«Да моя,— говорит,— Даша — честная девушка; ее общество вас оскорблять не может,— а сама будто, показалось мне, как улыбается».

«Ах ты, змея,— думаю,— я тебя у сердца моего пригрела, так ты теперь и по животу ползешь!» «Я,— говорю,— у этой девицы чести ее нисколько не снимаю, ну только не вам бы,— говорю,— Леканида Петровна, меня с своими прислугами за один стол сажать».

«А отчего это,— спрашивает,— так, Домна Платоновна, не мне?»

«А потому,— говорю,— матушка, что вспомни, что ты была, и посмотри, что ты есть и кому ты всем этим обязана».

«Очень,— говорит,— помню, что была я честной женщиной, а теперь я дрянь и обязана этим вам, вашей доброте, Домна Платоновна».

«И точно,— отвечаю,— речь твоя справедлива, прямая ты дрянь. В твоём же доме, да ничего не боясь, в глаза тебе эти слова говорю, что ты дрянь. Дрянь ты была, дрянь и есть, а не я тебя дрянью сделала».

А сама, знаешь, беру свой саквояж.

«Прощай,— говорю,— госпожа великая!»

А эта генеральская невестка-то чахоточная как вскочит, дохлая: «Как вы,— говорит,— смеее оскорблять Леканиду Петровну!»

«Смею,— говорю,— сударыня!»

«Леканида Петровна,— говорит,— очень добра, но я, наконец, не позволю обижать ее в моем присутствии: она мой друг».

«Хорош,— говорю,— друг!»

Тут и Леканидка, гляжу, вскочила да как крикнет: «Воц,— говорит,— гадкая ты женщина!»

«А!— говорю,— гадкая я женщина? Я гадкая, да я с чужими мужьями романсов не провождаю. Какая я ни на есть, да такого не делала, чтоб и папеньку и сыночка одними прелестями-то своими прельщать! Извольте,— говорю,— сударыня, вам вашего друга, уж вполне,— говорю,— друг».

«Лжете,— говорит,— вы! Я не поверю вам, вы это со злости на Леканиду Петровну говорите».

«Ну, а со злости, так вот же,— говорю,— теперь ты меня, Леканида Петровна, извини; теперь,— говорю,— уж я тебя сверзну,— и все, знаешь, что слышала, что Леканидка с мужем-то ее тогда чекотала, то все им и высыпала на стол, да и вон».

— Ну-с,— говорю,— Домна Платоновна?

— Бросил ее старик после этого скандала.

— А молодой?

— Да с молодым нешто у нее интерес был какой! С молодым у нее, как это говорится так,— пур-амур любовь шла. Тоже ведь, гляди ты, шушваль эта-

кая, а без любви никак дышать не могла. Как же! нельзя же комиссару без штанов быть. А вот теперь и без любви обходится.

— Вы,— говорю,— почему это знаете, что обходится?

— А как же не знаю! Стало быть, что обходится, когда живет в такой жизни, что нынче один князь, а завтра другой граф; нынче англичанин, завтра итальянец или испанец какой. Уж тут, стало, не любовь, а деньги. Бьют по магазинам да по Невскому в такой коляске лежачей на рысках катаются...

— Ну, так вы с тех пор с нею и не встречаетесь?

— Нет. Зла я на нее не питаю, но не хожу к ней. Бог с нею совсем! Раз как-то на Морской нынче по осени выхожу от одной дамы, а она на крыльцо всходит. Я таки дала ей дорогу и говорю: «Здравствуйте, Леканида Петровна!»— а она вдруг, зеленая вся, наклонилась ко мне, с крылечка-то, да этак к самому к моему лицу, и с ласковой такой миной отвечает: «Здравствуй, мерзавка!»

Я даже не утерпел и рассмеялся.

— Ей-богу! «Здравствуй,— говорит,— мерзавка!» Хотела я ей тут-то было сказать: не мерзавь, мол, матушка, сама ты нынче мерзавка, да подумала, что дакей-то этот за нею, и зонтик у него большой в руках, так уж проходи, думаю, налево, французская королева.

Глава четвертая



С времени сообщения мне Домною Платоновной повести Леканиды Петровны прошло лет пять. В течение этих пяти лет я уезжал из Петербурга и снова в него возвращался, чтобы слушать его неумолчный грохот, смотреть бледные, озабоченные и задавленные лица, дышать смрадом его испарений и хандрить под угнетающим впечатлением его чахоточных белых ночей — Домна Платоновна была все та же. Везде она меня как-то случайно отыскивала, встречалась со мной с дружескими поцелуями и объятиями и всегда неустанно жаловалась на злокозненные происки человеческого рода, избравшего ее, Домну Платоновну, своей любимой жертвой и каким-то вечным игрищем. Много рассказала мне Домна Платоновна в эти пять лет разных историй, где она была всегда попорана, оскорблена и обижена за свои же добродетели и попечения о нуждах человеческих.

Разнообразны, странны и многообильны всякими приключениями бывали эти интересные и бесхитростные рассказы моей добродушной Домны Платоновны. Много я слышал от нее про разные свадьбы, смерти, наследства, воровства-кражи и воровства-мошенничества, про всякий нагольный и крытый разврат, про всякие петербургские мистерии и про вас, про ваши назидательные похождения, мои дорогие землячки Леканиды Петровны, про вас, везущих сюда с вольной Волги, из раздольных степей саратовских, с тихой Оки и из золотой, благословенной Украины свои свежие, здоровые тела, свои задорные, но незлобивые сердца, свои безумно смелые надежды на рок, на случай, на свои ни к чему не годные здесь силы и порывания.

Но возвращаемся к нашей приятельнице Домне Платоновне. Вас, кто бы вы ни

были, мой снисходительный читатель, не должно оскорблять, что я назвал Домну Платоновну нашей общей приятельницей. Предполагая в каждом читателе хотя самое малое знакомство с Шекспиром, я прошу его припомнить то гамлетовское выражение, что «если со всяким человеком обращаться по достоинству, то очень немного найдется таких, которые не заслуживали бы порядочной оплеухи». Трудно бывает проникнуть во святая святых человека!

Итак, мы с Домной Платоновной все водили хлеб-соль и дружбу; все она навещала меня и вечно, поспешая куда-нибудь по делу, засиживалась по целым часам на одном месте. Я тоже был у Домны Платоновны два или три раза в ее квартире у Знаменья и видел ту каморочку, в которой укрывалась до своего акта отречения Леканида Петровна, видел ту кондитерскую, в которой Домна Петровна брала песочное пирожное, чтобы подкормить ее и утешить; видел, наконец, двух свежепривозных молодых «дамок», которые прибыли искать в Петербурге счастья и попали к Домне Платоновне «на Леканидкино место»; но никогда мне не удавалось выведать у Домны Платоновны, какими путями шла она и дошла до своего нынешнего положения и до своих оригинальных убеждений насчет собственной абсолютной правоты и всеобщего стремления ко всякому обману. Мне очень хотелось знать, что такое происходило с Домной Платоновной прежде, чем она зарядила: «Э, ге-ге, нет уж ты, батюшка, со мной, сделай милость, не спорь; я уж это лучше тебя знаю». Хотелось знать, какова была та благословенная купеческая семья на Зуше, в которой (то есть в семье) выросла этакая круглая Домна Платоновна, у которой и молитва, и пост, и собственное целомудрие, которым она хвалилась, и жалость к людям сходились вместе с сватовскою ложью, артистическою наклонностью к устройству коротеньких браков не любви ради, а ради интереса, и т. п. Как это, я думал, все пробралось в одно и то же толстенное сердце и уживается в нем с таким изумительным согласием, что сейчас одно чувство толкает руку отпустить плачущей Леканиде Петровне десять пощечин, а другое поднимает ноги принести ей песочного пирожного; то же сердце сжимается при сновидениях, как мать чистенько водила эту Леканиду Петровну, и оно же спокойно бьетса, приглашая какого-то толстого борова поспешить как можно скорее запачкать эту Леканиду Петровну, которой теперь нечем и запереть своего тела!

Я понимал, что Домна Платоновна не преследовала этого дела в виде промысла, а принимала *по-нигерски*, как какой-то неотразимый закон, что женщине нельзя выпутаться из беды иначе, как на счет своего собственного падения. Но все-таки, что же ты такое, Домна Платоновна? Кто тебя всему этому вразумил и на этот путь поставил? Но Домна Платоновна, при всей своей словоохотливости, терпеть не могла касаться своего прошлого.

Наконец неожиданно вышел такой случай, что Домна Платоновна, совершенно ненароком и без всяких с моей стороны подходов, рассказала мне, как она была проста и как «они» ее *вышколили* и довели до того, что она *теперь никому на синь-порох не верит*. Не ждите, любезный читатель, в этом рассказе Домны Платоновны ничего цельного. Едва ли он много поможет кому-нибудь выяснять себе процесс умственного развития этой петербургской деятельницы. Я передаю вам дальнейший рассказ Домны Платоновны, чтобы немножко вас позабавить и может быть, дать вам случай один лишний раз призадуматься над этой тупой но страшной силой «петербургских обстоятельств», не только создающих и вырабатывающих Домну Платоновну, но еще предающих в ее руки лезущих в воду, не спрося броду, Леканид, для которых здесь Домна становится тираном, тогда как во всяком другом месте она сама чувствовала бы себя перед каждою из них парией или много что шутихой.

Глава пятая



Был я в Петербурге болен и жил в то время в Коломне. Квартира у меня, как выразилась Домна Платоновна, «была какая-то особенная». Это были две просторные комнаты в старинном деревянном доме у маленькой деревянной купчихи, которая недавно скоропостижно своего очень благочестивого супруга и по вдовьему положению занялась ростовщицеством, а свою прежнюю опочивальню, вместе с трехспальной кроватью, и смежную с спальней гостиную комнату, с громадным киотом, перед которым ежедневно малывался ее покойник, пустила внаем.

У меня в так называемом зале были: диван, обитый настоящею русской кожей; стол круглый, обтянутый полинявшим фиолетовым плисом с совершенно бесцветною шелковою бахромою; столовые часы с медным арапом; печка с горельефной фигурой во впадине, в которой настаивалась настойка; длинное зеркало с очень хорошим стеклом и бронзовую арфу на верхней доске высокой рамы. На стенах висели: масляный портрет покойного императора Александра I; около него, в очень тяжелых золотых рамках за стеклами, помещались литографии, изображавшие четыре сцены из жизни королевы Женевьевы; император Наполеон по инфантерии и император Наполеон по кавалерии; какая-то горная вершина; собака, плавающая на своей конуре, и портрет купца с медалью на анненской ленте. В дальнем угле стоял высокий, трехъярусный образник с тремя большими иконами с темными лицами, строго смотревшими из своих блестящих золоченых окладов; перед образником лампада, всегда тщательно зажигаемая моею набожной хозяйкой, а внизу под образами шкаф с полукруглыми дверцами и бронзовым кантом наместе створа. Все это как будто не в Петербурге, а будто на Замоскворечье или даже в самом городе Мценске. Спальня моя была еще более мценская; даже мне казалось, что та трехспальная постель, в пуховиках которой я утопал, была не постель, а именно сам Мценск, проживающий инкогнито в Петербурге. Стоило только мне погрузиться в эти пуховые волны, как какое-то снотворное, маковое покрывало тотчас надвигалось на мои глаза и застилало от них весь Петербург с его веселящей скукой и скупающей веселостью. Здесь при этой-то успокоивающей мценской обстановке, мне снова довелось власть побеседовать с Домной Платоновной.

Я простудился, и врач велел мне полежать в постели.

Раз, так часу в двенадцатом серенького мартовского дня, лежу я уже выздоравливающий и, начитавшись досыта, думаю: «Не худо, если бы кто-нибудь и зашел», да не успел я так подумать, как словно с этого моего желания сталося — дверь в мою залу скрипнула, и послышался веселый голос Домны Платоновны:

— Вот как это у тебя здесь прекрасно! и образа и сияние перед божьим благословением — очень-очень даже прекрасно.

— Матушка, — говорю, — Домна Платоновна, вы ли это?

— Да некому, — отвечает, — друг мой, и быть, как не мне.

Поздоровались.

— Садитесь! — прошу Домну Платоновну.

Она села на креслице против моей постели и ручки свои с белым платочком на коленочки положила.

— Чем так хвораете? — спрашивает.

— Простудился, — говорю.

— А то нынче очень много народу всё на животы жалуются.
— Нет, я,— говорю,— я на живот не жалуюсь.
— Ну, а на живот не жалуешься, так это пройдет. Квартира у тебя нынче очень хороша.

— Ничего,— говорю,— Домна Платоновна.

— Отличная квартира. Я эту хозяйку, Любовь Петровну, давно знаю. Прекрасная женщина. Она прежде была испорчена и на голоса крикивала, да, верно, ей это прошло.

— Не знаю,— говорю,— что-то будто не слышно, не кричит.

— А у меня-то, друг мой, какое горе!— проговорила Домна Платоновна своим жалостным голосом.

— Что такое, Домна Платоновна?

— Ах, такое, дружок, горе, такое горе, что... ужасное, можно сказать, и горе и несчастье, все вместе. Видишь, вон в чем я нынче товар-то ношу.

Посмотрел я, перегнувшись с кровати, и вижу на столике кружева Домны Платоновны, увязанные в черном шелковом платочке с белыми каемочками.

— В трауре,— говорю.

— Ах, милый, в трауре, да в каком еще трауре-то!

— Ну, а саквояж ваш где же?

— Да вот о нем-то, о саквояже-то, я и горюю. Пропал ведь он, мой саквояж.

— Как,— говорю,— пропал?

— А так, друг мой, пропал, что и по се два дни, как вспомню, так, господи, думаю, неужели ж таки такая я грешница, что ты этак меня испытуешь? Видишь, как удивительно это все случилось: видела я сон; вижу, будто приходит ко мне какой-то священник и приносит каравай, вот как, знаешь, в наших местах из каши из пшенной пекут. «Нá,— говорит,— тебе, раба, каравай». — «Батюшка,— говорю,— на что же мне и к чему каравай?» Так вот видишь, к чему он, этот каравай-то, вышел — к пропаже.

— Как же это,— спрашиваю,— Домна Платоновна, было?

— Было это, друг мой, очень удивительно. Ты знаешь купчиху Кошеверову?

— Нет,— говорю,— не знаю.

— А не знаешь, и не надо. Мы с ней приятельницы, и то есть даже не совсем и приятельницы, потому что она женщина преехидная и довольно даже подлая, ну, а так себе, знаешь, вот вроде как с тобой, знакомы. Зашла я к ней так-то на свое несчастье вечером, да и засиделась. Все она, чтоб ей пусто было совсем, право, посиди да посиди, Домна Платоновна. Все ведь с жиру-то чем убивалась? что муж ее не ревнует, а чего ревновать, когда с рожи она престрашная и язык у нее такой преобладающий, как у полугая. Рассказывает, болели у нее зубы, да лекарь велел ей поставить пивяцу врачебную к зубу, а фершалов мальчик ей эту пивяцу к языку припустил, и пошел у нее с тех пор в языке опух. Опять же таки у меня в этот вечер и дело было: к Пяти Углам надо было в один дом сбегать к купцу — жениться тоже хочет; но она, эта Кошевериха, не пукает.

«Погоди,— говорит,— киевской наливочки выпьем, да Фадей Семенович,— говорит,— от всеюной придет, чайку напьемся: куда тебе спешить?»

«Как,— говорю,— мать, куда спешить?»

Ну, а сама все-таки, как на грех, осталась, да это то водочки, то наливочки так налилась, что даже в голове у меня, чувствую, засточертело.

«Ну,— говорю ей,— извини, Варвара Петровна, очень тебе на твоём угощении благодарна, только уж больше пить не могу».

Она пристаёт, потчует, а я говорю:

«Лучше, мать моя, и не потчуй. Я свою пипорцию знаю и ни за что больше пить не стану».

«Сожителя,— говорит,— подожди».

«И сожителя,— говорю,— ждать не буду».

Стала на своем, что иду и иду, и только. Потому, знаешь, чувствую, что в голове-то уж у меня чертополох пошел. Выхожу это я, сударь ты мой, за ворота, поворачиваю на Разъезжую и думаю: возьму извозчика. Стоит тут сейчас на угле живейный, я и говорю:

«Что, молодец, возьмешь к Знаменью божей матери?»

«Пятиалтынный».

«Ну, как,— отвечаю ему,— не пятиалтынный! пятачок».

А сама, знаешь, и иду по Разъезжей. Светло везде; фонари горят; газ в магазинах; и пешком, думаю, дойду, если не хочешь, варвар, пятачка взять, этакую близость проехать.

Только вдруг, сударь мой, порх этак передо мною какой-то господин. В пальте, в фуражке это, в калошах, ну одно слово — барин. И откуда это только он передо мною вырос, вот хоть убей ты меня, никак не понимаю.

«Скажите,— говорит,— сударыня (еще сударыней, подлец, назвал), скажите,— говорит,— сударыня, где тут Владимирская улица?»

«А вот,— говорю,— милостивый государь, как прямо-то пойдете, да сейчас будет переулочек направо...» — да только это-то выговорила, руку-то, знаешь, поднявши ему указываю, а он дерг меня за саквояж.

«Наше,— говорит,— вам сорок одно да кланяться колодно», — да и мах от меня.

«Ах,— говорю,— ты варвар! ах, мерзавец ты этакой!» Все это еще за одну надсмешку только считаю. Но с этим словом глядь, а саквояжа-то моего нет.

«Батюшки! — заорала я что было у меня силы, во всю мою глотку.— Батюшки! — ору,— помогите! догоните его, варвара! догоните его, злодея!» И сама-то, знаешь, бегу-натякаюсь и людей-то за руки ловлю, ташу: помогите, мол, защитите: саквояж мой сейчас унес какой-то варвар! Бегу, бегу, аж ноженки мои стали, а его, злодея, и след простыл. Ну, и то сказать, где ж мне, дыне этакой, его, пса подчегарого, догнать! Обернусь так-то на народ, крикну: «Варвары! что ж вы глазете! креста на вас нет, что ли?» Ну, бегла, бегла, да и стала. Стала и реву. Так ревма и реву, как дура. Сижу на тунбе, да и реву. Собрался около меня народ, толкует: «Пьяная, должно быть».

«Ах вы, варвары,— говорю,— этакие! Сами вы пьяные, а у меня саквояж сейчас из рук украдено».

Тут городской подошел. «Пойдем,— говорит,— тетка, в квартал».

Приводит меня городской в квартал, я опять закричала.

Смотрю, из двери идет квартальный поручик и говорит:

«Что ты здесь, женщина, этак шумишь?»

«Помилуйте,— говорю,— ваше высокоблагородие, меня так и так сейчас обкрадено».

«Написать,— говорит,— бумагу».

Написали.

«Теперь иди,— говорит,— с богом».

Я пошла.

Прихожу через день: «Что,— говорю,— мой саквояж, ваше благородие?»

«Иди,— говорит,— бумаги твои пошли, ожидай».

Ожидаю я, ожидаю; вдруг в часть меня требуют. Привели в этакую большую комнату, и множество там лежит этих саквояжес. Частный майор, вежливый этаким мужчиной и собою красив, узнайте; говорит, ваш саквояж.

Посмотрела я — всё не мои саквояжи.

«Нет-с,— говорю,— ваше высокоблагородие, нет здесь моего саквояжа».

«Выдайте,— приказывает,— ей бумагу».

«А в чем,— спрашиваю,— ваше высокоблагородие, мне будет бумага?»

«В том,— говорит,— матушка, что вас обкрадено».

«Что ж,— докладываю ему,— мне по этой бумаге, ваше высокоблагородие?»

«А что ж, матушка, я вам еще могу сделать?»

Дали мне эту бумагу, что меня точно обкрадено, и идите, говорят, в благочинную управу. Прихожу я ночью в благочинную управу, подаю эту бумагу; сейчас выходит из дверей какой-то член, в полковничьем одеянии, повел меня в комнату, где видимо-невидимо лежит этих саквояжей.

«Смотрите»,— говорит.

«Вижу, мол, ваше высокоблагородие; ну только моего саквояжа нет».

«Ну, погодите,— говорит,— сейчас вам генерал на бумаге подпишет».

Сажу я и жду-жду, жду-жду; приезжает генерал: подали ему мою бумагу, он и подписал.

«Что ж это такое генерал подписали на моей бумаге?»— спрашиваю чиновника.

«А подписали,— отвечает,— что вас обкрадено». Держу эту бумагу при себе.

— Держите,— говорю,— Домна Платоновна.

— Неравно сыщется.

— Что ж, на грех мастера нет.

— Ох, именно уж нет на грех мастера! Что б это мне, кабы знатье-то, остаться у нее, у Кошеверихи-то, переночевать.

— Да хоть бы,— говорю,— уж на извозчика-то вы не пожалели.

— Об извозчике ты не говори; извозчик все равно такой же плут. Одна ведь у них у всех, у подлецов, стачка!

— Ну где,— говорю,— так уж у всех одна стачка! Разве их мало, что ли?

— Да вот ты поспори! Я уж это мошенничество вот как знаю.

Домна Платоновна примадна поднесла вверх крепко сжатый кулак и посмотрела на него с некоторой гордостью.

— Со мной извозчик-то, когда я еще глупа была, лучше гораздо сделал,— начала она, опуская руку.— С вывалом, подлец, вез, да и обобрал.

— Как это,— говорю,— с вывалом?

— А так, с вывалом, да и полно: ездила я зимой на Петербургскую сторону, барыне одной мантиль кружевную в кадетский корпус возила. Такая была барынька маленькая и из себя нежная, ну, а станет торговаться — раскричится, настоящая примадона. Выхожу я от нее, от этой барыньки, а уж темнеет. Зимой рано, знаешь, темнеет. Спешу это, спешу, чтоб до прищепки скорей, а из-за угла извозчик, и этакой будто вохловатый мужичок. Я, говорит, дешево свезу.

«Пятиалтынный, мол, к Знаменью»,— даю ему.

— Ну, как же это,— перебиваю,— разве можно давать так дешево, Домна Платоновна!

— Ну вот, а видишь, можно было. «Ближней дорогой,— говорит,— поедем». Все равно! Села я в сани — саквояжа тогда у меня еще не было: в платочке тоже все носила. Он меня, этот черт извозчик, и повез ближней дорогой, где-то по-за крепостью, да на Неву, да все по льду, да по льду, да вдруг как перед этим перед берегом, наспротив самой Литейной, каа-ак меня чебурахнет в ухаб! Так меня, знаешь, будто снизу-то кто под самое под донышко-то чук!— я и вылетела... Вылетела я в одну сторону, а узелок и бог его знает куда отлетел. Подымаюсь я, вся чуня-чуней, потому вода по колдобинам стояла. «Варвар! кричу на него,— что ты это, варвар, со мной сделал?» А он отвечает: «Ведь это,— говорит,— здесь ближняя дорога, здесь без вывала невозможно». «Как,— говорю,— тирая ты этакой, невозможно? Разве так,— говорю,— возят?» А он, подлец, опять свое говорит: «Здесь, купчиха, завсегда с вывалом; я потому,— говорит,— пятиалтынный и взял, чтобы этой ближней дорогой ехать». Ну, говори ты с ним, с извергом! Обтираюсь я только да оглядываюсь; где мой узелок-то, оглядываюсь, потому как раскинуло нас совсем врозь друг от друга! Вдруг откуда ни возьмись этакой офицер, или вроде как штатский какой с усами: «Ах, ты, бездельник этакой!— говорит,— мерзавец! везешь ты этакую да му полную и этак неосторожно?»— а сам к нему к зубам так и подсыкается!

«Садитесь, — говорит, — сударыня, садитесь, я вас застегну».

«Узелок, — говорю, — милостивый государь, я обронила, как он, изверг, встряхнул-то меня».

«Вот, — говорит, — вам ваш узелок», — и подает.

«Ступай, подлец, — крикнул на извозчика, — да смотри! А вы, — говорит, — сударыня, ежели он опять вас вывалит, так вы его без всяких околичностей в морду».

«Где, — отвечаю, — нам, женщинам, с ними, с мереньями, справиться».

Поехали.

Только, знаешь, на Гагаринскую взъехали — гляжу, мой извозчик чего-то пересмеивается.

«Чего, мол, умный молодец, еще зубы скалишь?»

«Да так, — говорит, — намеднясь я тут дешево жиди вез, да как вспомню это, и не удержусь».

«Чего ж, — говорю, — смеяться?»

«Да как же, — говорит, — не смеяться, когда он мордюю-то прямо в лужу, да как вскочит, да кричит юх, а сам все вертится».

«Чего же, — спрашиваю, — это он так юхал?»

«А уж так, — говорит, — видно, это у них по религии».

Ну, тут и я начала смеяться.

Как вздумая этого жиди, так и не могу воздержаться, как он бегаёт да кричит это юх, юх.

«Пустая же самая, — говорю, — после этого их и религия».

Приехали мы к дому к нашему, встаю я и говорю: «Хоша бы стоило тебя, — говорю, — изверга, наказать и хоть пятачок с тебя вычесть, ну, только греха одного боясь: на тебе твой пятиалтынный».

«Помилуйте, — говорит, — сударыня, я тут ничем непричинен: этой ближней дорогой никак без вывала невозможно; а вам, — говорит, — матушка, ничего: с того растете».

«Ах, бездельник ты, — говорю, — бездельник! Жаль, — говорю, — что давешний барин мало тебе в шею-то наклал».

А он отвечает: «Смотри, — говорит, — ваше степенство, не оброни того, что он тебе-то наклал, — да с этим *ню!* на лошаденку и поехал».

Пришла я домой, поставила самоварчик и к узелку: думаю, не подмок ли товар; а в узелке-то, как глянула, так и обмерла. Обмерла, я тебе говорю, совсем обмерла. Хочу взвезть голос, и никак не взведу; хочу идти, и ножки мои гнутся.

— Да что ж там такое было, Домна Платоновна?

— Что — стыдно сказать что: гадости одни были.

— Какие гадости?

— Ну известно, какие бывают гадости: шароварки скинутые — вот что было.

— Да как же, — говорю, — это так вышло?

— А вот и рассуждай ты теперь, как вышло. Меня попервоначалу это-то больше и испугало, что как он на Неве скинуть мог их да в узелок завязать. Вижу и себе не верю. Прибежала я в квартал, кричу: батюшки, не мой узел.

«Знаем, — говорят, — что *немой*; рассказывай толком».

Рассказала.

Повели меня в сыскную полицию. Там опять рассказала. Сыскной рассмеялся.

«Это верно, — говорит, — он, подлец, из бани шел».

А враг его знает, откуда он шел, только как это он мне этот узелок подсунул?

— В темноте, — говорю, — не мудрено, Домна Платоновна.

— Нет, я к тому, что ты говоришь извозчик-то: не оброни, говорит, что накладено! Вот тебе и накладено, и разумеи, значит, к чему эти его слова-то были.

— Вам бы, — говорю, — надо тогда же, садясь в сани, на узелок посмотреть.

— Да как, мой друг, хочешь смотри, а уж как обмошенничают тебя, так все равно обмошенничают.

— Ну, это,— говорю,— уж вы того...

— Э, ге-ге-ге! Нет, уж ты сделай свое одолжение: в глазах тебя самого не тем, чем ты есть, делают. Я тебе вот какой случай скажу, как в глаза-то нашего брата обдывают. Иду я — вскоре это еще как из своего места сюда приехала, — и надо мне было идти через Апраксин. Тогда там теснота была, не то что теперь, после пожара — теперь прелесть как хорошо, а тогда была ужасная гадость. Ну, иду я, иду себе. Вдруг откуда ни возьмись молодец этакой, из себя красивый: «Купи,— говорит,— тетенька, рубашку». Смотрю, держит в руках ситцевую рубашку, совсем новую, и ситец прелестный такой — никак не меньше как гривен шесть за аршин надо дать.

«Что ж,— спрашиваю,— за нее хочешь?»

«Два с половиной».

«А что,— говорю,— из половинки уступишь?»

«Из какой половинки?»

«А из любой,— говорю,— из какой хочешь». Потому что я знаю, что в торговле за всякую вещь всегда половину надо давать.

«Нет,— отвечает,— тетка, тебе, видно, не покупать хороших вещей» — и из рук рубашку, знаешь, дергает.

«Дай же», — говорю, потому вижу, рубашка отличная, целковых три кому не надо стоит.

«Бери,— говорю,— рупь».

«Пусти,— говорит,— мадам!» — дернул и, вижу, свертывает ее под полу и оглядывается. Известное дело, думаю, краденая; подумала так и иду, а он вдруг из-за линии выскакивает: «Давай,— говорит,— тетка, скорей деньги. Бог с тобой совсем: твое, видно, счастье владеть».

Я ему это в руки рупь-бумажку даю, а он мне самую эту рубаху скомканную отдает.

«Владай,— говорит,— тетенька», а сам верть назад и пошел.

Я положила в карман портмоне, да покупку-то эту свою разворачиваю, ан гляжу — хлоп у меня к ногам что-то упало. Гляжу — мочалка старая, вот что в небели бывает. Я тогда еще этих петербургских обстоятельств всех не знала, дивуюсь: что, мол, это такое? да на руки-то свои глядь, а у меня в руках лоскут Того же самого ситца, что рубашка была, так лоскуток один с пол-аршина. А эти мереные приказчики грохочут: «К нам,— трещат,— тетенька, пожалуйста, у нас,— говорят,— есть и фас-канифас и для глупых баб припас». А другой опять подходит: «У нас,— говорит,— тетенька, для вашей милости саван есть подержанный чудесный». Я уж это все мимо ушей пуцаю: шут, думаю, с вами совсем. Даже, я тебе говорю, сомлела я; страх на меня напал, что это за лоскут такой? Была рубашка, а стал лоскут. Нет, друг мой, они как захотят, так всё сделают. Ты Егупова полковника знаешь?

— Нет, не знаю.

— Ну как, чай, не знать! Красивый такой, брюхастый: отличный мужичья Девять лошадей под ним на войне убили, а он жив остался: в газетах писано было об этом.

— Я его все-таки, Домна Платоновна, не знаю.

— Что нам с ним один варвар сделал? Это, я тебе говорю, роман, да еще и романов-то таких немного — на театре разве только можно представить.

— Матушка,— говорю,— вы уж не мучьте, рассказывайте!

— Да, эту историю уж точно что стоит рассказать. Как он только называется?.. есть тут землемер... Кумовеев ни то Макавеев, в седьмой роте в И^{ст} майловском он жил.

— Бог с ним.

— Бог с ним? Нет, не бог с ним, а разве черт с ним, так это ему больше кста^т!

— Да это я только о фамилии-то.

— Да, о фамилии — ну это пожалуй; фамилия ничего — фамилия простая, а что сам уж подлец, так самый первый в столице подлец. Пристал: «Жени меня, Домна Платоновна!»

«Изволь, — говорю, — женю; отчего, — говорю, — не женить? — женю».

Из себя он тварь этакая видная, в лице белый и усики этак твердо носит.

Ну, начинаю я его сватать; отягощаюсь, хожу, выискала ему невесту из купечества — дом свой на Песках, и девушка порядочная, полная, румяная; в носике вот тут-то в самой переносице хоть и был маленький изъянец, но ничего это — потому от золотухи это было. Хожу я, и его, подлеца, с собою вожу, и совсем уж у нас дело стало на мази. Тут уж я, разумеется, надзираю за ним как не надо лучше, потому что это надо делать безотходительно, да уж и был такой и слух, что он с одной девицей из купечества обручившись и деньги двести серебра на окпировку себе забрал, а им дал женитьбенную расписку, но расписка эта оказалась коварная, и ничего с ним по ней сделать не могли. Ну, уж зная такое про человека, разумеется, смотришь в оба — нет-нет, да и завернешь с визитом. Только прихожу, сударь мой, раз один к нему — а он, надо тебе знать, две комнаты занимал: в одной так у него спальня была, а в другой вроде зальца. Вхожу это и вижу, дверь из зальца в спальню к нему затворена, а какой-то этакой господин под окном, надо полагать вояжный; потому ледунка у него через плечо была, и сидит в кресле и трубку курит. Это-то вот он самый полковник-то Егулов и будет.

«Что, — я говорю, этак сама-то к нему оборачиваюсь, — или, — говорю, — хозяина дома нет?»

А он мне на это таково сурово махнул головой и ничего не ответил, так что я не узнала: дома землемер или его нету.

Ну, думаю, может, у него там дамка какая, потому что хоть он и жениться собирается, ну а все же. Села я себе и сижу. Но нехорошо же, знаешь, так в молчанку сидеть, чтоб подумали, что ты уж и слова сказать не умеешь.

«Погода, — говорю, — стоит нынче какая прелюбопытная».

Он это сейчас же на мои слова вскинул на меня глазами, да, как словно из бочки, как рывкнет: «Что, — говорит, — такое?»

«Погода, — опять говорю, — стоит очень приятная».

«Врешь, — говорит, — пыль большая».

Пыль-таки и точно была, ну, а все я, знаешь, тут же подумала, что ты, мол, это такой? Из каких таких взялся, что очень уж рычишь сердито?

«Вы, — говорю ему опять, — как Степану Матвеевичу — сродственник будете или приятели только, знакомые?»

«Приятель», — отвечает.

«Отличный, — говорю, — человек Степан Матвеевич».

«Мошенник, — говорит, — первой руки».

Ну, думаю, верно Степана Матвеевича дома нет.

«Вы, — говорю, — давно их изволите знать?»

«Да знал, — говорит, — еще когда баба девкой была».

«Это, — отвечаю, — сударь, и с тех пор, как я их зазнала, может, не одна уж девка бабой ходит, ну только я не хочу греха на душу брать — ничего за ними худого не замечала».

А он ко мне этак гордо:

«Да у тебя на чердаке-то что, — говорит, — напхано? — сено!»

«Извините, — говорю, — милостивый государь, у меня, слава моему создателю, пока еще на плечах не чердак, а голова, и не сено в ней, а то же самое, что и у всякого человека, что богом туда-приназначено».

«Толкуй!» — говорит.

«Мужик ты, — думаю себе, — мужиком тебе и быть».

А он в это время вдруг меня и спрашивает:

«Ты,— говорит,— его брата Максима Матвеева знаешь?»

«Не знаю,— говорю,— сударь: кого не знаю, про того и лгать не хочу, что знаю».

«Этот,— говорит,— плут, а тот и еще почище. Глухой».

«Как,— говорю,— глухой?»

«А совсем-таки,— говорит,— глухой: одно ухо глухо, а в другом золотуха, и обоими не слышит».

«Скажите,— говорю,— как удивительно!»

«Ничего,— говорит,— тут нет удивительного».

«Нет, я, мол, только к тому, что один брат такой красавец, а другой — глух».

«Ну да; то-то совсем ничего в этом и нет удивительного; вон у меня у сестры на роже красное пятно, как лягушка точно сидит: что ж мне-то тут такого!»

«Родительница,— говорю,— верно в своем интересе чем испугалась?»

«Самовар,— говорит,— ей девка на пузо вывернула».

Ну, я тут-то вежливо пожалела.

«Долго ли,— говорю,— с этими, с быстроглазыми, до греха»,— а он опять и начинает:

«Ты,— говорит,— если только не совсем ты дура, так разбери: он, этот глухой брат-то его, на лошадей охотник меняться».

«Так-с»,— говорю.

«Ну, а я его вздумал от этого отучить, взял да ему слепого коня и променял, что лбом в забор лезет».

«Так-с»,— говорю.

«А теперь мне у него для завода бычок понадобился, я у него этого бычка и купил и деньги отдал; а он, выходит, совсем не бык, а вол».

«Ах,— говорю,— боже мой, какая оказия! Ведь это,— говорю,— не годится».

«Уж разумеется,— говорит,— когда вол, так не годится. А вот я ему, глухому, за это вот какую шутку отшучу: у меня на этого его брата, Степана Матвеевича, расписка во сто рублей есть, а у них денег нет; ну, так я им себя теперь и покажу».

«Это,— говорю,— точно, что можете показать».

«Так ты,— говорит,— так и знай, что этот Максим Матвеев — каналья и я вот его только дождусь и сейчас его в яму».

«Я, мол, их точно в тонкость не знаю, а что сватаючи их, сама я их порочить не должна».

«Сватаешь!»— вскрикнул.

«Сватаю-с».

«Ах ты,— говорит,— дура ты, дура! Нешто ты не знаешь, что он женатый?»

«Не может,— говорю,— быть!»

«Вот тебе и не может, когда трое детей есть».

«Ах, скажите,— говорю,— пожалуйста!» «Ну, Степан,— думаю,— Матвеев отличную ж вы было со мной шутку подшутили!»— и говорю, что, стало быть говорю, как я его теперь замечаю, он, однако, фортель!

А он, этот полковник Егупов, говорит: «Ты если хочешь кого сватать, то самое лучшее дело — меня сосватай».

«Извольте, мол».

«Нет, я,— говорю,— это тебе без всяких шуток, вправду говорю».

«Да извольте,— отвечаю,— извольте!»

«Ты мне, кажется, не веришь?»

«Нет-с, отчего же: это, мол, действительно, если человек имеет расположение от рассеянной жизни увольниться, то самое первое дело ему жениться на хорошей девушке».

«Или,— говорю,— хоть на вдове, но чтоб только с деньгами».

«Да, мол, или на вдове».

Пошли у нас тут с ним разговоры; дал он мне свой адрес, и стала я к нему

ходить. Что только тоже я с ним, с аспидом, помучилась! Из себя страшный-большой и этакой фантастический — никогда он не бывает в одном положении, а всякого принимает по фантазии. Есть, разумеется, у людей разное расположение, ну только такого мужчину, как этот Егупов, не дай господи никакой жене на свете. Станет, бывало, бельма выпучит, а сам, как клоп, кровью нальется — орет: «Я тебя кверху дном поставлю и выворочу. Сейчас наизнанку будешь!» Глядя на это, как он беснуется, думаешь: «ах, обиду какую кровную ему кто нанес!» — а он сердит оттого, что не тем боком корова почесалась. Ну, однако, сосватала я и его на одной вдове на купечской. Такая-то, тоже ему под пару, точно на заказ была слечена, туша присноблаженная. Ну-с, сударь ты мой, отбылись смотрины, и стговор назначили.

Приезжаем мы с ним на этот стговор, много гостей — родственники с невестинной стороны и знакомые, всё хорошего поколения, значительного, и смотрю, промеж гостей, в одном угле на стуле сидит этот землемер Степан Матвейч.

Очень это мне не показалось, что он тут, но ничего я не сказала.

Верно, думаю, должно быть его из ямы выпустили, он и пришел по знакомству.

Ну, впрочем, идет все как следует. Прошла помолвка, прошло образование, и все ничего. Правда, дядя невестин, Колобов Семен Иванович, купец, пьяный пришел и начал было врать, что это, говорит, совсем не полковник, а Федоровой банщицы сын. «Лизни, — говорит, — его кто-нибудь языком в ухо, у него такая привычка, что он сейчас за это драться станет. Я, — болтает, — его знаю; это он одел эполеты, чтоб пофорсить, но я с него эти эполеты сейчас сорву», ну, только этого же не допустили, и Семена Иваныча самого за это сейчас отвели в пустую половину, в холодную.

Но вдруг, во время самого благословения, отец невестин поднимает образ, а по зале как что-то загудет! Тот опять поднимает икону, а по зале опять гу-у-у-у! — и вдруг явственно выговаривает:

«Нечего, — говорит, — петь Исаю, когда Мануил в чреве».

Господи! даже отороп на всех напал. Невесте конфуз; Егупов, гляжу, тоже бельмами-то своими на меня.

Ну что, думаю, ты-то! ты-то что, батюшка, на меня остребенился, как черт на попа?

А в зале опять как застонет:

«К небесам в поле пыль летит, к женатому жениху — жена катит, богу молится, слезьми обливается».

Бросились туда-сюда — никого нет.

Боже мой, что тут поднялось! Невестин отец образ поставил да ко мне, чтоб бить; а я, видючи, что дело до меня доходит, хвост повыше подобрамши, да от него драла. Егупов божится, что он сроду женат не был: говорит, хоть справки наведите, а глас все свое, так для всех даже внимательно: «Не вдавайте, — говорит, — рабы, отроковицу на брак скверный». Все дело в расстрой! — Что ж, ты думаешь, все это было?.. Приходит ко мне после этого через неделю Егупов сам и говорит: «А знаешь, — говорит, — Домна, ведь это все подлец землемер пупком говорил!»

— Ну, как так, — спрашиваю, — Домна Платоновна, пупком?

— А пупком, или чревом там, что ли, бес его лукавый знает, чем он это каверзил. То есть я тебе говорю, что все это они нонче один перед другим ухитряются, один перед другим выдумывают, и вот ты увидишь, что они чисто все государство запутают и изнищут.

Я даже смутился при выражении Домною Платоновною совершенно неожиданных мною опасений за судьбы российского государства. Домна Платоновна, всеконечно, заметила это и пожелала полюбоваться производимым ею политическим эффектом.

— Да, право, ей-богу! — продолжала она ноткою выше. — Ты только сам,

помилуй, скажи, что хитростей всяких настало? Тот летит по воздуху, что птице одной назначено; тот рыбою плавлет и на дно морское опускается; тот теперь — как на Адмиралтейской площади — огонь серный ест; этот животом говорит; другой — еще что другое, что человеку непоказанное — делает... Господи! бес, лукавый сам, и тот уж им повинуется, и все опять же таки не к пользе, а ко вреду. Со мной ведь один раз было же, что была я отдана бесам на поругание!

— Матушка,— говорю,— неужто и это было?

— Было.

— Так не томите, рассказывайте.

— Давно это, лет, может быть, двенадцать тому будет, молода я еще в те поры была и неопытна, и задумала я, овдовевши, торговать. Ну, чем, думаю, торговать? — Лучше нечем, по женскому делу, как холстом, потому — женщина больше в этом понимает, что к чему принадлежит. Накуплю, думаю, на ярманке холста и сяду у ворот на скамеечке и буду продавать. Поехала я на ярманку накупила холста, и надо мне домой воротиться. Как, думаю, теперь мне с холстом домой воротиться? А на двор на постоялый, хлоп, въезжает троешник.

«Везли мы,— сказывает,— из Киева, в коренную, на семи тройках орех, да только орех мы этот подмочили, и теперь,— говорит,— сделало с нас купечество вычет, и едем мы к дворам совсем без заработка».

«Где ж,— спрашиваю,— твои товарищи?»

«А товарищи,— отвечает,— кто куда в свои места поехали, а я думаю, не найду ли хоть седочков каких».

«Откуда же,— пытаюсь,— из каких местов ты сам?»

«А я куракинский,— говорит,— из села из Куракина».

Как раз это мне к своему месту. «Вот,— говорю,— я тебе одна седачка готова».

Поговорили мы с ним и на рубле серебра порешили, что пойдет он по дворам, чтоб еще седочков собрать, а завтра чтоб в ранний обед и ехать.

Смотрю, завтра это вдруг валит к нам на двор один человек, другой, пятый, восьмой, и все мужчины из торговцев, и красики такие полные. Вижу, у одного мешок, у другого — сумка, у третьего — чемодан, да еще ружье у одного.

«Куда ж,— говорю извозчику,— ты это нас всех запихаешь?»

«Ничего,— говорит,— улезете — повозка большая, сто пудов возим». Я, признаться, было хоть и остаться рада, да рупь-то ему отдан, и ехать опять не с кем,

С горем с таким и с неудовольствием, ну, однако, поехала. Только что за заставу мы выехали, сейчас один из этих седочков говорит: «Стой у кабака!» Пили они тут много и извозчика поят. Поехали. Опять с версту отъехали, гляжу — другой кричит: «Стой,— говорит,— здесь Иван Иванович Елкин живет, никак,— говорит,— его минать не должно».

Раз они с десять этак останавливались всё у своего Ивана Ивановича Елкина.

Вижу я, что дело этак уж к ночи и что извозчик наш распьяным-пьянопьян сделался.

«Ты,— говорю,— не смей больше пить».

«Отчего это так,— отвечает,— не смей? Я и так,— говорит,— не смелый, я все это не смеючи действую».

«Мужик,— говорю,— ты, и больше ничего».

«Ну-к что ж, что мужик! а мне,— говорит,— абы водка».

«Тварь-то, глупец,— учу его,— пожалел бы свою!»

«А вот я,— говорит,— ее жалею,— да с этим словом мах своим кнутовищем и пошел задувать. Телега-то так и подскакивает. Того только и смотрю, что сейчас опрокинется, и жизни нашей конец. А те пьяные все заливаются. Один гармонию вынул, другой песню орет, третий из ружья стреляет. Я только молось: «Пятница Просковья, спаси и помилуй!»

Неслись мы, неслись во весь кульер, и стали кони наши наконец приставать, и поехали мы опять шагом. На дворе уж этак смерклось, и не то чтобы, как

сказать, дождь идет, а все будто туман брызгает. Руки у меня просто страсть как набрякли держамшись, и уж я рада-радешенька, что наконец мы едем тихо; сижу уж и голосу не подаю. А у тех тем часом, слышу, разговор пошел: один рассказывает, что разбойники тут по дороге шляются, а другой отвечает ему, что он разбойников не боится, потому что у него ружье два раза стрелять может. Опять еще какой-то о мертвецах заговорил: я, рассказывает, мертвую кость имею, кого, говорит, этою костью обведу, тот сейчас мертвым сном заснет и не подымется; а другой хвастается, что у него есть свеча из мертвого сала. Я это все слушала, и вдруг все словно кто меня стал за нос водить, и ударил на меня сон, и в одну минуту я заснула.

Только крепко я заснуть никак не могла, потому что все нас, словно орехи в решете, протряхивало, и во сне мне слышится, как будто кто-то говорит: «Как бы,— говорит,— нам эту чертову бабу от себя вон выкинуть, а то ног некуда протянуть». Но я все сплю.

Вдруг, сударь ты мой, слышу крик, визг, гам. Что такое? Гляжу — ночь, повозка наша стоит, и около нее всё вертятся, да кричат, а что кричат — не разобрать.

«Шурле-мурле, шире-мире-кравермир», — орет один.

Наш это, что с ружьем-то ехал, бац из одного ружья — пистолет лопнул, а стрельбы нет, бац из другого — пистолет опять лопнул, а стрельбы нет.

Вдруг этот, что кричал-то, опять как заорет: шире-мире-кравермир! да с этим словом хап меня под руки-то из телеги да на поле, да ну вертеть, ну крутить. Боже мой, думаю, что ж это такое! Гляну, гляну вокруг себя — всё рожи такие темные, да все вертятся и меня крутят да кричат: шире-мире! да за ноги меня, да ну раскачивать.

«Батюшка! — взмолилась я, такое над собой в первый раз видючи, — Никола божий амченский! триех дев непорочный невестителю! чистоты усердной хранителю! не допусти же ты им хоть наготу-то мою недостойную видеть!»

Только что я это в сердце своем проговорила, и вдруг чувствую, что тишина вокруг меня стала необъятная, и лежу будто я в поле, в зелени такой изумрудной, и передо мною, перед ногами моими плывет небольшое этакое озерцо, но пречистое, препрозрачное, и вокруг него, словно бахрома густая, стоит молодой тростник и таково тихо шатается.

Забыла я тут и про молитву и все смотрю на этот тростник, словно сроду я его не видала.

Вдруг вижу я что же? Вижу, что с этого с озера поднимается туман, такой сизый, легкий туман и, точно настоящая пелена, так по полю и расстилается. А тут под туманом на самой на середине озера вдруг кружочек этакой, как будто рыбка плеснулась, и выходит из этого кружочка человек, так маленький, росту не больше как с петуха будет; личико крошечное; в синеньком кафтанчике, а на головке зеленый картузик держит.

«Удивительный, — думаю, — какой человек, будто как куколка хорошая», и все на него смотрю, и глаз с него не спускаю, и совсем его даже не боюсь, вот таки ни капли не боюсь.

Только он, смотрю, начинает всходить-всходить, и все ко мне ближе, ближе и, на конец того дела, прыг прямо ко мне на грудь. Не на самую, знаешь, на грудь, а над грудью стоит на воздухе и кланяется. Таково преважно поднял свой картузик и здравствуется.

Смех меня на него разбирает ужасный: «Где ты, — думаю, — такой смешной взялся?»

А он в это время хлоп свой картузик опять и говорит... да ведь что же говорит-то!

«Давай, — говорит, — Домочка, сотворим с тобой любовь!»

Так меня смех и разорвал.

«Ах ты, — говорю, — шиш ты этакой! Ну, какую ты можешь иметь любовь?»

А он вдруг задом ко мне верть и запел молодым кочетком: кука-реку-ку-ку

Вдруг тут зазвенело, вдруг застучало, вдруг заиграло: стон, я тебе говорю стоит. Боже мой, думаю, что ж это такое? Лягушки, карпии, леши, раки, кто на скрипку, кто на гитаре, кто в барабаны бьют; тот пляшет, тот скачет, того вверх вскидывает!

«Ах, — думаю, — плохо это! Ах, совсем это нехорошо! Огражду я себя, — думаю, — молитвой», да хотела так-то зачитать: «Да воскреснет бог», а на место того говорю: «Взвейся, выше понесися», и в это время слышу в животе у меня бум-бурум-бум, бум-бурум-бум.

«Что это, мол, я такое: тарбан, что ль?» — и гляжу, точно я тарбан. Стоит надо мной давешний человечек маленький и так-то на мне нарезывает.

«Ох, — думаю, — батюшки! ох, святые угодники!» — а он все по мне смычком. то пилит-пилит, и такое на мне выигрывает, и вальсы, и кадрили всякие, а другие еще поджигают: «Тарабань жесче, жесче тарабаны!» — кричат.

Боль, тебе говорю, в животе непереносная, а все гуду. И так целую ночь целехонькую на мне тарабанили; целую ночь до бела до света была я им, крещеньи человек, заместо тарбана; на утешение им, бесам, служила.

— Это, — говорю, — ужасно.

— И очень даже, мой друг, ужасно. Но тем это еще было ужаснее, что утром, как оттарабанили они на мне всю эту свою музыку, я оглядываюсь и вижу, что место мне совсем незнакомое: поле, лужица этакая точно есть большая, вроде озерца, и тростник, и все, как я видела, а с неба солнце печет жарко, и прямо мне во всю наружность. Гляжу, тут же и мой сверточек с холстами и сумочка — все в целости; а так невдалеке деревушка. Я встала, доплелась до деревушки, наняла мужика, да к вечеру домой и доехала.

— И что же вы, Домна Платоновна, уверены, что все это с вами действительно приключилось?

— А то врать я, что ли, на себя стану?

— Нет, я говорю про то, что именно так ли все это было-то?

— Так и было, как я тебе рассказываю. А ты вот подивись, как я им наготы-то своей не открыла.

Я подивился.

— Да; вот и с бесом да совладала, а с лукавым человеком так вышло раз иначе.

— Как же вышло?

— Слушай. Купила я для одной купчихи мебель, на Гороховой у выезджих. Были комоды, столы, кровати и детская короватка с этаким с тесьменным дном. Заплатила я тринадцать рублей деньги, выставила все в коридор и пошла за извозчиком. Взяла за рупь за сорок к Николе Морскому извозчика ломового и укладываем с ним мебель, а хозяева, у которых купила-то я, на ту пор вышли и квартиру замкнули. Вдруг откуда ни возьмись дворники, татары «халам-балам»: как ты смеешь, орут, вещи брать? Я туда, я сюда — не спускают. А тут дождь, а тут извозчик стоять не хочет. Боже мой! Насилу я надумалася ну, ведите, говорю, меня в квартал — я, говорю, квартального жена. И только это сказала, входят на двор эти господа, у которых мебель купила, «Продана, говорят, — точно, ей эта мебель продана». Ну, извозчик мой говорит: садись Думая, и точно, замест того, чтоб на живейного тратить, сяду в короватку детскую. Высоко они эту короватку, на самом на верху воза над комодой утвердили, но я вскарабкалась и села. Только что ж бы ты думал? Не успела я со двора выехать, как слышу, низок-то подо мною тресь-тресь-тресь.

«Ах, — думаю, — батюшки, ведь это я проваливаюсь!» И с эти словом хотела встать на ноги, да трах — и просунулась. Так верхом, как жандар на одной тесемке и сижу. Срам, я тебе говорю, просто насмерть! Одежда вся

взбилась, а ноги голые над комодой мотаются; народ дивуется; дворники кричат: «Закройся, квартальничиха», а закрыться нечем. Вот он варвар какой!

— Это кто же,— говорю,— варвар?

— Да извозчик-то: где же, скажи ты, пожалуй, зевает на лошадь, а на пассажира и не посмотрит. Мало ведь чуть не всю Гороховую я так проехала, да уж городовой, спасибо ему, остановил. «Что это,— говорит,— за мерзость такая? Это не позволено, что ты показываешь?» Вот как я посветила наготой-то.

Глава шестая



— Домна Платоновна!— говорю,— а что — давно я желал вас спросить — молодою такой вы остались после супруга, неужто у вас никакого своего сердечного дела не было?

— Какого это сердечного?

— Ну, не полюбили вы кого-нибудь?

— Полно глупости болтаты!

— Отчего ж,— говорю,— это глупости?

— Да оттого,— отвечает,— глупости, что хорошо этими любовью заниматься, у кого есть приспешники да доспешники, а как я одна, и постоянно я отягощаюсь, и постоянно веду жизнь прекратительную, так мне это совсем даже и не на уме и некстати.

— Даже и не на уме?

— И ни вот столичко!— Домна Платоновна черкнула ногтем по ногтю и добавила:— а к тому же я тебе скажу, что вся эта любовь — вздор. Так напустит человек на себя шаль такую: «Ах, мол, умираю! жить без него или без нее не могу!» вот и все. По-моему, то любовь, если человек женщине как следует помогает — вот это любовь, а что женщина, она всегда должна себя помнить и содержать на примечании.

— Так,— говорю,— стало быть, ничем вы, Домна Платоновна, богу и не грешны?

— А тебе какое дело до моих грехов? Хоша бы чем я и грешна была, то мой грех, не твой, а ты не поп мой, чтоб меня исповедовать.

— Нет, я говорю это, Домна Платоновна, только к тому, что молоды вы овдовели и видно, что очень вы были хороши.

— Хороша не хороша,— отвечает,— а в дурных не ставили.

— То-то,— я говорю,— это и теперь видно.

Домна Платоновна поправила бровь и глубоко задумалась.

— Я и сама,— начала она потихоньку,— много так раз рассуждала: скажи мне, господи, лежит на мне один грех или нет? и ни от кого добиться не могу. Научила меня раз одна монашка с моих слов списать всю эту историю и подать ее на духу священнику,— я и послушалась, и монашка списала, да я, шедши к церкви, все и обронила.

— Что ж это такое, Домна Платоновна, за грех был?

— Не разберу: не то грех, не то мечтание.

— Ну, хоть про мечтание скажите.

— Издаля это начинать очень приходится. Это еще как мы с мужем жили.

— Ну как же, голубушка, вы жили?

— А жили ничего. Домик у нас был хоша и небольшой, но по предместности был очень выгодный, потому что на самый базар выходил, а базары у нас для хозяйственного употребления частые, только что нечего на них выбрать, вот в чем главная цель. Жили мы не в больших достатках, ну и не в бедности, торговали и рыбой, и салом, и печенкой, и всяким товаром. Муж мой, Федор Ильич, был человек молодой, но этакой мудреный, из себя был сухой, но губы имел необыкновенные. У таких губ ни у кого даже после и не выдывала. Нраву он, не тем будь помянут, был пронзительного — спорильщик и упортивный; а я тоже в девках воительница была. Вышедши замуж, вела я себя сначала очень даже прилично, но это его нисколько совсем не восхищало, и всякий день натошак мы с ним буйственно сражались. Любви у нас с ним большой не было, и согласья столько же, потому оба мы собрались с ним воители, да и нельзя было с ним не воевать, потому, бывало, как ты его ни голубь, а он все на тебя тетерится, однако жили не разводились и восемь лет прожили. Конечно, жили не без неприятностей, но до драки настоящей у нас не часто доходило. Раз один, точно, дал он мне, покойник, подзатыльника, но только, разумеется, и моей тут немножко было причины, потому что стала я ему волосы подравнивать, да ножницами — кусочек уха ему и отстригнула. Детей у нас не было, но были у нас на Нижнем городе кум и кума Прасковья Ивановна, у которых я детей крестила. Были они люди небогатые тоже, портной он назывался и диплом от общества имел, но шить ничего не шил, а по покойникам пасалтырь читал и пел в соборе на крылосе. По добычливости же, если что добыть по домашнему, все больше кума отягощалась, потому что она полезной бабой была, детей правила и навью кость сводила.

Вот один раз, это уж на последнем году мужниной жизни (все уж тут валилось как перед пропастью), сделайся эта кума Прасковья Ивановна именинница. Сделайся она именинница, и пошли мы к ней на именины, и застал нас там у нее дождь, и такой дождь, что как из ведра окатывает; а у меня на ту пору еще голова разболелась, потому выпила я у нее три пунша с кисляркой, а эта кислярская для головы нет ее подлее. Взяла я и прилегла в другой комнатке на диванчике.

«Ты,— говорю,— кума, с гостями еще посиди, а я тут крошечку полежу.»

А она: «Ах, как можно на этом диване: тут твердо; на постель ложись».

Я и легла и сейчас заснула. Нет тут моей вины?

— Никакой,— говорю.

— Ну, теперь же слушай. Сплю я и чую, что как будто кто-то меня обнимает, и таки, знаешь, не на шутку обнимает. Думаю, это муж Федор Ильич; но как будто и не Федор Ильич, потому что он был сложения духовного и из себя этакой секретный,— а проснуться не могу. Только проспавши свое время, встаю, гляжу — утро, и лежу я на куминой постели, а возле меня кум. Я мах этак, знаешь, перепрыгнула скорей через него с кровати-то, тряусь вся от страху и гляжу — на полу на перинке лежит кума, а с ней мой Федор Ильич.. Толк я тут-то куму гляжу — и та схватилась и крестится.

«Что же это,— говорю,— кума, такое? как это сделалось?»

«Ах,— говорит,— кумонька! Ах я, мерзкая этакая! Это все я сама,— говорит,— настроила, потому они еще, проводя гостей, допивать сели, а я тут впотьмах-то тебя не стала будить, да и прилегла тут, где вам было постлано».

Я даже плюнула.

«Что ж теперь,— говорю,— нам с тобой делать?»

А она мне отвечает: «Нам с тобой нечего больше делать, как надо про это молчать».

Это я, вот сколько тому лет прошло, первому тебе про это и рассказала, потому что тяжело мне это ужасно, и всякий раз, как я это вздумая, так я этот сон свой проклясть совсем готова.

— Вы,— говорю,— Домна Платоновна, не сокрушайтесь, потому что ведь все это вышло мимо воли вашей.

— А еще бы,— говорит,— как? Я и так-то себя немало измучила и истерзала. Горе-таки горем, как Федор Ильич вскорости тут помер, потому не своею он помер смертью, а дрова, сажени на берегу завалились, задавили его. О петербургских обстоятельствах, чтоб как чем себя развеселить, я и понятия тогда не имела; но как вспомню, бывало, все это после его смерти-то, сяду вечером одна-одинешенька под окошечко, пою: «Возьмите вы все золото, все почести назад», да сама льюсь, льюсь рекою, как глаза не выйдут. Так тяжко, так станет жутко, вспомнивши эти слова, что «друг нежный спит в сырой земле», что хоть надену на себя босил пенечный, да и полезай в петлю. Продала все, всего решилась и уехала; думаю, пусть лучше хоть глаза мои на все это не глядят и уши мои не слышат.

— Это,— говорю,— Домна Платоновна, я вам верю; нет ничего несноснее, как если одолеет тоска.

— Спасибо тебе, милый, на добром слове, именно правду говоришь, что нет ничего несноснее, и утешь и обрадуй тебя за это слово царица небесная, что ты все это мог понять и почувствовать. Но не можешь ты понять всей обо мне тоски и жалости, если не открою я тебе всю мою настоящую обиду, как меня один раз обидели. Что это саквояж там пропал или что Леканидка там неблагодарная — все это вздор. А был у меня на свете один такой день, что молила я господу, что пошли ты хоть змея, хоть скорпия, чтоб очи мои сейчас выпил и сердце мое высосал. И кто ж меня обидел?— Испулатка, нехристь, турка! А кто ему помогал?— свои приятели, миром святым ма-заные.

Домна Платоновна горько-прегорько заплакала.

— Курьерша одна моя знакомая,— начала она, утираючи слезы,— жила в Лопатине доме, на Невском, и пристал к ней этот пленный турка Испулатка. Она за него меня и просит: «Домна Платоновна! определи,— говорит,— хоть ты его, черта, к какому-нибудь месту!»—«Куда ж,— думаю,— турку определить? Кроме как куда-нибудь арапом, никуда его не определишь»— и нашла я ему арапскую должность. Нашла, и прихожу, и говорю: «Так и так,— говорю,— иди и определяйся».

Тут они и затеяли магарычи пить, потому что он уже своей поганой веры избавился, крестился и мог вино пить.

«Не хочу я,— говорю,— ничего», ну, только, однако, выпила. Этакой уж у меня характер глупый, что всегда я попервоначалу скажу «нет», а потом выпью. Так и тут: выпила и осатанела, и у нее, у этой курьерши, легла с нею на постели.

— Ну-с?

— Ну, вот тебе и все, а нынче зашиваюсь.

— Как зашивается?

— А так, что если где уж придется неминуючи ночевать, то я совсем с ногами, вроде как в мешок, и зашиваюсь. И даже так тебе скажу, что и совсем на сон свой подлый не надеюсь, я даже и постоянно нынче на ночь зашиваюсь.

Домна Платоновна тяжело вздохнула и опустила свою скорбную голову.

— Вот тебе уж, кажется, и знаю петербургские обстоятельства, а однако что над собой допустила!— произнесла она после долгого раздумья, простилась и пошла к себе на Знаменскую.

Глава седьмая



Через несколько лет привелось мне свезти в одну из временных тифозных больниц одного бедняка. Сложив его на койку, я искал, кому бы его препоручить хоть на малейшую ласку и внимание.

— Старшой,— говорят.

— Ну, попросите,— прошу,— старшую.

Входит женщина с отцветшим лицом и отвисшими мешками щек у челюстей

— Чем,— говорит,— батюшка, служить прикажете?

— Матушка,— восклицаю,— Домна Платоновна?

— Я, сударь, я.

— Как вы здесь?

— Бог так велел.

— Поберегите,— прошу,— моего больного.

— Как своего родного поберегу.

— Что ж ваша торговля?

— А вот моя торговля: землю продать, да небо купить. Решилась я, друг мой, своей торговле. Зайди,— шепчет,— ко мне.

Я зашел. Каморочка сырая, ни мебели, ни шторы, только койка да столик с самоваром и сундучок крашенный.

— Будем,— говорит,— чай пить.

— Нет,— отвечаю,— покорно вас благодарю, некогда.

— Ну так заходи когда другим разом. Я тебе рада, потому я разбита, друг мой, в последняя разбита.

— Что же с вами такое случилось?

— Уста мои этого рассказать не могут, и сердцу моему очень больно, и, сделай милость, ты меня не спрашивай.

— И отчего,— говорю,— вы это так вдруг осунулись?

— Осунулась! что ты, господь с тобой! ни капли я не осунулась.

Домна Платоновна торопливо выхватила из кармана крошечное складное зеркальце, поглядела на свои блеклые щеки и заговорила:

— Ни крошечки я не осунулась, и то это теперь к вечеру, а с утра я еще гораздо свежее бываю.

Смотрю я на Домну Платоновну и понять не могу, что в ней такое? а только вижу, что что-то такое странное.

Показалось мне, что кроме того, что все ее лицо поблекло и обвисло, будто оно еще слегка подштукатурено и подкрашено, а тут еще эта тревога при моем замечании, что она осунулась... Непонятная, думаю, притча!

Не прошло после этого месяца, как вдруг является ко мне какой-то солдат из больницы и неотступно требует меня сейчас к Домне Платоновне.

Взял извозчика и приезжаю. На самых воротах встречает меня сама Домна Платоновна и прямо кидается мне на грудь с плачем и рыданием.

— Съезди,— говорит,— ты, миленький, сделай милость, в часть.

— Зачем, Домна Платоновна?

— Узнай ты там насчет одного человека, похлопочи за него. Я, бог даст, со временем сама тебе услужу.

— Да вы,— говорю,— не плачьте только и не дрожите.

— Не могу,— отвечает,— не дрожать, потому что это внутреннее, изнутри колотит. А этой услуги я тебе в жизнь не забуду, потому что все меня теперь оставили.

— Хорошо — но за кого же просить-то и о чем просить?

Старуха замялась, и блеклые щеки ее задергались.

— Фортопьянщицкий ученик там арестован вчера, Валерочка, Валерьян Иванов, так за него узнай и попроси.

Поехал я в часть. Сказали мне там, что действительно есть арестованный молодой человек Валерьян Иванов, что был он учеником у фортепьянного мастера, обокрал своего хозяина, взят с поличным и, по всем вероятностям, пойдет по тяжелой дороге Владимирской.

— Сколько же ему лет?— спрашиваю.

— Лет,— говорят,— как раз двадцать один год минул.

«Что,— думаю,— за чудеса такие и что такое он, этот Валерка, моей Домне Платоновне?»

Приезжаю в больницу и застаю Домну Платоновну в ее каморке: сидит, сложивши руки, на краю кровати, и совсем помертвела.

— Знаю,— говорит,— все, сделай милость, больше не сказывай. Я фершала посылала узнать и все знаю. Огненным прещением пресекается перед смертью душа моя.

Вижу, моя воительница совсем сбрендила: распалась и угасла в час один.

— Боже мой!— говорит, глядя на бедный больничный образочек.— Боженька! миленький! да поди же к тебе моя молитва прямо столбушком: вынь ты из меня душу, из старой дуры, да укроти мое сердце негодное.

— Да что ж,— говорю,— вам такое?

— Мне?... Люблю я его, душечка; люблю я его несносно, мой ангел; без ума, без разума люблю я его, старая дура. Я его обула, я его одела, я на него дула, пыль с него обдувала, Театрашник такой; все, бывало, кортит ему дома; все он клонится как бы в цирк, как бы в театр; я ему последнее отдавала. Станешь, бывало, только просить: «Валерочка, друг мой! сокровище благих! не клонись ты к этому цирку; что тебе этот цирк?» Так затопчет, закричит и руками намеряется. Вот тебе и цирк!.. Не позволял он, чтобы я говорила с ним, так я издала, бывало, только на него смотрю да прошу: «Валерочка! жизненочек! сокровище благих! не укайся ты с кем лбадя; не пей ты много». Все он мое презрел... Когда б дворника не нанимала, чтоб слух об нем подавал, и этого горя б, может, не знала. Боженька! миленький! Господи, да что ж это? да что ж это будет!— вскрикнула она и с этим словом упала перед образом на колена и еще горче заплакала, кивая своею седою головою.

— Все,— заговорила она, подымаясь через несколько минут на ноги и тоскливо вода угасшими глазами по своей унылой каморке,— все ему отдала, ничего у меня больше нет. Нечего мне ему дать больше, голубчику... Хоть бы сходить к нему...

— Ну,— говорю,— сходите...

— Не велит он мне ему показываться, не смею я к нему идти,— а сама дрожмя дрожит, бедная старуха.

Помолчал я и, чтоб отрезвить ее хоть немножко, спрашиваю:

— Сколько вам, Домна Платоновна, нынче годочков?

— Что ты такое,— говорит,— сказал?

— Сколько, мол, вам лет?

— А не знаю, право, сколько... в прошлом году в фебрии, кажется, сорок семь было.

— И откуда ж это,— спрашиваю,— он у вас взялся, этот Валерка? Где вы его себе откопали на свое горе?

— Из наших местов,— отвечает, утирая слезы.— Кумин племянник он. Кума

его ко мне прислала, чтоб к месту определить. Скажи, пожалуйста, — пищит опять, плачучи, воительница, — жаль ли хоть тебе меня, дуру неповитуую?

— Очень, — отвечаю, — жаль.

— А людям ведь небось и не жаль, смех им небось только. И всякий, если кто когда-нибудь про эту историю узнает, посмеется — непременно посмеется а не пожалеет, — а я все люблю, и все без радости, и все без счастья без всякого Бог с ними, люди! не понять им, какая это беда, если прилучится такое над человеком не ко времени. Ходила я к сталоверу, — говорит: «Это тебе аггел сатаны дан в плоть... Не возносись». Пошла к священнику, говорю: «Вот, батюшка, чтó со мною, так и так, — говорю, — сил моих над собой нет»; ну, священник меня хорошо пощунял: читай, говорит, раба, канон «Утоли моя печали». Я теперь и канон этот читаю и к месту такому нарочно определилась, чтоб никаких смущений мне не было; ну, только... Валерушка! цыпленок ты мой! сокровище благих. Что ты это над собою сделал?..

Домна Платоновна припала головой к окну и заколотила лбом о подоконник.

Так я и оставил мою воительницу в этом убитом положении. Через месяц дали мне знать из больницы, что Домна Платоновна вдруг окончила свою прекратительную жизнь. Умерла она от быстрого истощения сил. Лежала она в гробике черном такая маленькая, сухенькая, точно в самом деле все хрящики ее изныли и косточки прилегли к суставам. Смерть ее была совершенно безболезненна, тиха и спокойна. Домна Платоновна соборовалась маслом и до последней минуты все молилась, а отпуская предсмертный вздох, велела отнести ко мне свой сундучок, подушки и подаренную ей кем-то банку варенья, с тем чтобы я нашел случай передать все это «тому человеку, про которого сам знаю», то есть Валерке.



Запечатленный ангел

Глава первая



ело было о святках, накануне Васильева вечера. Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские, и мордва, и чувашаи. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно: на полатах, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу, везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил:

— Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю.

Но едва он успел это выговорить и, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло.

— Кто там?— окликнул громким и недовольным голосом хозяин.

— Мы,— ответили глухо из-за окна.

— Ну-у, а чего еще надó?

— Пусти, Христа ради, сбились... обмерзли.

— А много ли вас?

— Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро,— говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно совсем презябший человек.

- Некуда мне вас пустить, вся изба и так народом укладена.
- Пусти хоть малость обогреться!
- А кто же вы такие?
- Извозчики.
- Порожнем или с возами?
- С возами, родной, шкурье везем.
- Шкурье! шкурье везете, да в избу ночевать проситесь. Ну, люди на Руси настают! Пошли прочь!
- А что же им делать?— спросил проезжий, лежавший под медвежьей шубой на верхней лавке.
- Валить шкурье да спать под ним, вот что им делать,— отвечал хозяин и ругнув еще хорошенько извозчиков, лег недвижимо на печь.
- Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергического протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо его откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с остроу, клином, бородкой.
- Не осуждайте, милостивый государь, хозяина,— заговорил он,— он это с практики берет и внушает правильно — со шкурьем безопасно.
- Да?— отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы.
- Совершенно безопасно-с, и для них это лучше, что он их не пускает.
- Это почему?
- А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем, если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет.
- А кого теперь еще понесет черт?— молвила шуба.
- А ты слушай,— отозвался хозяин,— ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона и богородичный лик.
- Это верно,— поддержал рыженький человечек.— Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует.
- А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой ангел,— отвечала словоохотливая шуба.
- Хозяин только сердито сплюнул, а рычачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящий практик может получить понятие.
- Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику,— проговорила шуба.
- Да-с, ее и имел.
- Что же это: вы видели, что ли, ангела, и он вас водил?
- Да-с, я его и видел, и он меня руководствовал.
- Что вы, шутите или смеетесь?
- Боже меня сохрани таким делом шутить!
- Так что же вы такое именно видели: как вам ангел являлся?
- Это милостивый государь, целая большая история.
- А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю.
- Извольте-с.
- Так рассказывайте, пожалуйста: мы вас слушаем. Но только что же вам там на коленях стоять, вы идите сюда к нам, авось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе.
- Нет-с, на этом благодарю-с! Зачем вас стеснять, да и к тому же повесть, которую я пред вами поведу, пристойнее на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное.
- Ну как хотите, только скорее сказывайте, как вы могли видеть ангела и что он вам сделал?
- Извольте-с, я начинаю.

Глава вторая



как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний, рукоеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кирилова. Этот Лука Кирилов жив по сии дни: он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили? Кажется, всю Россию изошли, и нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик и по промыслу и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудей в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались: то есть имели при себе свое «божие благословение». Лука Кирилов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы всё самые пречудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как острою и плавностью предивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел!

И что были за во имя разные и Деисусы, и нерукотворенный Спас с омоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы с деяниями, каковые, например, Индикт, праздники, Страшный суд, Святцы, Соборы, Отечество, Шестоднев, Целебник, Седмица с предстоящими; Троица с Авраамлиим поклонением у дуба Мамврийского и, одним словом, всего этого благолепия не изрещи, и таких икон нынче уже нигде не напишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове; а о Греции и говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы все эту свою святыню страстно любовью, и сообща пред нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадей содержали и особую повозку, на которой везли это божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы, одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: пресвятая владычица в саду молится, а пред ней все дерева кипарисы и олифы до земли преклоняются; а другая ангел-хранитель, Строганова дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях! Глянешь на владычицу, как пред ее чистотою бездушные деревья преклонились, сердце тает и трепещет; глянешь на ангела... радость! Сей ангел воистину был что-то неопишемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлобожественный и этакий скоропомощный; взор умилен; уши с тороцами, в знак повсеместного отсюда слышания; одеянье горит, рясны золотыми преиспещрено; доспех пернат, рамена препоясаны; на персях младенческий лик Эмануилен; в правой руке крест, в левой огнепалаящий меч. Дивно! дивно!.. Власы на головке кудреваты и русы, с ушей повились и проведены волосок к волоску иглочкой. Крылья же пространны и белы как снег, а испод лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к уску.

Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься «осени», и сейчас весь стиснешь, и в душе станет мир. Вот эта была какая икона! И были-с эти два образа для нас все равно что для жидов их святая святых, чудным Веселила художеством изукрашенная. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой коробье на коне возили, а эти две даже и на воз не поставляли, а носили: владычицу заведя при себе Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а ангелово изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчовый кошель на темной пестряди и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу, а сверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвести. И так икона в сем содержани у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями Лука Кирилов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает за ним на возу Михайлица с богородичною иконою, а за ними мы все артелью выступаем, а тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся, и свирец на свирели играет... то есть просто сердцу и уму восхищение! Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача: работы всегда находились хорошие; промежду собою у нас было согласие; от домашних приходили всё вести спокойные; и за все это благословляли мы предходящего нам ангела, и с пречудною его иконою, кажется, труднее бы чем с жизнью своею не могли расстаться.

Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем такое горе нас ожидало, и устроилось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого одного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, пред которым все, до сего часа исхоженные нами, пути были что дебри темная и бесследная. Но позвольте узнать, занята ли моя повесть и не напрасна ли я ею ваше внимание утруждаю?

— Нет, как же, как же: сделайте милость, продолжайте!— воскликнули мы заинтересованные этим рассказом.

— Извольте-с, послушествовуйте вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные дивеса от ангела.

Глава третья



ришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре-реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и объявился пред нами весь чудный пеозаж: древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами; сады густые и дерева таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть острроверхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце

словно кто щипать станет, так прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаем.

И вот-с это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища, сначала забили высокенькие свечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу, и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону: в протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса, первый поклонный для больших икон, а выше два тябла для меньшених, и так возвели, как должно, лестницу до самого распятия, а ангела на аналогии положили, на котором Лука Кирилов Писание читал. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казаромку сгородили. На нас глядячи, то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать, и вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо! деньги за расчет у англичан в конторе верные; здоровье бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота: нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа; никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует... Вволю молились: отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кирилов положит благословящий начал; а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась не только одним простым людям, которые к богочтительству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало, станут у нас под окнами и слушают и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли: всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше гласование замечать, и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет: «Бо-господь и явился нам», но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам, новую западную ноту в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас господень ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пеозаж природы.

И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три года. Спорилось нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева рога, как вдруг узрели мы, что есть посреди нас два сосуда избрания божия к нашему наказанию. Один из таковых был ковач Марой, а другой счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже неграмотный, что по старобрядчеству даже редкость, но он был человек особенный: видом неуклюж, наподобие вельблуда, и недрист как кабан — одна пазуха в полтора обхвата, а лоб весь заросший крутою космой и точно мраволев старый, а середь головы на маковке гуменцо простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердсловит, но был на предбудущее прозорлив, и имел дар вещевать, и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щаповатый: любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым

извитием слов, что удивляться надо было его речи; но зато характер имел легкий и увлекательный. Марой был пожилой человек, за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен: имел волосы курчавые, посредине пробор; брови кохловатые, лицо с поддурмяночкой, словом, велиар. Вот в сих двух сосудах и забродила вдруг оцетность терпкого питья, которое надлежало нам испить.

Глава четвертая



ост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка: стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны и отсекай их надо, а каждый тот болт, — по-аглички штанга стальная, и деланы они все в Англии, — отлит из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал: но на все на это наш Марой ковач изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь, густою колоникой из тележного колеса с песковым жвиром, да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит и крутит; а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой, так, как восковую свечу, будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мароево умудрение смотрели, и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут:

— Так, русс! Твой молодец; твой карош физик понимай!

А какой там «физик» мог понимать Марой: он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто, как его господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо: одни всё причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами-де видимая божия благодать творит дивеса, каких вы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первыя. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали; он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покулки; мы его посылали на почту паспорта и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорта он отбирал. Вообще, вот всю этакую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели, но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его за первого у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть как был охоч с господами чай пить да велеречить: те его нашим старшиною величают, а он только улыбается да по нутру свою бороду расстилает. Одним словом сказать, пустоша! И занесло этого нашего Пимена к одному немаловаж-

ному лицу, у которого была жена из наших мест родом, такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, и вдруг, не знаю с чего-то, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело: к чему она избралась сосудом! Ну любит нас и любит, и всегда, как наш Пимен за чем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад, и разовьет пред ней свои свитки.

Та своим бабьим языком суеречит, что вы-де староверцы и такие-то и вот этикие-то, святые, праведные, присноблаженные, а наш велиар очи разоце раскостит, головушку набок, бороду маслит, а голосом сластит.

— Как же, государыня. Мы-де отеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы и вот этикие-то правила содержим и друг друга за чистотою обычая смотрим, и, словом, говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирскою женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется.

— Я слыхала,— говорит,— что к вам божие благословение видимо,— говорит,— проявляется.

А тот сейчас и подхватывает:

— Как же,— отвечает,— матушка, проявляется; весьма зримо проявляется.

— Видимо?

— Видимо,— говорит,— государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь как паутину щипал.

Барынька так и всплеснула ручонками.

— Ах,— говорит,— как интересно! ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них! Знаете,— говорит,— прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтоб они помолились, чтобы мне бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?

— Можно-с,— отвечает Пимен,— отчего же-с; очень можно! Только,— говорит,— в таких случаях надо всегда, чтоб от вас жертвенный елей теплился.

Та с великим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карман и говорит:

— Хорошо-с, будьте благонадежны, я повелю.

Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не сказывает, а у барыни родится дочь.

Фу! та так и зашумела, еще после родов обмогнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чествует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачает ум его, и оледенеют чувства. Через год у госпожи опять до нашего бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял,— и опять все ей по ее желанию делается, а Пимену все на свещи да на елей жертвы, а он эти жертвы куда надо, на наш бок не переплавляя, пристраивает. И дивеса действительно деялись непонятные: был у этой госпожи старший сын в училище, и был он первый потаскун, и ленивый нетяг, и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтоб ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит:

— Дело трудное; надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свечами вопиять.

А та ни за что не стоит; тридцать рублей ему вручила, только молитесь! И что же вы думаете? Выходит такое счастье этому ее блюдяге-сыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла, что за ласки такие наш бог ей делает! Заказ за заказом стала давать Пимену, и он ей уже выхлопотал у бога и здоровья, и наследство, и мужу чин большой, и орденов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Диво, да и только, а мы всё ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и прмениться одним дивесам на другие.

Глава пятая



амутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам наверное, деньги ли они неправильные имели или какой беспошлинный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тут награда предвиделась велемощная. Вот барынька и шлет за нашим Пименом и говорит:

— Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей на свечи и на масло; велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали.

Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать и отвечает:

— Хорошо, государыня, я повелю.

— Да чтоб они хорошенько,— говорит,— молились, потому мне это очень нужно!

— Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю,— заспокоил ее Пимен,— я их голодом запошчу, пока не вымолят,— взял деньги да и был таков, а барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано.

Ну уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пославословить.

Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят; но барыня не отстает.

— Я,— говорит,— как вы хотите, сегодня же пред вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду.

Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами помолитвим; у нас есть такой ангел-хранитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять.

— Ах, прекрасно,— отвечает,— прекрасно; я очень рада, что есть такой ангел; вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампы, а я приеду посмотреть.

Пимену плохо пристигло, он и пришел, да и ну нам виноватиться, что так-де и так, я, говорит, ей, еллинке гадостной, не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный, и насажал нам с три короба, а всего, что он делал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это ни неприятно, но делать было нечего; мы поскорее свои иконы со стен поснимали да попрятали в коробьи, а из коробей кое-какие заменные заставки, что содержали страха ради чиновничьего нашествия, в тяблы поставили и ждем гостейку. Она и приехала; такая-то расфуфыренная, что страх; широкими да долгими своими ометами так и метет и все на те наши заменные образа в лорнетку смотрит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел?» Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора:

— У нас,— говорим,— такового ангела нет.

И как она ни добивалась и Пимену выговаривала, но мы ей ангела не показали и скорее ее чаем повели поить и какими имели закусками угощать.

Страшно она нам не понравилась, и бог знает почему: вид у нее был какой-то

оттолкновенный, даром что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая, тоненькая, как сойга, и бровеносная.

— Вам этакая красота не нравится?— перебила рассказчика медвежья шуба.

— Помилуйте, да что же в змиевидности может нравиться?— отвечал он.

— У вас, что же, почитается красотой, чтобы женщина на кочку была положе?

— Кочку!— повторил, улыбнувшись и не обижаясь, рассказчик.— Для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтоб она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыбастенькая побегит да спотыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особенно бровь, бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого, к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду.

Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить, и говорит:

— Чего вы? она добрая.

А мы отвечаем: какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличье нет, но бог там с нею: какая она есть, такая и будь, мы уже рады были, что ее выпроводили, и взялись скорей ладаном курить, чтоб ее и духом у нас не пахло.

После сего мы вымели от гостюшкиных следков горенку; заменные образа опять на их место за перегородку в коробья уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы; разместили их по тяблам, как было по-старому, покропили их святою водой; положили начал и пошли каждый куда ему следовало на ночной покой, но только бог весть отчего и зачем всем что-то в ту ночь не спалось, и было как будто жутко и неспокойно.

Глава шестая



Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а Луки Кирилова нет. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часу в восьмом весь бледный и расстроенный.

Зная, что он человек с обладанием и пустым скорбям не любил поддаваться,

я и обратил на это внимание и спрашиваю: «Что такое с тобою, Лука Кирилов А он говорит: «После скажу».

Но я тогда, по молодости моей, страсть как был любопытен, и к тому же у меня вдруг откуда-то взялось предчувствие, что это что-нибудь недоброе по вере: а я веру чтил и невером никогда не был.

А потому не мог я этого долго терпеть и под каким ни есть предлогом покинул работу и побегал домой; думаю: пока никого дома нет, распытаю я что-нибудь у Михайлицы. Хоша ей Лука Кирилов и не открывался, но она его, при всей своей простоте, все-таки как-то проничала, а таиться от меня она не станет, потому что я был с детства сиротой и у них вместо сына возрос, и о мне была все равно как второродительница.

Вот-с я ударюсь к ней, а она, гляжу, сидит на крылечке в старом шушуне наопаху, а сама вся как больная, печальная и этакая зеленоватая.

— Что вы, — говорю, — второродительница, на таком месте усевшись?

А она отвечает:

— А где же мне, Марочка, притулиться?

Меня зовут Марк Александров; но она, по своим материнским чувствам ко мне Марочкой меня звала.

«Что это думаю себе, она за пустяки такие мне говорит, что ей негде притулиться?»

— А зачем же, — говорю, — вы в чуланчике у себя не ляжете?

— Нельзя, — говорит, — Марочка, там в большой горнице дед Марой молится.

«Ага! вот, — думаю, — так и есть, что что-нибудь по вере случилось», а тетка Михайлица и начинает:

— Ты ведь, Марочка, небось ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночь случилось?

— Нет, мол, второродительница, не знаю.

— Ах, страсти!

— Расскажите же скорее, второродительница.

— Ах, не знаю как, можно ли это рассказать?

— Отчего же, — говорю, — не скажете: разве я вам какой чужой, а не вместо сына?

— Знаю, родной мой, — отвечает, — что ты мне вместо сына, ну только я на себя не надеюсь, чтоб я могла тебе это как надо высловить, потому что глупа и бесталанна, а вот погоди — дядя после шабаша придет, он тебе небось все расскажет.

Но я никак не мог, чтобы дожидаться, и пристал к ней: скажи да скажи мне сейчас, в чем все происшествие.

А она, гляжу, все моргает, моргает глазами, и все у нее глаза делаются полны слез, и она их вдруг грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет:

— У нас, дитя, сею ночью ангел-хранитель сошел.

Меня от всего этого открытия в трепет бросило.

— Говорите, — прошу, — скорее: как это диво сталося и кто были оногo дивозрители?

А она отвечает:

— Дивеса, дитя, были непостижные, а дивозрителей никого, кроме меня не было, потому что случилось все это в самый глухой полунощный час, и одна я не спала.

И рассказала она мне, милостивые государи, такую повесть:

— Уснув, — говорит, — помолившись, не помню я сколько спала, но только вдруг вижу во сне пожар, большой пожар: будто у нас все погорело, и река золу несет да в завертах около быков крутит и в глубь глотает, сосет. — А самой насчет себя Михайлице кажется, будто она, выскочив в одной ветхой срачице

вся в дырках, и стоит у самой воды, а против нее, на том берегу стремится высокий красный столб, а на том столбе небольшой белый петух и все крыльями машет. Михайлица будто и говорит: «Кто ты такой?» — потому что чувствиями ей далось знать, что эта птица что-то предвещает. А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил: «Аминь», и сник, и его уже нет, а стала вокруг Михайлицы тишь и такое в воздухе тошнение, что Михайлице страшно сделалось и продохнуть нечем, и она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронут. Прозвенел он чистым серебряным голоском «бя-я-я», и вдруг уже чувствует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, копытками-то этак по половицам чок-чок-чок частенько перебирает и все будто кого ищет. Михайлица и рассуждает: «Господи Иисусе Христе! что это такое: овец у нас во всей нашей пришлое слободе нет и ягниться нечему, а откуда же это молозиво к нам забежало?» И в ту пору стренулася: «Да и как, мол, он в избу попал? Ведь это, значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть: слава богу, — думает, — что это еще агнец вскочил, а не пес со двора ко святыне забрался». Да и ну с этим Луку будить: «Кирильч, — кличет, — Кирильч! Прокинься, голубчик, скорее, у нас дверь отворена, и какое-с молозиво в избу вскочило», а Лука Кирилов, как на сей грех, мертвым сном объят спит. Как его Михайлица ни будит, никак не добудится: мычит он, а ничего не высловит. Что Михайлица еще жестче трясет и двизает, то он только громче мычит. Михайлица его и стала просить, что «ты, мол, имя-то Иисусово вспомяни», но только что она сама это имя выговорила, как в горнице кто-то завизжит, а Лука в ту же минуту сорвался с кроватки и бросился было вперед, но его вдруг посреди горницы как будто медяна стена отшибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорее огонь!» — кричит он Михайлице, а сам ни с места. Та запалила свечечку и выбегает, а он бледнолиц, как осужденный насмертник, и дрожит так, что не только гаплик на шею ходит, а даже остегны на ногах трясутся. Баба опять до него: «Кормилец, — говорит, — что это с тобой?» А он ей только показывает перстом, что там, где ангел был, пустое место, а сам ангел у Луки вскрай ног на полу лежит.

Лука Кирилов сейчас к деду Марою и говорит: так и так, вот что моя баба видела и что у нас сделалось, поди посмотри. Марой пришел и стал на коленях перед лежащим на полу ангелом и долго стоял над ним недвижимо, как израмран надгробник, а потом, подняв руку, почесал остриженное гуменцо на маковке и тихо молвил:

— Принесите сюда двенадцать чистых плинф нового обожженного кирпича.

Лука Кирилов сейчас это принес, а Марой осмотрел плинфы и видит, что все они чисты, прямо из огненного горна, и велел Луке класть их одна на другую, и возвели они таким способом столб, накрыли его чистою ширинкой, вознесли на него икону, и потом Марой, положив земной поклон, возгласил:

— Ангел господень, да пролиются стопы твоя аможе хочещи!

И только что он эти слова проговорил, как вдруг в двери стук-стук-стук, и незнакомый голос зовет:

— Эй вы, раскольники: кто у вас тут наибольший?

Лука Кирилов отворяет дверь и видит, стоит солдат с медалью.

Лука спрашивает: какого ему надо наибольшего? А он отвечает:

— Того самого, — говорит, — что к барыне ходил, которого Пименом звать.

Ну, Лука сейчас бабу за Пименом послал, а сам спрашивает: что такое за дело? на что его в ночи по Пимена послали?

Солдат говорит:

— Доподлинно не знаю, а слышно, что-то там с барином жиды неловкое дело устроили.

А что такое именно, рассказать не может.

— Слышал-де,— говорит,— как будто барин их запечатал, а они его запечатлели.

Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительно рассказать не может.

Тем временем подошел и Пимен, и сам, как жид, то туда, то сюда вертит глазами: видно, сам не знает, что сказать. А Лука говорит:

— Что же ты, шпилман ты этакий, стал, ступай теперь производи свое шпилманство в окончание!

Они вдвоем с солдатом сели в лодку и поехали.

Через час ворочается наш Пимен и ботвит будто бодр, а видно, что ему жестоко не по себе.

Лука его и допрашивает:

— Говори,— говорит,— говори лучше, ветрогон, все по откровенности, что ты там такое наделал?

А он говорит:

— Ничего.

Ну так и осталось будто ничего, а совсем было не ничего.

Глава седьмая



барин, за которого наш Пимен молился, преудивительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не думал, да прямо все до одной лавки и опечатал, и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жиды это, разумеется, сейчас узнали и сейчас же ночью к нему, просить его, чтобы на сделку, знать, того незаконного товара у них пропасть было. Пришли они и суют этому барину сразу десять тысяч рублей. Он говорит: «Я не могу, я большой чиновник, доверием облечен и взятки не беру»; а жиды промеж себя гыр-гыр-гыр, да ему пятнадцать. Он опять «Не могу»; они двадцать. Он: «Что же вы,— говорит,— не понимаете, что для что я не могу, я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать. А они опять гыр-гыр, да и говорят:

— Ази-язи, васе сиятельство, то зи ничего зи, что вы дали знать в полиции мы вам вот даем зи двадцать пять тысяч, а вы зи только дайте нам до утра вашу печатку и лозитесь себе спокойно пощивать; нам ничего больше не нужно.

Барин подумал, подумал: хотя он и большим лицом себя почитал, а, видно, и у больших лиц сердце не камень, взял двадцать пять тысяч, а им дал свою печать, которою печатывал, и сам лег спать. Жидки, разумеется, ночью все что надо было, из своих склепов повытаскали и опять их тою же самою печатью запечатали, и барин еще спит, а они уже у него в передней горгочат. Ну, он их впустил; они благодарят, и говорят:

— А зи теперь зи, васе высокоблагородие, пожалуйте с ревизией.

Ну, а он этого как будто не слышит, а говорит:

— Давайте же скорее мою печать.

А жидаы говорят:

— А давайте зи наши деньги.

Барин: «Что? как?» А те на своем стали:

— Мы зи,— говорят,— деньги под залог оставляли.

Тот опять:

— Как под залог?

— А как зи,— говорят,— мы под залог.

— Врете,— говорит,— вы подлецы этакие, христопродавцы, вы мне совсем те деньги отдали.

А они друг друга поталкивают и смеются.

— Гёрш-ту,— говорят,— слышь, мы будто совсем дали... Гм, гм! Ай-вай: рази мы мозем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, чтобы такому большому лицу хабара давать? («Хабар» по-ихнему взятка).

Ну-с, чего лучше этой истории можете себе вообразить? Господину бы этому, разумеется, отдать деньги, да и дело с концом, а он еще покапризничал, потому что жаль расстаться. Наступило утро; вся торговля в городе заперта; люди ходят, дивуются; полиция требует печати, а жидки орут: «Ай-вай, ну что это такое за государственное правление! Это высокое начальство нас разорить желают». Гвалт ужасный! Барин запершись сидит и до обеда чуть ума не рещился, а к вечеру зовет тех хитрых жидков и говорит: «Ну, берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мне мою печать!» А те уже не хотят, говорят: «А зи как же это можно! Мы весь город целый день не торговали: теперь нам с вашего благородия надо пятьдесят тысяч». Видите, что пошло! А жидки грозят: «Если нынче,— говорят,— пятьдесят тысяч не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами больше будет стоить!» Барин всю ночь не спал, а к утру опять шлет за жидами, и все им деньги, которые с них взял, назад им отдал, и еще на двадцать пять тысяч вексель написал, и прошел кое-как с ревизией; ничего, разумеется, не нашел, да поскорее назад, да к жене, и пред нею и рвет и мечет: где двадцать пять тысяч взять, чтоб у жидов вексель выкупить? «Нужно,— говорит,— твою приданую деревнишку продать», а та говорит: «Ни за что на свете: я к ней привязана». Он говорит: «Это ты виновата, ты мне эту посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог». А она отвечает: «Что ты,— говорит,— сам виноват, зачем был глуп и тех жидов не арестовал да не объявил, что они у тебя печать украли, а между прочим,— говорит,— это ничего: ты только покоряйся мне, а уж я дело поправлю, и за твою нерассудительность другие заплатят». И вдруг, на кого там случилось, крикнула-гаркнула: «Сейчас, живо,— говорит,— съездить за Днепр и привезть мне раскольнического старосту». Ну, посол, разумеется, пошел и привез нашего Пимена, а барыня ему прямо без обинячки: «Послушайте,— говорит,— я знаю, что вы умный человек и поймете, что мне нужно: с моим мужем случилась маленькая неприятность, его одни мерзавцы ограбили... Жиды... понимаете, и нам теперь непременно на сих же днях надо иметь двадцать пять тысяч, и мне их так скоро достать ровно бы негде; но я пригласила вас и спокойна, потому что староверы люди умные и богатые и вам, как я сама уверилась, во всем сам бог помогает, то вы мне, пожалуйста, дайте двадцать пять тысяч, а я, с своей стороны, зато всем дамам буду говорить о ваших чудотворных иконах, и вы увидите, сколько вы станете получать на воск и на масло». Без труда, чай, можете себе, милостивые государи, представить, что наш шпилман при этаким обороте восчувствовал? Не знаю уж какими словами, но только, верю я ему, он начал горячо ротиться и клястися, заверяя наше против такой суммы убожество, но она, эта обновленная Иродиада, и знать

того не захотела. «Нет, да мне, — говорит, — хорошо известно, что раскольники богачи, и для вас двадцать пять тысяч это вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, старoverы не один раз и не такие одолжения делали; а двадцать пять тысяч это пустяки». Пимен, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что то, мол, московские старoverы, люди капитальные, а мы простые нивари чернорабочие, где же нам против москвичей отмогуществовать. Но она имела в себе, верно, хорошее московское научение и вдруг его осадила: «Что вы, что вы, — говорит, мне это рассказываете! Разве я не знаю, сколько у вас чудотворных икон, и вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воск и масло присылают? Нет, я и слышать не хочу; чтобы сейчас мне были деньги, а то муж нынче же к губернатору поедет и все расскажет, как вы молитесь и соблазняете, и вам скверно будет». Бедный Пимен как с крыльца не свалился; пришел домой, как я вам докладывал, и только одно слово твердит: «ничего», а сам весь красный, точно из бани, и все по углам ходил нос сморкал. Ну, Лука Кирилов его, наконец, малое дело немножечко допросился, только, разумеется, не все он ему открыл, а самую лишь ничтожность сущности обнаружил, как-то говорит: «с меня эта барыня требует, чтоб я у вас ей пять тысяч займы достал». Ну, Лука, разумеется, и за это на него расходился: «Ах ты, шпилман этакий, — говорит, — шпилман; нужно было тебе с ними знаясь да еще сюда их водить! Что мы, богачи, что ли, какие, чтоб у нас такие деньги могли в сборе быть? Да и за что мы должны их дать? Да и где они?.. Как это заделывал, так и разделывайся, а нам пяти тысяч взять негде». С этим Лука Кирилов пошел в свою сторону на работу и пришел, как я вам доложил, бледный, вроде осужденного насмертника, потому что он, ночным событием искушенный, предвкусал, что это повлияет на нас неприятностью; а Пимен себе пошел в другую сторону. Все мы видели, как он из камышей в лодочке выплыл и на ту сторону в город переправился, и теперь, когда Михайлица все это мне по порядку рассказала, как он о пяти тысячах кучился, я и домыслил так, что, верно, он ударился ту барыню умиловать. В таком размышлении я стою возле Михайлицы да думаю, не может ли для нас из этого чего вредного воспоследовать и не надо ли против сего могущего произойти зла какие-либо меры принять, как вдруг вижу, что все это предприятие уже поздно, потому что к берегу привалила большая ладья, и я за самыми плечами у себя услышал шум многих голосов и, обернувшись, увидел несколько человек разных чиновников, примундиренных всяким подобием, и с ними немалое число жандармов и солдат. И не успели мы с Михайлицей, милостивые государи, глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двух часовых поставили с обнаженными саблями Михайлица стала на тех часовых метаться, не столько для того, чтоб ее пропустили, а чтобы постраждовать; они ее, разумеется, стали отталкивать, а она еще ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм ее, наконец больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за Лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель, все вскрамолились, и кто с чем на работе был, кто с ломом, кто с мотыкою, все бегут свою святыню оберегать... Кои не все в лодку попали и не на чем им до бережка достигнуть, во всем платье, как стояли на работу прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной волне плывут. Даже не поверите, ужасно стало, чем это кончится. Стражбы той приехало двадцать человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но наших более полусот, и все выпрежнему горячею верой одушевленные, и все они плывут по воде как тюленьки, и хоть их колотушкою по башкам бей, а они на берег к своей святыне достигают, и вдруг, как были все мокренские, и пошли вперед что твое камение живо и несокрушимое.

Глава восьмая



Теперь же вы извольте вспомнить, что когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве дед Марой, и господа чиновники со сборю своей там его застали. Он после и рассказывал, что как они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампы гасят, а другие со стен рвут иконы да на полу накладывают, а на него кричат: «Ты поп?» Он говорит: «Нет, не поп». Они: «Кто же у вас поп?» А он отвечает: «У нас нет попа». А они: «Как нет попа! Как ты смеешь это говорить, что нет попа!» Тут Марой стал им было объяснять, что мы попа не имеем, да как он говорил-то скверно, шавкавил, так они, не разобравши в чем дело, да «связать, — говорят, — его, под арест!» Марой дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал, но он стоит и, все это за веру приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать: один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят, да на железный прут иконы как котёлки нанизывают. Марой на все на это святотатственное бесчиние смотрит и плечами не тряхнет, потому что, рассуждает, что так, вероятно, это богу изволися попустить такую дикость. Но в это время слышит дядя Марой, один жандарм вскрикнул, и за ним другой: дверь разлетелась, и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрые, так и прут в горницу. Да по счастью их впереди их очутился Лука Кирилов. Он сразу крикнул:

— Стой, Христов народушко, не дерзничайте! — а сам к чиновникам и, указывая на эти пронзенные прутом иконы, молвит: — Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники — отбирайте; но для чего же редкое отеческое художество повреждать?

А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главнее всех был, как крикнет на дядю Луку:

— Цыть, мерзавец! еще рассуждать смеешь!

А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает:

— Позвольте, ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем, у нас здесь в горнице есть полтораستا икон, извольте вам по три рубля от иконы, и берите их, только предковского художества не повреждайте.

Барин оком сверкнул и громко крикнул:

— Прочь! — а шепотом шепнул: — Давай по сту рублей со штуки, иначе все выпеку.

Лука этакой силы денег дать и сообразить не мог и говорит:

— Бог с вами, если так: губите всё как хотите, а у нас таких денег нет.

А барин как завопиет излиха:

— Ах ты, козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить? — и тут вдруг заметался, и все, что видел из божественных изображений, в скибы собрал, и на концы прутьев гайки навернули и припечатывали, чтобы, значит, ни снять, ни обменять было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить: солдаты взяли набранные на болты скибы икон на плечи и понесли к лодкам, а Михайлица, которая тоже за народом в горницу

пробралась, тем часом тихонько скрала с аналогия ангельскую икону и тащит ее под платком в чулан, да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. Батюшки мои, как барин расхотелся, и звал нас и ворами-то и мошенниками, и говорит — Ага! вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтоб она на болт не попала; ну так она же на него не попадет, а я ее вот как! — да, накопивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящею смолой с огнем в самый ангельский лик!

Милостивые государи, вы на меня не посетуйте, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик ангела и еще, жестокий человек, поднял икону, чтобы похвастать, как нашел досадить нам. Помню только, что пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струилась вниз двумя потеками, как кровь в слезе растворенная...

Все мы ахнули и, закрыв руками глаза свои, пали ниц и застонали, как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосящих по своему запечатленному ангеле, и тут-то, в сей тьме и тишине, на разрушенной отчей святыне, пришла нам мысль: уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни, и распечатлеть, а к исполнению сей решимости избрали меня да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще сущий отрок, не более как семнадцать лет, но великотелесен, добр сердцем, богочтител с детства своего и послушлив и благонравен, что твой ретив бел конь среброуздан.

Лучшего сомудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.

Глава девятая



стану утруждать вас подробностями, как мы с моим сомудренником и содейвателем, сквозь иглы уши лазучи, во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуровленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили, это уже дело пропащее и как в гроб погребенное, о них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам архиерей такой дикости соображения не одобрил, а, напротив, сказал: «К чему это?» и даже за старое художество заступился и сказал: «Это древнее, это надо беречь». Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новая, еще большая, от сего почитателя возросла: сам этот архиерей, надо полагать с нехудым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит: «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявствили! Не кладите, — говорит, — сей иконы в подвал а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником». Так слуги архиереевы по его приказанию и исполнили, и я должен вам сказать, что такое внимание

со стороны церковного иерарха нам было, с одной стороны, очень приятно, но с другой — мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего ангела стало невозможно. Оставалось другое средство: подкупить слуг архиереевых и с их помощью подменить икону иным в соответствии сей хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для сего прежде всего нужен искусный и опытной руки изограф, который бы мог сделать на подмену икону в точности, а такового изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас, как водный труд по закою: в горнице, где одни славословия слышались, стали раздаваться одни вопления, и в недолгом же времени все мы развоплились даже до немощи и земли под собой от полных слезами очей не видим, а чрез то или не через это, только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось: нет меры что больных! Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела: «его, — бают, — запечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем», и таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскрамолились, и сколько хозяева-англичане не привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно:

— Принесите нам сюда запечатленного ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит.

Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит:

— Так и так, ваше преосвященство, вера дело великое, и кто как верит; тому так по вере дается: отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела.

Но владыко сего не послушал и сказал:

— Сему не должно потворствовать.

Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архиерею много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велось не жестокостью, а божием смирением.

Между тем знаменья как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и вцерковился. Встречаю я его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну и я ему поклонился. А он и говорит:

— Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие по вере.

А я отвечаю:

— Кому в какой вере быть — это дело божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо, и прости меня, а я тебя в том, как Аммос-пророк велит, братски обличаю.

Он при имени пророка так и задрожал.

— Не говори, — говорит, — мне про пророков: я сам помню Писание и чувствую, что «пророки мучат живущих на земле», и даже в том знамение имею, — и жалеется мне, что на днях он выкупался в реке и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем, и точно, пежинные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут.

Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что «бог шельму метит», но только сдал я это слово в устах и молвил:

— Что же, молись, — говорю, — и радуйся, что еще на сей земле так отитлован, авось на другом предостоят чист будешь.

Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех с серебряным блюдом выставлять. Ну, а пегого уж куда же выставить? Но, однако, что мне было эту его велиарскую суету и пустошество слушать, я завернулся, да и ушел.

И с тем мы с ним расстались. На нем его титла всё яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключение коих, по осени, только что стал лед как вдруг сделалась оттепель, весь этот лед разметало, и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стоявшее многих тысяч.

Поразило это самих наших хозяев англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевицу от кого-то слово, что дабы ото всего этого избавиться, надо нас, стареров, прогнать, но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а, напротив, призвал меня и Луку Кирилова и говорит:

— Дайте мне, ребята, сами совет: не могу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить?

Но мы отвечали, что доколе священный для нас лик ангела, везде нам предходившего, находится в огнесмольном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истаеваем от жалости.

— Что же,— говорит,— вы думаете делать?

— Думаем, мол, его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик, безбожною чиновническою рукой опаленный.

— Да чем,— говорит,— он вам так дорог, и неужели другого такого же нельзя достать?

— Дорог он,— отвечаем,— нам потому, что он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он писан в твердые времена благочестивою рукой и освящен древним иереем по полному требнику Петра Могилы, а ныне у нас ни иереев, ни того требника нет.

— А как,— говорит,— вы его распечатлеете, когда у него все лицо сургучом выжжено?

— Ну, уж на этот счет,— отвечаем,— ваша милость, не беспокойтесь: нам только бы его в свои руки достичь, а то он, наш хранитель, за себя постоит: он не торговых мастеров, а настоящего Строганова дела, а что строгановская, что костромская олифа так варены, что и огневого клейма не боятся и до нежных вап смолы не допустят.

— Вы в этом уверены?

— Уверены-с: эта олифа крепка, как сама старая русская вера.

Он тут ругнул кого знал, что этакое художества беречь не умеют, и руки нам подал, и еще раз сказал:

— Ну так не горюйте же: я вам помощник, и мы вашего ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?

— Нет,— говорим,— на небольшое время.

— Ну так я скажу, что хочу на вашего запечатленного ангела богатую золотую ризу сделать, и как мне его дадут, мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь.

Мы благодарим, но говорим:

— Только ни завтра, ни послезавтра за это, сударь, не беритесь.

Он говорит:

— Это почему так?

А мы отвечаем:

— Потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмен икону такую, чтоб она как две капли воды на настоящую походила, а таковых мастеров здесь нет, да и нигде вблизи не отыщется.

— Пустяки,— говорит,— я сам из города художника привезу; он не только копии, а и портреты великолепно пишет.

— Нет-с,— отвечаем,— вы этого не извольте делать потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить не может.

Англичанин не верит, а я выступил и разъясняю ему всю разницу: что ноне, мол, у светских художников не то искусство: у них краски масляные, а там вапы

на яиче растворенные и нежные, в живописи письмо мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тут письмо плавкое и на самую близость явственно; да и светскому художнику, говорю, и в переводе самого рисунка не погрязнуть, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолубивого человека содержится, а в священной русской иконописи изображается тип лица небожительный, насчет коего материальный человек даже истового воображения иметь не может.

Он этим заинтересовался и спрашивает:

— А где же, — говорит, — есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают?

— Очень, — докладываю, — они нынче редки (да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием). Есть, — говорю, — в слободе Мстере один мастер Хохлов, да уже он человек очень древних лет, его в дальний путь везти нельзя; а в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут, да и к тому же, — говорю, — нам ни мстерские, ни палиховские мастера и не годятся.

— Это опять почему? — пытается.

— А потому, — отвечаю, — что у них пошиб не тот: у мстерских рисуночек головастики и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает.

— Так как же, — говорит, — быть?

— Сам, — говорю, — не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев; и он по всей России между нашими именит, но он больше к новгородским и к царским московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых светлых и рясных вап, так нам потрафить может один мастер Севастьян с понизовья, но он страстный странствователь: по всей России ходит, староверам починку работает, и где его искать — неизвестно.

Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает:

— Довольно дивные, — говорит, — вы люди, и как послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете и даже искусства можете постигать.

— Отчего же, — говорю, — сударь, искусства не постигать: это дело художество божественное, и у нас есть таковые любители из самых простых мужичков, что не только все школы, в чем, например, одна от другой отличаются в письмах: устюжские или новгородские, московские или вологодские, сибирские либо строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских ремесло одно от другого без ошибки отличают.

— Может ли, — говорит, — это быть?

— Все равно, — отвечаю, — как вы одного человека от другого письменный почерк пера распознаете, так и они: сейчас взглянут и видят, кто изображал: Кузьма, Андрей или Прокофий.

— По каким приметам?

— А есть, — говорю, — разница в приеме как перевода рисунка, так и в плавии, в пробелах, лицевых движках и в оживке.

Он все слушает; а я ему рассказываю, что знал про ушаковское писание, и про рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина, коего ремесла иконы наши благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти паче зеницы ока.

Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает: повторить, как художника имя и где его работы можно видеть? А я отвечаю:

— Напрасно, сударь, станете отыскивать: нигде их памяти не осталось.

— Где же они делись?

— А не знаю,— говорю,— на чубуки ли повертели или немцам на табак променяли.

— Это,— говорит,— быть не может.

— Напротив,— отвечаю,— вполне статочно и примеры тому есть: в Риме у папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы, Андрей, Сергей да Никита, в тринадцатом веке писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от чудного дела.

— А как она в Рим попала?

— Петр Первый иностранному монаху подарил, а тот продал.

Англичанин улыбнулся и задумался, и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит.

— Ну, а у нас,— говорю,— верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и весь род русский только вчера насадка под крапивой вывела.

— А если таковая,— говорит,— ваша образованная невежественность, так отчего же, в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества?

— Некем,— отвечаю,— нам его, милостивый государь, поддерживать, потому что в новых школах художества повсеместное растрение чувства развито и суете ум повинуетя. Высокого вдохновения тип утрачен, а все с земного вземлетя и земною страстию дышит. Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина Таврического стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа Спаса жидовином пишут. Чего же еще от таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, еще и не то изобразят и велят за божество почитать: в Египте же и быка и лук красноперый богом чтли; но только уже мы богам чуждым не поклонимся и жидово лицо за Спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студоедное невежество почитаем и отвращаемся от него, поелику есть отчее предание, «что развлечение очес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный погубляет воду».

Я сим кончил и замолчал, а англичанин говорит:

— Продолжай: мне нравится, как ты рассуждаешь.

Я отвечаю:

— Я уже все кончил,— а он говорит:

— Нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете?

Вопрос, милостивые государи, для простого человека довольно затруднительный, но я, нечего делать, начал и рассказал, как писано в Новгороде звездное небо, а потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам бога Саваофа стоят семь крылатых архистратигов, на Потемкина, разумеется, не похожих; а на порогах сени пророки и праотцы; ниже ступенью Моисей со скрижалию; еще ниже Аарон в митре и с жезлом прозябшим; на других ступенях царь Давид в венце, Исаия-пророк с хартией, Иезекииль с затворенными вратами, Даниил с камнем, и вокруг сих предстоятелей, указующих путь на небо, изображены дарования, коими сего славного пути человек достигать может, как-то: книга с семью печатями — дар премудрости, седмисвещный подсвечник — дар разума; семь очес — дар совета; семь трубных рогов — дар крепости; десная рука посреди семи звезд — дар видения; семь курильниц — дар благочестия; семь молоний — дар страха божия. «Вот,— говорю,— таковое изображение гореносно!»

А англичанин отвечает:

— Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, почему ты это почитаешь гореносным?

— А потому, мол, что таковое изображение явственно душе говорит, что христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе бога вознестись.

— Да ведь это же, — говорит, — всякий из Писания и из молитв может уразуметь.

— Ну, никак нет, — ответствую, — Писание не всякому дано разуметь, а неразумеваящему и в молитве бывает затмение: иной слышит приглашение о «великия и богатая милости» и сейчас полагает, что это о деньгах, и с алчностью кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную небесную славу, то он помышляет вышний prospect жизнениности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно: вымоли человек первее всего душе своей дар страха божия, она сейчас и пойдет облегченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвая себе преизбытки вышних даров, и в те поры человеку и деньги и вся слава земная при молитве кажутся не иначе как мерзость пред господом.

Тут англичанин встает с места и весело говорит:

— А вы же, чудаки, чего себе молитесь?

— Мы, — отвечаю, — молим христианския кончины живота и доброго ответа на страшном судилище.

Он улыбнулся и вдруг дернул за золотистый шнурок зеленую занавесь, а за тою занавесью у него сидит в кресле его жена англичанка и пред свечою на длинных спицах вязанье делает. Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя не много по-нашему говорила, но все понимала, и, верно, хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать.

И что же вы думаете? Как отдернулась эта занавеса, что ее скрывала, она сейчас встает, будто содрогаясь, и идет, милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам, мужикам, протягивает, а в глазах у нее блещут слезки, и жмет нам руки, а сама говорит:

— Добри люди, добри русски люди!

Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои губки приложила.

Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шепотом: «Трогательная женщина!» и затем, оправясь, продолжал снова:

— По таким своим ласковым поступкам и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу по-ихнему, нам непонятно, но только слышно по голосу, что, верно, за нас просит. И англичанин — знать, приятна ему эта доброта в жене — глядит на нее, ажно весь гордостию сияет, и все жену по головке гладит, да этак, как голубь, гурчит по-своему: «гут, гут», или как там по-ихнему иначе говорится, но только видно, что он ее хвалит и в чем-то утверждает, и потом подошел к бюру, вынул две сотенных бумажки и говорит:

— Вот тебе, Лука, деньги: ступай ищи, где знаешь, какого вам нужно по вашей части искусного изографа, пусть он и вам что нужно сделает и жене моей в вашем роде напишет — она хочет такую икону сыну дать, а на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги дает.

А она сквозь слезы улыбается и частит:

— Ни-ни-ни: это он, а я особая, — да с этим словом порх за дверь и несет оттуда в руках третью сотенную.

— Муж, — говорит, — мне на платье дарил, а я платья не хочу, а вам жертвую.

Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том и слышать не хочет и сама убежала, а он говорит:

— Нет, — говорит, — не смейте ей отказывать и берите, что она дает, — и сам отвернулся и говорит: — и ступайте, чудаки, вон!

Но мы этим изгнанием, разумеется, нимало не обиделись, потому что хоть он, этот англичанин, от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам растрогался.

Так-то нас, милостивые государи, свои притоманные люди обессудили, а англи-

кая национальность утешила и дала в душу рвение, как бы точно мы баню пакибытия восприяли!

Теперь далее отсюда, милостивые государи, зачинается преполоwienie моей повести, и я вам вкратце изложу: как я, взяв своего среброуздого Левонтия, пошел по изографа, и какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые дивеса нам объявились, и что, наконец, мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратились.

Глава десятая



В путь шествующему человеку первое дело спутник; с умным и добрым товарищем и холод и голод легче, а мне это благо было даровано в том чудном отроке Левонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, коя у нас всегда береглась для опасного случая. Совершали мы путь свой вроде торговых людей, где как попало вымышляя надобности, для коих будто бы следуем, а сами всё, разумеется, высматривали свое дело. С самого первоначала мы бывали в Клинцах и в Злынке, потом наведались кое к кому из своих в Орле, но полезного результата себе никакого не получили: нигде хороших изографов не находили, и так достигли Москвы. Но что скажу: оле тебе, Москва! оле тебе, древлего русского общества преславная царица не были мы, старые верители, и тобою утешены.

Не охота бы говорить, а нельзя премолчать, не тот мы дух на Москве встретили которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолубии и благочестии, а на едином упрямстве, и, с каждым днем в сем все более и более убеждаясь, начали мы с Левонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно: но, однако, сами себя стыдясь, мы о всем том друг другу молчали.

Изографы, разумеется, в Москве отыскались, и весьма искусные, но что в том пользы, когда все это люди не того духа, о каковом отеческие предания повествуют? Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное искусство, постились и молились и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А эти каждый одному пишет рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не в долготу дней; грунт кладут меловые, слабые, а не лебастровые, и плавь леностно сразу наводят, не как встарь наводили до четырех и даже до пяти плавей жидкой, как вода, краскою, отчего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в искусстве, все они сами расслабевши, все друг пред другом величаются, а другого чтоб унижить ни во что вменияют; или еще того хуже, шайками совокупясь сообща хитрейшие обманы делают, собираются по трактирам и тут вино пьют и свое искусство хвалят с кичливою надменностию, а другого рукомесло богохульно называют «адописным», а вокруг их всегда как воробьи за совами старьевщики, что разную иконописную старину из рук в руки перепушают, меняют, подменяют, подделывают доски, в трубах копытят, углизну в них делают и червоточину; из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают; амаль

в ветхозаветном роде наводят; купели из тазов куют и на них старинные щипаные орлы, какие за Грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель, хотя тех купелей не счесть сколько по Руси ходит, и все это обман и ложь бессовестные. Словом сказать, все эти люди, как черные цыгане лошадами друг друга обманывают, так и они святынею, и всем это при таком с оною обращении, что становится за них стыдно и видишь во всем этом один грех да соблазн и вере поношение. Кто привычку к сему бесстыдству усвоил, тому еще ничего, и из московских охотников многие эту нечестною меною даже интересуются и хвалятся: что-де тот-то того-то так вот Деисусом надуд, а этот этого вон как Николою огред, или каким подлым манером поддельную Владычицу еще подсунул: и все это им заростно, и друг пред другом один против другого лучше нарохтятся, как божьим благословением неопытных верителей морочить, но нам с Левою, как мы были простые деревенские богочтители, все это в той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали и напал на нас страх.

«Неужто же,— думаем,— такова она к этому времени стала, наша злосчастная старая вера?» Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в скорбном сердце содержит, а друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места.

Вот я раз гляжу на него, а сам думаю: «Как бы он в смущении чего недолжного не надумал?»— да и говорю:

— Что ты, Левонтий, будто чем закручинился?

А он отвечает:

— Нет,— говорит,— дядя, ничего: это я так.

— Пойдем же, мол, на Боженинову улицу в Эриванский трактир изографов подговаривать. Ноне туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу ноне еще одну достать.

Левонтий отвечает:

— Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду.

— Отчего же,— говорю,— ты не пойдешь?

— А так,— отвечает,— мне ноне что-то не по себе.

Ну, я его раз не нужно и два не нужно, а на третий опять зову:

— Пойдем, Левонтьюшка, пойдем, молодец.

А он умильно кланяется и просит:

— Нету, дядюшка, голубчик белый: позволь мне дома остаться.

— Да что же, мол, Лева, пошел ты мне в содеатели, а всё дома да дома сидишь. Этак не велика мне, голубчик, от тебя помощь.

А он:

— Ну роденький, ну батечка, ну Марк Александрыч, государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладные речи о святыне говорят, а то меня соблазн обдержат может.

Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило, но я с ним не стал спорить, а пошел один, и имел я в этот вечер большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали! Один мне икону променял за сорок дублей и ушел, а другой говорит:

— Ты гляди, человеке, этой иконе не поклоняйся.

Я говорю:

— Почему?

А он отвечает:

— Потому что она адописная,— да с этим колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил, и под ним на грунту чертик с хвостом нарисован! Он в другом месте скovyрнул письмо, а там под низом опять чертик.

— Господи,— заплакал я,— да что же это такое?

— А то,— говорит,— что ты не ему, а мне закажи.

И увидал уже я тут ясно, что они одна шайка и норвят со мною нехорошо

поступить, не по чести, и, покинув им икону, ушел от них с полными слез глазами, славя бога, что не видал того мой Левонтий, вера которого находилась в борении. Но только подхожу домой, и вижу, в окнах нашей горенки, которую мы занимали, свету нет, а между тем оттуда тонкое, нежное пение льется. Я сейчас узнал, что это поет приятный Левонтиев голос, и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. Вошел я тихонько, чтоб он не слышал, стал у дверей и слушаю, как он Иосифов плач выводит:

Кому повею печаль мою,
Кого призову ко рыданию.

Стих этот, если его изволите знать, и без того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтий его поет да сам плачет и рыдает, что

Продаша мя мои братия!

И плачет, и плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери, и зовет землю к воплению за братский грех!..

Слова эти всегда могут человека взволновать, а особенно меня в ту пору, как я только бежал от братогрызцев, они меня так растрогали, что я и сам захлипал, а Левонтий, услышав это, смолк и зовет меня:

— Дядя! а дядя!

— Что,— говорю,— добрый молодец?

— А знаешь ли ты,— говорит,— кто эта наша мать, про которую тут поется?

— Рахиль,— отвечаю.

— Нет,— говорит,— это в древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать.

— Как же,— спрашиваю,— таинственно?

— А так,— отвечает,— что это слово с преобразованием сказано.

— Ты,— говорю,— смотри, дитя: не опасно ли ты умствуешь?

— Нет,— отвечает,— я это в сердце моем чувствую, что крестует бо ся Спас нас ради того, что мы его едиными усты и единым сердцем не ищем Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и говорю:

— Знаешь что, Левонтыюшко: пойдем-ко мы отсюда скорее из Москвь в нижегородские земли, изографа Севастьяна поищем, он ноне, я слышал, там ходит.

— Что же: пойдем,— отвечает,— здесь, на Москве, меня какой-то нужный дух больно нудит, а там леса, поветрие чище, и там,— говорит,— я слышал есть старец Памва, анахорит совсем беззавистный и безгневный, я бы его узреть хотел.

— Старец Памва,— отвечаю со строгостию,— господствующей церкви слуга, что нам на него смотреть?

— А что же,— говорит,— за беда, я для того и хотел бы его видеть, дабы внять, какова господствующей церкви благодать.

Я его пощунял, «какая там, говорю, благодать», а сам чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и говорю ему самые пустяки.

— Церковные,— говорю,— и на небо смотрят не с верою, а в Аристотилевы врата глядят и путь в море по звезде языческого бога Ремфана определяют; а ты с ними в одну точку смотреть захотел?

А Левонтий отвечает:

— Ты, дядя, баснишь: никакого бога Ремфана не было и нет, а вся единою премудростию создано.

Я от этого словно еще глупее стал и говорю:

— Церковные кофий пьют!

— А что за беда,— отвечает Левонтий,— кофий боб, он был Давиду-царю в дарах принесен.

- Откуда,— говорю,— ты это все знаешь?
- В книгах,— говорит,— читал.
- Ну так знай же, что в книгах не все писано.
- А что,— говорит,— там еще не написано?
- Что? что не написано?— А сам вовсе уже не знаю, что сказать, да брякнул

ему:

- Церковные,— говорю,— зайцев едят, а заяц поганый.
- Не погань,— говорит,— богом созданного, это грех.
- Как,— говорю,— не поганить зайца, когда он поганый, когда у него ослий склад и мужеженское естество и он рождает в человеке густую и меланхолическую кровь?

Но Левонтий засмеялся и говорит:

— Спи, дядя, ты невеликасы глаголешь!

Я, признаюсь вам, тогда еще ясно не разгадал, что такое в душе сего благодатного юноши делалось, но сам очень обрадовался, что он больше говорить не хочет, ибо я и сам понимал, что я в сердцах невесть что говорю, и умолк я и лежу да только думаю:

«Нет; это в нем такое сомнение от тоски стало, а вот завтра поднимемся и пойдем, так оно все в нем рассеется»; но про всякий же случай я себе на уме положил, что буду с ним некое время идти молча, дабы показать ему, что я как будто очень на него сержусь.

Но только в волевозвращном характере моем нет совсем этой крепости, чтобы притворяться сердитым, и мы скоро же опять начали с Левонтием говорить, но только не о божестве, потому что он был сильно против меня начитавшись, а об окрестности, к чему ежечасный предлог подавали виды огромных темных лесов, которыми шел путь наш. Обо всем этом своем московском разговоре с Левонтием я старался позабыть и решил наблюдать только одну осторожность, чтобы нам с ним как-нибудь не набезжать на этого старца Памву анахорита, которым Левонтий прельщался и о котором я сам слышал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь.

«Но,— думаю себе,— чего тут много печалиться, уж если я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет!»

И идем мы опять мирно и благополучно и, наконец, достигши известных пределов, добыли слух, что изограф Севастьян, точно, в здешних местах ходит, и пошли его искать из города в город, из села в село, и вот-вот, совсем по его свежему следу идем, совсем его достигаем, а никак не достигнем. Просто как сворные псы бежим, по двадцати, по тридцати верст переходы без отдыха делаем, а придем, говорят:

— Был он здесь, был, да вот-вот всего с час назад ушел!

Бросимся вслед, не настаиваем!

И вот вдруг на одном таком переходе мы с Левонтием и заспорили: я говорю: «нам надо идти направо», а он спорит: «налево», и, наконец, чуть было меня не переспорил, но я на своем пути настоял. Но только шли мы, шли, и, наконец, вижу, не знаю куда зашли, и нет дальше ни тропы, ни следу.

Я говорю отроку:

— Пойдем, Лева, назад!

А он отвечает:

— Нет, не могу я, дядя, больше идти,— сил моих нет.

Я всхлопотался и говорю:

— Что тебе, дитяtko?

А он отвечает:

— Разве,— говорит,— ты не видишь, меня отрясовица бьет?

И вижу, точно, весь он трясется, и глаза блуждают. И как все это, милостивые государи, случилось вдруг! Ни на что не жаловался, шел бодро и вдруг сел в леску на траву, а головку положил на избутелый пенёк и говорит:

— Ой, голова моя, голова! ай, горит моя голова огнем-пламенем! Не могу я идти; не могу больше шагу ступить!— а сам, бедняга, даже к земле клонится, падает.

А дело под вечер.

Ужасно я испугался, а пока мы тут подождали, не облегчит ли ему недуг, стала ночь; время осеннее, темное, место незнакомое, вокруг одни сосны и ели могучие как аркефовы деревья, а отрок просто помирает. Что тут делать! Я ему со слезами говорю:

— Левушка, батюшка, поневоляся, авось до ночлежка дойдем.

А он клонит головушку, как скошенный цветок, и словно во сне бреди

— Не тронь меня, дядя Марко; не тронь и сам не бойся.

Я говорю:

— Помилуй, Лева, как не бояться в такой глуши непробудной.

А он говорит:

— Не спяй и бдяй сохранил.

Я думаю: «Господи! что это с ним такое?» А сам в страхе все-таки стал прислушиваться, и слышу, по лесу вдалеке что-то словно потрескивает... «Владыко многомилостиве!— думаю,— это, верно, зверь, и сейчас он нас растерзает!» И уже Левонтия не зову, потому что вижу, что он точно сам из себя куда-то излетел и витает, а только молось: «Ангеле Христов, соблюди нас в сей страшный час!» А треск-от все ближе и ближе слышится, и вот-вот уже совсем подходит... Здесь я должен вам, господа, признаться в великой своей низости: так я оробел, что покинул больного Левонтия на том месте, где он лежал, да сам белки проворнее на дерево вскочил, вынул сабельку и сижу на суку да гляжу, что будет, а зубами, как пуганный волк, так и ляскаю... И вдруг-с замечаю я во тьме, к которой глаз мой пригляделся, что из лесу выходит что-то поначалу совсем безвидное, — не разобрать, зверь или разбойник, но стал приглядываться и различаю, что и не зверь и не разбойник, а очень небольшой старичок в колпачке, и видно мне даже, что в поясу у него топор заткнут, а на спине большая вязанка дров, и выщел он на поляночку; подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон поветрие собирал, и вдруг сбросил на землю вязанку и, точно почуяв человека, идет прямо к моему товарищу. Подошел, нагнулся, посмотрел в лицо и взял его за руку, да и говорит:

— Встань, брате!

И что же вы изволите думать? вижу я, поднял он Левонтия, и ведет прямо к своей вязаночке, и взвалил ее ему на плечи, и говорит:

— Понеси-ко за мною!

А Левонтий и понес.

Глава одиннадцатая



Можете себе, милостивые государи, представить, как я такого дива должен был испугаться! Откуда этот повелительный тихий старичок взялся, и как это мой Лева сейчас точно смерти был привержен и головы не мог поднять, и опять сейчас уже вязанку дров несет. Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бечеве за спину забросил, а сломая

про всякий случай здоровую леторосль понадежнее, да за ними, и скоро их настиг и вижу: старичок впереди грядет, и как раз он точно такой же, как мне с первого взгляда показался: маленький и горбатенький; а борода по сторонам клочочками, как мыльная пена белая, а за ним мой Левонтий идет, следом в след его ноги бодро попадает и на меня смотрит. Сколько я к нему ни заговаривал и рукою его ни трогал, он и внимания на меня не обратил, а все будто во сне идет.

Тогда я подбежал сбоку к старичку и говорю:

— Доброчестный человек!

А он отвечает:

— Что тебе?

— Куда ты нас ведешь?

— Я, — говорит, — никого никуда не веду, всех господь ведет!

И с этим словом вдруг остановился: и я вижу, что пред нами низенькая стенка и ворота, а в воротах проделана малая дверка, и в эту дверку старичок начал стучаться и зовет:

— Брате Мирон! а брате Мирон!

А оттуда дерзый голос грубо отвечает:

— Опять ночью притащился. Ночуй в лесу. Не пущу!

Но старичок опять давай проситься, молить ласково:

— Впусти, брате!

Тот дерзый вдруг отчинил дверь, и вижу я: это человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но только суровый-пресуровый грубитель, и не успел старичок ноги перенести через порог, как он его так толкнул, что тот мало не обрушился и говорит:

— Спаси тебя бог, брате мой, за твою услугу.

«Господи! — помышляю, — куда это мы попали», и вдруг как молонья меня осветила и поразила.

«Спасе премилосердый! — взгадал я, — да уж это не Памва ли безгнерчый! Так лучше же бы, — думаю, — я в дебри лесной погиб, или к зверю, или к разбойнику в берлогу зашел, чем к нему под кров».

И чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку и зажег воску желтого свечу, я сейчас догадался, что мы действительно в лесном ските, и, не стерпев дальше, говорю:

— Прости, благочестивый человек, спрошу я тебя: гоже ли нам с товарищем оставаться здесь, куда ты привел нас?

А он отвечает:

— Вся господня земля и благословенны вси живущие, — ложись, спи!

— Нет, позволь, — говорю, — тебе объявиться, ведь мы по старой вере.

— Все, — говорит, — уды единого тела Христова! Он всех соберет!

И с этим подвел нас к уголку, где у него на полу сделана скудная рогозина постелька, а в возглавии древесный кругляк соломкой прикрыт, и опять уже обоим нам молвит:

— Спите!

И что же? Левонтий мой, как послушенствующий отрок, сейчас и повалился, а я, свое опасение наблюдая, говорю:

— Прости, божий человек, еще одно вопрошение...

Он отвечает:

— Что вопрошать: бог все знает.

— Нет, скажи, — говорю, — мне: как твое имя?

А он, как совсем бы ему не соответствовало, бабственно погудкою говорит:

— Зовут меня зовуткою, а величают уткою, — и с этими пустыми словами пополоз было со свечечкою в какой-то малый чулан, тесный, как дощатый гробик, но из-за стены на него тот дерзый вдруг опять закричал:

— Не смей огня жечь: келью сожжешь, по книжке днем намолишься, а теперь впотьмах молись!

— Не буду,— отвечает,— брате Мирон, не буду. Спаси тебя бог!

И задул свечку.

Я шепчу:

— Отче! кто это на тебя так грубительно грозитя?

А он отвечает:

— Это служба мой Мирон... добрый человек, он блюдет меня.

«Ну, шабаш!— думаю,— это анахорит Памва! Никто это другой, как он, и беззавистный и безгневный. Вот когда беда! обрящел он нас и теперь истлит нас, как гагрена жир; одно только оставалось, чтобы завтра рано на заре восхитить отсюда Левонтия и бежать отсюда так, чтоб он не знал, где мы были». Держа этот план, я положил не спать и блюсти первый просвет, чтобы возбудить отрока и бежать.

А чтобы не заснуть и не проспять, лежу да твержу «Верую», как должно по-старому, и как протвержу раз, сейчас причитаю: «сия вера апостольская, сия вера кафолическая, сия вера вселенную утверди», и опять начинаю. Не знаю, сколько раз я эту «Верую» прочел, чтобы не заснуть, но только много; а старичок все в своем гробе молится, и мне оттуда сквозь пазы тесин точно свет кажет, и видно, как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышаться разговор, и какой... самый необъяснимый: будто вошел к старцу Левонтий, и они говорят о вере, но без слов, а так, смотря друг на друга и понимают. И это долго мне так представлялось, я уже «Верую» позабыл твердить, а слушаю, как будто старец говорит отроку: «Поди очистись», а тот отвечает: «И очишусь». И теперь вам не скажу, все это было во сне или не во сне, но только я потом еще долго спал и, наконец, просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и оный старец, хозяин наш, анахорит, сидит и свайкою лыковой лапóток на коленях ковыряет. Я стал в него всматриваться.

Ах, сколь хороши! ах, сколь духовен! Точно ангел предо мною сидит и лапóтки плетет, для простого себя миру явления.

Гляжу я на него и вижу, что и он на меня смотрит и улыбается, и говорит:

— Полно, Марк, спать, пора дело делать.

Я отзываюсь:

— Какое же, боготечный муж, мое дело? Или ты всё знаешь?

— Знаю,— говорит,— знаю. Когда же человек далекий путь без дела творит? Все, брате, все пути господнего ищут. Помогай господь твоему смирению, помогай!

— Какое же,— говорю,— святой человек, мое смирение?— ты смирен, а мое что за смирение в суеде!

А он отвечает:

— Ах нет, брате, нет, я не смирен: я великий дерзостник, я себе в небесном царстве части желаю.

И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и как малое дитя заплакал.

— Господи!— молится,— не прогневайся на меня за сию волевращность: пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин!

«Ну,— думаю,— нет: слава богу, это не Памва прозорливый анахорит, а это просто какой-то умоповрежденный старец». Рассудил я так потому, что кто же в здравом уме небесного царства может отрицаться и молить, дабы послал его господь на мучение демонам? Я этакого хотения во всю жизнь ни от кого не слышал и, сочтя оное за безумие, отвратился от старцева плача, считая оный за скорбь демоноговейную. Но, наконец, рассуждаю: что же это я лежу, пора вставать, но только вдруг гляжу, отворяется дверь, и входит мой Левонтий, про которого я точно совсем позабыл. И как он вошел, сейчас старцу в ноги и говорит:

— Я, отче, все совершил: теперь благослови!

А старец посмотрел на него и отвечает:

— Мир ти: почий!

И мой отрок, гляжу, опять ему в землю поклонился и вышел, а анахорит опять стал свой лапóток плести.

Тут я сразу вскочил и думаю:

«Нет; пойду скорее возьму Лева, и утеем отсюда без оглядки!» и с тем выхожу в малые сенички и вижу, что мой отрок лежит тут на дощаной скамье без возглавия навзничь и ручки на груди сложил.

Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю:

— Не знаешь ли ты, где я зачерпну себе воды, чтобы лицо умыть? — а шепотом шепчу ему: — Богом живым тебя заклиная, скорее отсюда пойдём!

Но всматриваюсь в него и вижу, что Лева не дышит... Отошел!.. Умер!..

Взвыл я не своим голосом:

— Памва! отец Памва, ты убил моего отрока!

А Памва вышел потихоньку на порог и говорит с радостью:

— Улетел наш Лева!

Меня даже зло взяло.

— Да, — отвечаю сквозь слезы, — он улетел. Ты из него душу, как голубя из клетки, выпустил! — и, повергшись к ногам усопшего, стонал я и плакал над ним даже до вечера, когда пришли из монастырька иноки, опрятали его мощи, положили в гроб и понесли, так как он сим утром, пока я, нетяг, спал, к церкви присоединился.

Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему сказать: согруби ему — он благословит, прибей его — он в землю поклонится, неодолим сей человек с таким смирением! Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет: недаром я его трепетал и опасался, что истлит он нас, как гагрена жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к богу обратит! Они его станут мучить, а он будет просить: «жестче терзайте, ибо я того достоин». Нет, нет! Этого смирения и сатане не выдержать! он все руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет пред Содетелем, такую любовь создавшим, и устыдится его.

Так я себе и порешил, что сей старец с лапóтком аду на погибель создан! и, всю ночь по лесу бродючи, не знаю отчего вдаль не иду, а все думаю:

«Как же он молится, каким образом и по каким книгам?»

И вспоминаю, что я не видал у него ни одного образа, кроме креста из палочек, лычком связанного, да не видал и толстых книг...

«Господи! — дерзаю рассуждать, — если только в церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен».

И все я о нем думал и думал и вдруг перед утром начал жаждасть хоть на минуту его пред отходом отсюда видения.

И только что я это помыслил, вдруг опять слышу, опять такой самый трескот, и отец Памва опять выходит с топором и с вязанкою дров и говорит:

— Что долго медлил? Поспешай Вавилон строить?

Мне это слово показалось очень горько, и я сказал:

— За что же ты меня, старче, таким словом упрекаешь: я никакого Вавилона не строю и от вавилонской мерзости особлюсь.

А он отвечает:

— Что есть Вавилон? столп кичения; не кичись правдою, а то ангел отступится.

Я говорю:

— Отче, знаешь ли, зачем я хожу?

И рассказал ему все наше горе. А он все слушал, слушал, и отвечает:

— Ангел тих, ангел кроток, во что ему повелит господь, он в то и одется; что ему укажет, то он сотворит. Вот ангел. Он в душе человеческой живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать...

И с тем, вижу, он удаляется от меня, а я отвратить глаз от него не могу и, преодолеть себя будучи не в состоянии, пал и вслед ему в землю поклонился, а поднимаю лицо и вижу, его уже нет, или за древа зашел, или... господь знает куда делся.

Тут я стал перебирать в уме его слова, что такое: «ангел в душе живет, но запе-

чатлен, а любовь освободит его», да вдруг думаю: «А что если он сам ангел, и бог повелит ему в ином виде явиться мне: я умру, как Левонтий!» Взгадав это, я сам не помню, на каком-то пеньке переплыл через речечку и ударился бежать; шестьдесят верст без остановки ушел, все в страхе, думая, не ангела ли я это видел, и вдруг захожу в одно село и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу мы с ним обо всем переговорили и положили, чтобы завтра же ехать, но поладили мы холодно и ехали еще холоднее. А почему? Раз, потому, что изограф Севастьян был человек задумчивый, а еще того более потому, что сам я не тот стал: витал в душе моей анахорит Памва, и уста шептали слова пророка Исаии, что «дух божий в ноздрех человека сего».

Глава двенадцатая



братное подорожие мы с изографом. Севастьяном отбыли скоро, и прибыв к себе на постройку ночью застали здесь все благополучно. Повидавшись с своими, мы сейчас же появились и англичанину Якову Яковлевичу. Тот, любопытный этакой, сейчас же поинтересовался изографа видеть и все ему на руки его смотрел да плечми пожимал, потому что руки у Севастьяна были большущие, как грабли, и черные, поелику и сам он был видом как цыган черен. Яков Яковлевич и говорит:

— Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать?

А Севастьян отвечает:

— Отчего же? Чем мои руки несоответственны?

— Да тебе, — говорит, — что-нибудь мелкое ими не выведешь.

Тот спрашивает:

— Почему?

— А потому что гибкость состава перстов не позволит.

А Севастьян говорит:

— Это пустяки! Разве персты мои могут мне на что-нибудь позволять или не позволять? Я им господин, а они мне слуги и мне повинуются.

Англичанин улыбается.

— Значит ты, — говорит, — нам запечатленного ангела подведешь?

— Отчего же, — отвечает, — я не из тех мастеров, которые дела боятся, а меня самого дело боится; так подведу, что и не отличите от настоящей.

— Хорошо, — молвил Яков Яковлевич, — мы немедля же станем стараться настоящую икону достать, а ты тем часом, чтоб уверить меня, докажи мне свое искусство: напиши ты моей жене икону в древнерусском роде, и такую, чтоб ей нравилась.

— Какое же во имя?

— А уж этого я, — говорит, — не знаю; что знаешь, то и напиши, это ей все равно, только чтобы нравилась.

Севастьян подумал и вопрошает:

— А о чем ваша супруга более богу молится?

— Не знаю, — говорит, — друг мой, — друг мой; не знаю о чем, но я думаю, вернее всего о детях, чтоб из детей честные люди вышли.

Севастьян опять подумал и отвечает:

— Хорошо-с, я и под этот вкус потрафлю.

— Как же ты потрафишь?

— Так изображу, что будет созерцательно и усугублению молитвенного духа супруги вашей благоприятно.

Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Севастьян не стал там работать, а сел у окошечка на чердачке над Луки Кирилова горенкой и начал свою акцию.

И что же он, государи мои, сделал, чего мы и вообразить не могли. Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит Романа-чудотворца, коему молятся от неплодия, или избиение младенцев в Иерусалиме, что всегда матерям, потерявшим чад, бывает приятно, ибо там Рахиль с ними плачет о детях и не хочет утешиться; но сей мудрый изограф, сообразив, что у англичанки дети есть и она льет молитву не о даровании их, а об оправдании их нравственности, взял и совсем иное написал, к целям ее еще более соответственное. Избрал он для сего старенькую самую небольшую досточку пядницу, то есть в одну ручную пядь величины, и начал на ней таланствовать. Прежде всего он ее, разумеется, добре вылевкасил крепким казанским алебастром, так что стал этот левкас гладок и крепок, как слоновья кость, а потом разбил на ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил особливую малую икону, да еще их стеснил тем, что промежду них на олифе золотом каймы положил, и стал писать: в первом месте написал рождество Иоанна Предтечи, восемь фигур и новорожденное дитя, и палаты; во втором — рождество пресвятыя Владычицы богородицы, шесть фигур и новорожденное дитя, и палаты; в третьем — Спасово пречистое рождество, и хлев, и ясли, и предстоящие Владычица и Иосиф, и припадшие боготечные волхвы, и Соломия-баба, и скот всяким подобием: волы, овцы, козы и осли, и сухопальптица, жидам запрещенная, коя пишется в означении, что идет сие не от иудовства, а от божества, все создавшего. А в четвертом отделении рождение Николая Угодника, и опять тут и святой угодник в младенчестве, и палаты, и многие предстоящие. И что тут был за смысл, чтобы видеть пред собою воспитателей столь добрых чад, и что за художество, все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность видна и движение. В богородичном рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит, пред нею девицы тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные солнечник, иные же свечи. Едина жена держит святую Анну под плещи; Иоаким зрит в верхние палаты; баба святую богородицу оmyвает в купели до пояса: посторонь девица льет из сосуда воду в купель. Палаты все разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя бокан, и в этой нижней палате сидит Иоаким и Анна на престоле, и Анна держит пресвятую богородицу, а вокруг между палат столбы каменные, запоны червлые, а ограда бела и вохряна... Дивно, дивно все это Севастьян изобразил, и в премельчайшем каждом личике все богозрительство выразил, и надписал образ «Доброчадие», и принес англичанам. Те глянули, стали разбирать, да и руки врозь: никогда, говорят, такой фантазии не ожидали и такой тонкости мелкоскопического письма не слыхивали, даже в мелкоскоп смотрят, и то никакой ошибки не находят, и дали они Севастьяну за икону двести рублей и говорят:

— Можешь ли ты еще мельче выразить?

Севастьян отвечает:

— Могу.

— Так скопируй мне, — говорит, — в перстень женин портрет.

Но Севастьян говорит:

— Нет, вот уж этого я не могу.

— А почему?

— А потому, — говорит, — что, во-первых, я этого искусства не пробовал, а повторительно, я не могу для него своего художества унижить, дабы отеческому осуждению не подпасть.

— Что за вздор такой!

— Никак нет,— отвечает,— это не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времен, и в патриаршей грамоте подтверждается: «аще убо кто на таковое святое дело, еже есть иконное воображение, сподобится, то тому изрядного жителства изографу ничего, кроме святых икон, не писать!»

Яков Яковлевич говорит:

— А если я тебе пятьсот рублей дам за это?

— Хоть и пятьсот тысяч обещайте, все равно при вас они останутся

Англичанин просиял и шутя говорит жене:

— Как это тебе нравится, что он твое лицо писать считает для себя за унижение?

А сам ей по-аглички прибавляет: «Ох, мол, гут карактер». Но только молвил в конце:

— Смотрите же, братцы, теперь мы беремса все дело шабашить, а у вас, я вижу, на все свои правила, так чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помешать может.

Мы отвечаем, что ничего такого не предвидим.

— Ну так смотрите,— говорит,— я начинаю,— и он поехал ко владыке с просьбою, что хочет-де он поусердствовать, на запечатленном ангеле ризу позолотить и венец украсить. Владыко на это ему ни то ни се: ни отказывает, ни приказывает; а Яков Яковлевич не отстает и помогает; а мы уже ждем, что порох огня.

Глава тринадцатая



ри сем позвольте вам, господа, напомнить, что с тех пор, как это дело началось, время прошло немало, и на дворе стояло Спасово рождество. Но вы не числите тамошнее рождество наравне со здешним: там время бывает с капризцем, и один раз справляет этот праздник по-зимнему, а в другой раз невесть по какому: дождит, мокнет; один день слегка морозцем постынет, а на другой опять растворит; реку то ледком засалит, то вспучит и несет крыги, как будто в весеннюю половодью... Одним словом, самое непостоянное время, и как по тамошнему месту зовется уже не погода, а просто *халела*, так оно ей и пристало халепой быть.

В тот год, к коему рассказ мой клонит, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся с изографом, я не могу вам и перечислить, какое число-раз наши то на зимнем, то на летнем положении себя поставляли. А время было, по работе глядя, самое горячее, потому что уже у нас все семь быков были готовы и с одного берега на другой цепи переносились. Хозяевам, разумеется, как можно скорее хотелось эти цепи соединить, чтобы на них к половодью хоть какой-нибудь временный мостик подвесить для доставки материала, но это не удалось: только цепи перетянули, жамкнул такой морозище, что мостить нельзя. Так и осталось: цепи одни висят, а моста нет. Зато создал бог другой мост: река стала, и наш англичанин поехал по льду за Днепр хлопотать о нашей иконе, и оттуда возвращается и говорит мне с Лукою:

— Завтра,— говорит,— ребята, ждите, я вам ваше сокровище привезу.

Господи, что только мы в эту пору почувствовали! Хотели было сначала

тайнствовать и одному изографу сказать, но утерпеть ли сердцу человеку! Вместо соблюдения тайности обегли мы всех своих, во все окна постучали и все друг к другу шепчем, да не зная чего бегаем от избы к избе, благо ночь светлая, превосходная, мороз по снегу самоцветным камнем сыпет, а в чистом небе Эспер-звезда горит.

Проведя в такой радостной беготне ночь, день мы встретили в том же восхищенном ожидании и с утра уже от своего изографа не отходим и не знаем, куда за ним его сапоги понести, потому что пришел час, когда все зависит от его художества. Что только он скажет подать или принести, мы во всякий след вдесятером летим и так усердствуем, что один другого с ног валим. Даже дед Марой до той поры бегал, что, зацепившись, каблук оторвал. Один только сам изограф спокоен, потому что ему эти дела было уже не впервые делать, и потому он несуетно себе все приговлял: яйцо кваском развел, олифу осмотрел, приготовил левкасный холстик, старенькие досточки, какие подхожие к величине иконы, разложил, настроил острую пилку, как струну, в излучине из крепкого обода и сидит под окошечком, да какие предвидит нужными вапы пальцами в долони перетирает. А мы все вымылись в печи, понадевали чистые рубашки и стоим на бережку, смотрим на град убежища, откуда должен к нам светоносный гость пожаловать; а сердца так то затрещут, то падают...

Ах, какие были мгновения, и длились они с ранней зари даже до вечера, и вдруг видим мы, что по льду от города англичаниновы сани несутся, и прямо к нам... По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся:

— Боже отец духовом и ангелом: пощади рабы твои!

И с этим молением упали ниц на снег и вперед жадно руки простираем, и вдруг слышим над собою англичанинов голос:

— Эй, вы! Староверы! Вот вам привез! — и подает узелок в белом платочке.

Лука принял узелок и замер: чувствует, что это что-то малое и легковесное! Раскрыл уголок платочка и видит: это одна басма с нашего ангела сорвана, а самой иконы нет.

Кинулись мы к англичанину и говорим ему с плачем:

— Обманули вашу милость, тут иконы нет, а одна басма серебряная с нее прислана.

Но англичанин уже не тот, что был к нам до сего времени: верно, досадило ему это долгое дело, и он крикнул на нас:

— Да что же вы всё путаете! Вы же сами говорили, что надо ризу выпросить, я ее и выпросил; а вы, верно, просто не знаете, что вам нужно!

Мы ему, видя, что он восклокотал, с осторожностью было начали объяснять, что нам икона нужна, чтобы подделок сделать, но он не стал нас более слушать, выгнал вон и одну милость показал, что велел изографа к нему послать. Пошел к нему изограф Севастьян, а он точно таким же манером и на него с клокотанием.

— Твои, — говорит, — мужики сами не знают, чего хотят: то просили ризу, говорили, что тебе только надо размеры да абрис снять, а теперь ревут, что это им ни к чему не нужно; но я более вам ничего сделать не могу, потому что архиерей образа не дает. Поддельвай скорее образ, обложим его ризой и отдадим, а старый мне секретарь выкрадет.

Но Севастьян-изограф, как человек рассудительный, обаял его мягкою речью и отвечает:

— Нет, — говорит, — ваша милость; наши мужички свое дело знают, и нам действительно подлинная икона вперед нужна. Это, — говорит, — только в обиду нам выдуманно, что мы будто по переводам точно по трафаретам пишем. А у нас в подлиннике постановлен закон, но исполнение его дано свободному художеству. По подлиннику, например, повелено писать святого Зосиму или Герасима со львом, а не стеснена фантазия изографа, как при них того льва изобразить? Святого Неофита указано с птицею-голубем писать; Конона Градаря с цветком, Тимофея с ковчежцем, Георгия и Савву Стратилата с копьями, Фотия с корнав-

кой, а Кондрата с облаками, ибо он облака воспитывал, но всякий изограф волен это изобразить, как ему фантазия его художества позволит, и потому опять не могу я знать, как тот ангел писан, которого надо подменить.

Англичанин все это выслушал и выгнал Севастьяна, как и нас, и нет от него никакого дальшего решения, и сидим мы, милостивые государи, над рекою, яко враны на нырище, и не знаем, вполне ли отчаяваться или еще чего ожидать, но идти к англичанину уже не смеем, а к тому же и погода стала опять единохарактерна нам: спустилась ужасная оттепель, и засеял дождь, небо среди дня все яко дым копильный, а ночи темнеющие, даже Еспер-звезда, которая в декабре с тверди небесной не сходит, и та скрылась и ни разу не выглянет... Тюрьма душевная, да и только! И таково наступило Спасово рождество, а в самый сочельник ударил гром, полил ливень, и лет, и лет без устава два дни и три дни: снег весь смыло и в реку снесло, а на реке лед начал синеть да пучиться, и вдруг его в предпоследний день года всперло и понесло... Мчит его сверху и швыряет крыга на крыгу по мутной волне, у наших построек всю реку затерло: горой содит льдина на льдину, и прядают они и сами звенят, прости господи, точно демоны... Как стоят постройки и этакое неподиванное теснение терпят, даже удивительно. Страшные миллионы могло разрушить, но нам не до того; потому что у нас изограф Севастьян, видя, что дела ему никакого нет, вскромолился — складает пожитки и хочет в иные страны идти, и никак его удержать не можем.

Да не до того было и англичанину, потому что с ним за эту непогоду что-то такое поделалось, что он мало с ума не сошел: всё, говорят, ходил да у всех спрашивал: «Куда деться? Куда деваться?» И потом вдруг преодолел себя как-то, призывает Луку и говорит:

— Знаешь что, мужик: пойдем вашего ангела красть?

Лука отвечает:

— Согласен.

По Луки замечанию было так, что англичанин точно будто жаждал испытать опасных деяний и положил так, что поедет он завтра в монастырь к епископу, возьмет с собою изографа под видом золотаря и попросит ему икону ангела показать, дабы он мог с нее обстоятельный перевод снять будто для ризы; а между тем как можно лучше в нее взглядится и дома напишет с нее подделок. Затем, когда у настоящего золотаря риза будет готова, ее привезут к нам за реку, а Яков Яковлевич поедет опять в монастырь и скажет, что хочет архиерейское праздничное служение видеть, и войдет в алтарь, и станет в шинели в темном алтаре у жертвенника, где наша икона на окне бережется, и скрадет ее под полу, и, отдав человеку шинель, якобы от жары, велит ее вынести. А на дворе за церковью наш человек чтобы сейчас из той шинели икону взял и летел с нею сюда, на сей бок, и здесь изограф должен в продолжение времени, пока идет всенощная, старую икону со старой доски снять, а подделок вставить, ризой одеть и назад прислать, таким манером, чтобы Яков Яковлевич мог ее опять на окно поставить, как будто ничего не бывало.

— Что же-с? Мы, — говорим, — на все согласны!

— Только смотрите же, — говорит, — помните, что я стану на месте вора и хочу вам верить, что вы меня не выдадите.

Лука Кирилов отвечает:

— Мы, Яков Яковлевич, не того духа люди, чтоб обманывать благодетелей. Я возьму икону и вам обе назад принесу, и настоящую и подделок.

— Ну а если тебе что-нибудь помешает?

— Что же такое мне может помешать?

— Ну, вдруг ты умрешь или утонешь.

Лука думает: отчего бы, кажется, быть такому препятствию, а впрочем сообщает, что действительно трафляется иногда и кладязь копающему обретать сокровище, а идущему на торг встречать пса беснуема, и отвечает:

— На такой случай я, сударь, при вас такого своего человека оставлю,

который, в случае моей неустойки, всю вину на себя примет и смерть претерпит, а не выдаст вас.

— А кто это такой человек, на которого ты так полагаешься?

— Ковач Марой,— отвечает Лука.

— Это старик?

— Да, он не молод.

— Но он, кажется, глуп?

— Нам, мол, его ум не надобен, но зато сей человек достойный дух имеет.

— Какой же,— говорит,— может быть дух у глупого человека?

— Дух, сударь,— отвечает Лука,— бывает не по разуму: дух иде же хочет дышит, и все равно что волос растет у одного долгий и роскошный, а у другого скудный.

Англичанин подумал и говорит:

— Хорошо, хорошо: это всё интересные ощущения. Ну, а как же он меня вырчит, если я попадусь?

— А вот как,— отвечает Лука,— вы будете в церкви у окна стоять, а Марой станет под окном снаружи, и если я к концу службы с иконами не явлюсь, то он стекло разобьет, и в окно полезет, и всю вину на себя примет.

Это англичанину очень понравилось.

— Любопытно,— говорит,— любопытно! А почему я должен этому вашему глупому человеку с духом верить, что он сам не убежит?

— Ну уж это, мол, дело взаимоверия.

— Взаимоверия,— повторяет.— Гм, гм, взаимоверия! Я за глупого мужика в каторгу, или он за меня под кнут? Гм, гм! Если он сдержит слово... под кнут... Это интересно.

Послали за Мароем и объяснили ему, в чем дело, а он и говорит:

— Ну так что же?

— А ты не убежишь?— говорит англичанин.

А Марой отвечает:

— Зачем?

— А чтобы тебя плетью не били да в Сибирь не сослали.

А Марой говорит:

— Экося!— да больше и разговаривать не стал.

Англичанин так и радуется: весь ожил.

— Прелесть,— говорит,— как интересно.

Глава четырнадцатая



Сейчас же за этим переговорами началась и акция. Навеслили мы наутро большой хозяйский баркас и перевезли англичанина на городской берег: он там сел с изографом Севастьяном в коляску и покатил в монастырь, а через час с небольшим, смотрим, бежит наш изограф, и в руках у него листок с переводом иконы.

Спрашиваем:

— Видел ли, родной наш, и можешь ли теперь подделок потрафить?

— Видел,— отвечает,— и потрафлю, только разве как бы малость чем живее не сделал, но это не беда, когда икона сюда придет, я тогда в одну минуту яркость цвета усмирю.

— Батюшка,— молим его,— порадей!

— Ничего,— отвечает,— порадею!

И как мы его привезли, он сейчас сел за работу, и к сумеркам у него на холстике поспел ангел, две капли воды как наш запечатленный, только красками как будто немножко свежее.

К вечеру и злотарь новый оклад прислал, потому он еще прежде был по басме заказан.

Наступал самый опасный час нашего воровства.

Мы, разумеется, во всем изготовились и пред вечером помолились и ждем должного мгновения, и только что на том берегу в монастыре в первый колокол ко всеобщей ударили, мы сели три человека в небольшую ладью: я, дед Марой да дядя Лука. Дед Марой захватил с собою топор, долото, лом и веревку, чтобы больше на вора походить, и поплыли прямо под монастырскую ограду.

А сумерки в эту пору, разумеется, ранние, и ночь, несмотря на вселуние, стояла претемная, настоящая воровская.

Переехавши, Марой и Лука оставили меня под бережком в лодке, а сами поплыли в монастырь. Я же весла в лодку забрал, а сам коншом веревки зацепился и нетерпеливо жду, чтобы чуть Лука ногой в лодку ступит, сейчас плыть. Время мне ужасно долго казалось от томления, как все это выйдет и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерняя и всеобщая пройдет? И кажется мне, что уже времени и невесть сколь много ушло; а темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя мокрый снег повалил, и лодку ветром стало поколыхивать, и я, лукавый раб, все мало-помалу угреваясь в свитенке, начал дремать. Только вдруг в лодку толк, и закачало. Я встрепенулся и вижу, в ней стоит дядя Лука и не своим, передавленным голосом говорит:

— Греби!

Я беру весла, да никак со страха в уключины не попаду. Насилу справился и отвалил от берега, да и спрашиваю:

— Добыли, дядя, ангела?

— Со мной он, гребь мощней!

— Расскажи же,— пытаю,— как вы его достали?

— Непорочно достали, как было сказано.

— А успеем ли назад взворотить?

— Должны успеть: еще только великий прокимен вскричали. Гребь! Куда ты гребешь?

Я оглянулся: ах ты господи! и точно, я не туда гребу: все, кажись, как надлежит, воперек течения держу, а нашей слободы нет,— это потому что снег и ветер такой, что страх, и в глаза лепит, и вокруг ревет и качает, а сверху реки точно как льдом дышит.

Ну, однако, милостью божиею мы доставились; соскочили оба с лодки и бегом побежали. Изограф уже готов: действует хладнокровно, но твердо: взял прежде икону в руки, и как народ пред нею упал и поклонился, то он подпустил всех познать себя с запечатленным ликом, а сам смотрит и на нее и на свою подделку, и говорит:

— Хороша! только надо ее маленько гряздой с шафраном усмирить!—

А потом взял икону с берег в тиски и налячил свою пилку, что приправил в крутой обрuch и... пошла эта пилка порхать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит! Стрась-с! Можете себе вообразить, что ведь спиливал он ее этими своими машинными ручищами с доски тониною не толще как листок самой тонкой писчей бумаги... Долго ли тут до греха: то есть вот на волос покриви пилу, так лик и раздерет и насквозь выскочит! Но изограф Севастьян всю эту акцию совершал с такою

холодностью и искусством, что, глядя на него, с каждой минутой делалось мирней на душе. И точно, спилил он изображение на тончайшем самом слое, потом в одну минуту этот спилок из краев вырезал, а края опять на ту же доску наклеил, а сам взял свою подделку скомкал, скомкал ее в кулаке и ну ее трепать об край стола и терхать в долонях, как будто рвал и погубить ее хотел, и, наконец, глянул сквозь холст на свет, а весь этот новенький списочек как сито сделался в трещинках... Тут Севастьян сейчас взял его и вклеил на старую доску в средину краев, а на долонь набрал какой знал темной красочной грязи, замесил ее пальцами со старою олифою и шафраном вроде замазки и ну все это долонью в тот потерханый списочек крепко-накрепко втирать... Живо он все это свершал, и вновь писанная иконка стала совсем старая и как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту проолифил и другие наши люди стали окладом ее одевать, а изограф вправил в приготовленную досточку настоящий выпилок и требует себе скорее лохмот старой поярковой шляпы.

Это начиналась самая трудная акция распечатления.

Подали изографу шляпу, а он ее сейчас перервал пополам на колене и, покрыв ею запечатленную икону, кричит:

— Давай каленый утюг!

В печи, по его приказу, лежал в жару раскален тяжелый портняжий утюг.

Михайлища зацепила его и подает на ухвате, а Севастьян обернул ручку тряпкою, поплевал на утюг, да как дернет им по шляпному обрывку!.. От разу с этого войлока злой смрад повалил, а изограф еще раз, да еще им трет и враз отхватывает. Рука у него просто как молонья летает, и дым от поярка уже столбом валит, а Севастьян знай печет: одной рукой поярочек помалу поворачивает, а другою — утюгом действует, и все раз от разу неспешнее да сильнее налегает, и вдруг отбросил и утюг и поярк и поднял к свету икону, а печати как не бывало: крепкая строгановская олифа выдержала, и сургуч весь свелся, только чуть как будто красноогненная роса осталась на лике, но зато светлбожественный лик весь виден...

Тут кто молится, кто плачет, кто руки изографу лезет целовать, а Лука Кирилов своего дела не забывает и, минутою дорожа, подает изографу его поддельную икону и говорит:

— Ну, кончай же скорей!

А тот отвечает:

— Моя акция кончена, я все сделал, за что брался.

— А печать наложить.

— Куда?

— А вот сюда этому новому ангелу на лик, как у того было.

А Севастьян покачал головою и отвечает:

— Ну нет, я не чиновник, чтоб этакое дело дерзнул сделать.

— Так как же нам теперь быть?

— А уже я,— говорит,— этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припасти, а упустили сих деятелей получить, так теперь сами делайте.

Лука говорит:

— Что ты это! да мы ни за что не дерзнем!

А изограф отвечает:

— И я не дерзну.

И идет у нас в эти краткие минуты такая сумятица, как вдруг влетает в избу Якова Яковлевича жена, вся бледная как смерть, и говорит:

— Неужели вы еще не готовы?

Говорим: и готовы и не готовы: важнейшее сделали, но ничтожного не можем.

А она немует по-своему:

— Что же вы ждете? Разве вы не слышите, что́ на дворе?

Мы прислушались и сами еще хуже ее побледнели: в своих заботах мы на погоду внимания не обращали, а теперь слышим гул: лед идет!

Выскочил я и вижу, он уже сплошной во всю реку прет, как зверье какое бешеное, крыга на крыгу скачет, друг на дружку так и прыдают, и шумят и ломаются.

Я, себя не помня, кинулся к лодкам, их ни одной нет: все унесло... У меня во рту язык осметком стал, так что никак его не сомну, и ребро за ребро опустилось, точно я в землю ухожу... Стою, и не двигаюсь, и голоса не даю.

А пока мы тут во тьме мечемся, англичанка, оставшись там в избе одна с Михайлицей и узнав, в чем задержка, схватила икону и... выскакивает с нею через минуту на крыльцо с фонарем и кричит:

— Натe, готово!

Мы глянули: у нового ангела на лице печать!

Лука сейчас обе иконы за пазуху и кричит:

— Лодку!

Я открываюсь, что нет лодок, унесло.

А лед, я вам говорю, так табуном и валит, ломится об ледорезы и трясет мост так, что индо слышно, как эти цепи, на что толсты, в добрую половицу, а и то погромыхивают.

Англичанка, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет нечеловеческим голосом: «Джемс!» и пала неживая.

А мы стоим и одно чувствуем:

— Где же наше слово? что теперь будет с англичанином? что будет с дедом Мароем?

А в это время в монастыре на колокольне зазвонили третий звон.

Дядя Лука вдруг встрепенулся и воскликнул к англичанке:

— Очнись, государыня, муж твой цел будет, а разве только старого деда нашего Мароя ветхую кожу станет палач терзать и добродетельное лицо его клеймом обесчестит, но быть тому только разве после моей смерти! — и с этим словом перекрестился, выступил и пошел.

Я вскрикнул:

— Дядя Лука, куда ты? Левонтий погиб, и ты погибнешь! — да и кинулся за ним, чтоб удержать, но он поднял из-под ног весло, которое я, приехавши, наземь бросил, и, замахнувшись на меня, крикнул:

— Прочь! или насмерть ушибу!

Господа, довольно я пред вами в своем рассказе открыто себя малодушником признавал, как в то время, когда покойного отрока Левонтия на земле бросил, а сам на древо вскочил, но ей-право, говорю вам, что я бы тут не испугался весла и от дяди Луки бы не отступил, но... угодно вам — верьте, не угодно — нет, а только в это мгновение не успел я имя Левонтия вспомнить, как промежду им и мною во тьме обрисовался отрок Левонтий и рукой погрозил. Этого страха я не выдержал и возринулся назад, а Лука стоит уже на конце цепи, и вдруг, утвердившись на ней ногою, молвит сквозь бурю:

— Заводи катавасию!

Головщик наш Арефа тут же стоял и сразу его послушал и ударил: «Отверзу уста», а другие подхватили, и мы катавасию кричим, бури вою сопротивляясь, а Лука смертного страха не боится и по мостовой цепи идет. В одну минуту он один первый пролет перешел и на другой спускается... А далее? далее обьяла его тьма, и не видно: идет он или уже упал и крыгами проклятыми его в пучину забуровило, и не знаем мы: молить ли о его спасении или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души?

Глава пятнадцатая



Теперь что же-с происходило на том берегу? Преосвященный владыко архиерей своим правилом в главной церкви всенощную совершал, ничего не зная, что у него в это время в приделе крали; наш англичанин Яков Яковлевич с его соизволения стоял в соседнем приделе в алтаре и, скрав нашего ангела, выслал его, как намеревался, из церкви в шинели, и Лука с ним помчался; а дед же Марой, свое слово наблюдая, остался под тем самым окном на дворе и ждет последней минуты, чтобы, как Лука не возвратится, сейчас англичанин отступит, а Марой разобьет окно и полезет в церковь с ломом и с долотом, как настоящий злодей. Англичанин глаз с него не спускает и видит, что дед Марой исправен стоит на своем послушании, и чуть заметит, что англичанин лицом к окну прилегает, чтобы его видеть, он сейчас кивает, что здесь, мол, я — ответный вор, здесь!

И оба таким образом друг другу свое благородство являют и не позволяют одному другому себя во взаимоверии превозвысить, а к этим двум верам третья, еще сильнейшая двизает, но только не знают они, что та, третья вера, творит. Но, вот как ударили в последний звон всенощной, англичанин и приотворил тихонько оконную форточку, чтобы Марой лез, а сам уже готов отступать, но вдруг видит, что дед Марой от него отворотился и не смотрит, а напряженно за реку глядит и твердисловит:

— Перенеси бог! перенеси бог, перенеси бог! — а потом вдруг как вспрыгнет и сам словно пьяный пляшет, а сам кричит: — Перенес бог, перенес бог!

Яков Яковлевич в величайшее отчаяние пришел, думает:

«Ну, конец: глупый старик помешался, и я погиб», — ан смотрит, Марой с Лукою уже обнимаются.

Дед Марой шавчит:

— Я тебя назирал, как ты с фонарями по цепи шел.

А дядя Лука говорит:

— Со мною не было фонарей.

— Откуда же светение?

Лука отвечает:

— Я не знаю, я не видал светения, я только бегом бежал и не знаю, как перебег и не упал... точно меня кто под обе руки нес.

Марой говорит:

— Это ангелы, — я их видел, и зато я теперь не преполовлю дня и умру сегодня.

А Луке как некогда было много говорить, то деду он не отвечает, а скорее англичанину в форточку обе иконы подает.

Но тот взял и кажет их назад.

— Что же, — говорит, — печати нет?

Лука говорит:

— Как нет?

— Да нет.

Ну, тут Лука перекрестился и говорит:

— Ну, конечно! Теперь некогда поправлять. Это чудо церковный ангел совершил, и я знаю, к чему оно.

И сразу бросился Лука в церковь, протеснился в алтарь, где владыку разоблачали, и, пав ему в ноги, говорит:

— Так и так, я святотатец, и вот что сейчас совершил: велите меня оковать и в тюрьму посадить.

А владыка в меру чести своя все то выслушал и отвечает:

— Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее: вы,— говорит,— плутовством с своего ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел.

Дядя говорит:

— Вижу, владыко, и трепещу. Повели же отдать меня скорее на казнь.

А архиерей отвечает разрешительным словом:

— Властью, мне данною от бога, прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься завтра принять пречистое тело Христово.

Ну, а дальше, господя, я думаю, нечего вам и рассказывать: Лука Кирилов и дед Марой утром ворочаются и говорят:

— Отцы и братие, мы видели славу ангела господствующей церкви и все божественное о ней смотрение в добротолубии ее иерарха и сами к оной освященным елеем примазались и тела и крови Спаса сегодня за обеднею приобщались.

А я как давно, еще с гостинок у старца Памвы, имел влечение воедино одушевиться со всею Русью, воскликнул за всех:

— И мы за тобой, дядя Лука!— да так все в одно стадо, под одного пастыря, как ягнятки, и подобались, и едва лишь тут только поняли, к чему и куда всех нас наш запечатленный ангел вел, пролия сначала свои стопы и потом распечатлевшись ради любви людей к людям, явленной в сию страшную ночь.

Глава шестнадцатая



ассказчик кончил. Слушатели еще молчали, но, наконец, один из них откашлянулся и заметил, что в истории этой все объяснимо, и сны Михайлицы, и видение, которое ей примерещилось впросонье, и падение ангела, которого забегая кошка или собака на пол столкнула, и смерть Левонтия, который болел еще ранее встречи с Памвою, объяснимы и все случайные совпадения слов говорящего какими-то загадками Памвы.

— Понятно и то,— добавил слушатель,— что Лука по цепи перешел с веслом: каменщики известные мастера где угодно ходить и лазить, а весло тот же балансир; понятно, пожалуй, и то, что Марой мог видеть около Луки светение, которое принял за ангелов. От большой напряженности сильно перезябшему человеку мало ли что могло зарябить в глазах? Я нашел бы понятным даже и то, если бы, например, Марой, по своему предсказанию, не преполова дня умер...

— Да он и умер-с,— отозвался Марк.

— Прекрасно! И здесь ничего нет удивительного восьмидесятилетнему старику умереть после таких волнений и простуды; но вот что для меня действительно совершенно необъяснимо: как могла исчезнуть печать с нового ангела, которого англичанка запечатала?

— Ну, а это уже самое простое-с,— весело отозвался Марк и рассказал, что они после этого вскоре же нашли эту печать между образом и ризою.

— Как же это могло случиться?

— А так: англичанка тоже не дерзнула ангельский лик портить, а сделала

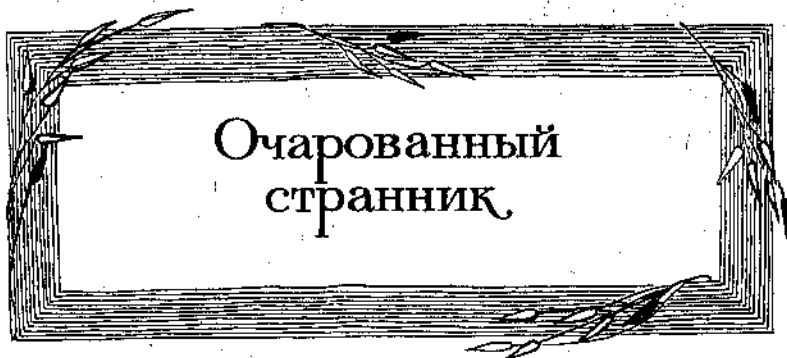
печатать на бумажке и подвела ее под края оклада... Оно это было очень умно и искусно ею устроено, но Лука как нес иконы, так они у него за пазухой шевелились, и оттого печать и спала.

— Ну, теперь, значит, и все дело просто и естественно.

— Да, так и многие располагают, что все это случилось самым обыкновенным манером, и даже не только образованные господа, которым об этом известно, но и наша братия, в раздоре остающиеся, над нами смеются, что будто нас англичанка на бумажке под церковь подсунула. Но мы против таких доводов не спорим: всяк как верит, так и да судит, а для нас все равно, какими путями господь человека взыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы взыскал и жажду единоплеменника его с отечеством утолил. А вон мужички-вахлачки уже вылезают из-под снега. Отдохнули, видно, сердечные, и сейчас поедут. Авось они и меня подвезут. Васильева ночка прошла. Утрудил я вас и много кое-где с собою выводел. С новым годом зато имею честь поздравить, и простите, Христа ради, меня, невежу!

1873





Очарованный странник

Глава первая



плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле. Здесь многие из нас любопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

— Я уверен, — сказал этот путник, — что в настоящем случае непременно виновата рутинная или в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то, часто здесь путешествующий, ответил на это, что будто и здесь одновременно жилали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

— Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

— Какая же на это последовала резолюция?
— М... н...не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

— И прекрасно сделал, — откликнулся философ.

— Прекрасно? — переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.

— А что же? по крайней мере умер, и концы в воду.

— Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улынулся, но ничего не ответил, но зато и против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ремненным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах — этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему спутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляничкой пахнет темный бор».

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою.

— Это все ничего не значит, — начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх, по-гусарски, закрученных седых усов. — Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться — это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти?

— А вот кто-с, — отвечал богатырь-черноризец, — есть в московской епархии в одном селе попик — прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли, — так он ими орудует.

— Как же вам это известно?

— А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

— Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили?

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

— Повествуя так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница, — пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, думает, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталось: тогда по крайней мере владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина; я не без души, — куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?», потому что думали, будто служба им про кого-нибудь доложить пришел; ан, вместо служки, смотрят — входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергей.

Владыко и говорят:

«Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»

А угодник отвечает:

«Я, раб божий Филарет».

Владыко спрашивают:

«Что же твоей чистоте угодно от моего недостойнства?»

А святой Сергей отвечает:

«Милости хочу».

«Кому же повелишь явить ее?»

А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а владыко проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или мечтание, или духовительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именованного, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергей, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оному течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот... такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить... Скажут... числа им нет, сколько рыцарей... несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони что львы, вороны, а впереди их горделивый стратопедарх в таком же уборе, и куда поманет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыко не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте, — говорит, — их: теперь нет их молитвенника», — и проскакал мимо; а за сим стратопедархом — его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и всё кивают владыке грустно и жалостно, и всё сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! — он один за нас молится». Владыко как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и спрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем

растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насили его высокопреосвященство добились, что он повинился: «Виноват,— говорит,— в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишиться, я всегда на святой проскомидии за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь...» Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попка: «Ступай,— изволили сказать,— и к тому не согрешай, а за кого молился — молись»,— и опять его на место отправили. Так вот он, этаким человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них создателю докучать, и тот должен будет их простить.

— Почему же «должен»?

— А потому, что «толщитесь»; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

— А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника за самоубийц разве никто не молится?

— А не знаю, право, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На троицу, не то на духов день, однако, кажется даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

— А их нельзя разве читать в другие дни?

— Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

— А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

— Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я, ведь у службы редко бываю.

— Отчего же это?

— Занятия мои мне не позволяют.

— Вы иеромонах или иеродиакон?

— Нет, я еще просто в рясофоре.

— Все же ведь уже это значит, вы инок?

— Н... да-с; вообще это так почитают.

— Почитать-то почитают,— отозвался на это купец,— но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только по-раздумал немножко и отвечал:

— Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

— Разве вы служили в военной службе?

— Служил-с.

— Что же, ты из ундеров, что ли?— снова спросил его купец.

— Нет, не из ундеров.

— Так кто же: солдат, или вахтер, или помазок — чей возок?

— Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

— Значит, кантонист?— сердясь, добивался купец.

— Опять же нет.

— Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

— Я конэсер.

— Что-о-о тако-о-е?

— Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководства.

— Вот как!

— Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

— Как же вы таких усмиряли?

— Я... я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а правую кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у иной даже инда мозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется,— она и усмиреет.

— Ну, а потом?

— Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

— И лошадь после этого смирно идет?

— Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбилсь и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю колленную чашку и выцелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей присзжал,—«бешеный усмиритель» он назывался,— так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколеник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

— Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

— С божию помощью-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего,— говорю,— это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводах в лошину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в одних шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный поясок от святого храброго князя Всеволода-Гавриила из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: «Чести моей никому не отдам». В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как oprичь в одной — крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более яко в два фунта, а в другой — простой муравный горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводами в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите,— говорю,— скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вам приказываю — вы то сейчас исполнять

должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали): как,— говорят,— это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскрипел зубами — они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза и в ноздри. Он испугался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку шелк... Он ёк да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замузить, а нагайкой еще по другому боку... Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка... Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и наконец оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон лоснул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него шелк, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снесь!» да как дерну его книзу — он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался и ездил, но только скоро издох.

— Издох однако?

— Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

— Что же, вы служили у него?

— Нет-с.

— Отчего же?

— Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конзсер и больше к этой части привык — для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.

— Какая же?

— Хотел у меня секрет взять.

— А вы бы ему продали?

— Да, я бы продал.

— Так за чем же дело стало?

— Так... он сам меня, должно быть, испугался.

— Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?

— Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет — я тебе большие деньги дам и к себе в конзсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? — это глупость». А он все с аглицкой, ученой точки берет, и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что...» — да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примера стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет — и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был

таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.

— Поэтому вы к нему и не поступили?

— Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

— А вы что же почитаете своим призванием?

— А не знаю; право, как вам сказать... Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

— А когда же вы в монастырь пошли?

— Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.

— И тоже призвание к этому почувствовали?

— М... н...н...не знаю, как это объяснить... впрочем, надо полагать, что имел-с.

— Почему же вы это так... как будто не наверное говорите?

— Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?

— Это отчего?

— Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.

— А чьею же?

— По родительскому обещанию.

— И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?

— Всю жизнь свою я погибал, и никак не мог погибнуть.

— Будто так?

— Именно так-с.

— Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.

— Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.

— Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.

— Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

Глава вторая



Бывший конзсер Иван Северьяныч, господин Флягин, начал свою повесть так:

— Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезда, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании, и все равно как в военной

службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха — конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика — кормовик, чтобы с гумна на ворки корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил, и в царский проезд один раз в седьмом номере был, и старинною синею ассигнациею жалован. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее *молитвенный сын*, значит, она, долго детей не имея, меня себе у бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто *Голован*. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни — отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с фореитором были шестерики, и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие, донские — все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смиренные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари, это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе — всё дивятся и даже от стен шарахаются, а всё только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет... И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни лить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато которые оборкаются и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство — строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иваныч, правил киргизским шестериком, а когда я подрост, так меня к нему в этот же шестерик фореитором посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск, все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье... ну то есть, просто сказать, ужась! Устали они никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на фореиторскую подседельную сед, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских фореиторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «дддди-и-и-тт-ты-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями

умогают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну, а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубашке вытянуть. Это форейторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П... пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы замачивее к ним ездить было: преестественно, там на казенной дороге нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыни дорожка в чистоте, разметена вся, и подчищена, и по краям саженными березами обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный... Словом сказать — столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так я держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я завидел тут впереди себя малую точку... что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул «дддд-и-и-и-т-т-т-ы-о-о», и с версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасаясь, крепко-прекрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да, поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами да как полосу его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ныне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз... в вожжи ногами замотался... Мне, и отцу моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у моста, зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается... Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый в пыли и на лице даже носа не значит, а только трещина, и из нее кровь. Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убить». Погрозили мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходитоко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю

«Чего тебе от меня надо? пошел прочь!»

А он отвечает:

«Ты, — говорит, — меня без покаяния жизни решил».

«Ну, мало чего нет, — отвечаю. — Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем, — говорю, — тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено».

«Кончено-то, — говорит, — это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее *моленый сын?*»

«Как же,— говорю,— слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала».

«А знаешь ли,— говорит,— ты еще и то, что ты сын обещанный?»

«Как это так?»

«А так,— говорит,— что ты богу обещан».

«Кто же меня ему обещал?»

«Мать твоя».

«Ну так пускай же,— говорю,— она сама придет мне про это скажет, а ты, может быть, это выдумал».

«Нет, я,— говорит,— не выдумывал, а ей прийти нельзя».

«Почему?»

«Так,— говорит,— потому, что у нас здесь не то, что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь,— говорит,— так я тебе дам знамение в удостоверение».

«Хочу,— отвечаю,— только какое же знамение?»

«А вот,— говорит,— тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы».

«Чудесно,— отвечаю,— согласен и ожидаю».

Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графиней в Воронеж,— к новоявленным мощам маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли,— и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу — опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит:

«Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь — они тебя пустят».

Я отвечаю:

«Это с какой стати?»

А он говорит:

«Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь».

Думаю, ладно; надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

«Смотри, Голован, осторожнее».

А я на это ловек был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был — как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и прах его знает куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню — нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою повадкою форейтор завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу: своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте повадами держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедет. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чувствует, весь рот в крови от Удилов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся... Тормоз лопнул! Я кричу отцу: «Держи! держи!» И он сам орет: «Держи! держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами

у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит... вожжа оборвалась... А впереди та страшная пропасть... Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис... Не знаю опять, сколько тогда во мне веса было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вижу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе, и здоровый мужик говорит мне:

«Ну что, неужели ты, малый, жив?»

Я отвечаю:

«Должно быть, жив».

«А помнишь ли,— говорит,— что с тобою было?»

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямицей; а что дальше было — не знаю.

А мужик и улыбается:

«Да и где же,— говорит,— тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели — расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз как на салазках и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим — ты дышишь, только воздухом дух оморило. Ну, а теперь,— говорит,— если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть».

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

«Вот,— говорит,— мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны».

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

«Проси у меня, Голован, что хочешь,— я все тебе сделаю».

Я говорю:

«Я не знаю, чего просить!»

А он говорит:

«Ну, чего тебе хочется?»

А я думал-думал да говорю:

«Гармонию».

Граф засмеялся и говорит:

«Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию,— говорит,— ему сейчас же купить».

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию:

«На,— говорит,— играй».

Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я, сам не знаю зачем, себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг, и оттого пошел от одной стражи к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.

Глава третья



успел я, по сем благодетельствовании своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилось мне завести у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей — голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются... Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели... Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные... Стал я их, этих голубятюк, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и за-смотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся — все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел; нет, пропал да и полно! Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Ну ничего; другой в гнезде остался, а этого дохлого, откуда ни возьмись, белая кошка какая-то мимо бежала, и подхватила, и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней — пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

«Ну, — думаю, — нет, зачем же, мол, это так делать?» — да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал, — так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут... Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силек, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордюю и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил, и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла. Сем, думаю, испробовать, жива она или нет? и положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и по-бежала.

«Хорошо,— думаю,— теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь»; а чтобы ей еще страшнее было, так я наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит:

«Ага, ага! вот это кто? вот это кто!»

Я говорю:

«Что такое?»

«Это ты,— говорит,— Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколотен?»

Я говорю:

«Ну так что же такое за важность, что хвостик приколотен?»

«А как же ты,— говорит,— это смел?»

«А она, мол, как смела моих голубят есть?»

«Ну, важное дело твои голубята!»

«Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня.»

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

«Что,— говорю,— за штука такая кошка.»

А та стрекоза:

«Как ты эдак смеешь говорить: ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала»,— да с этим ручкою хватя меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу, да ее метлою по талии...

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу-управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить... Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогоже снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить... это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своею жизнью покончить. Прилас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался а оттудова в осиновый лесок за огуменником, стал на колены, помолился за вся христианы, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталось скакнуть, да и вся б недолга была... Я бы все это от своего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется — белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

«Что это,— говорит,— ты, батрак, делаешь?»

«А тебе, мол, что до меня за надобность?»

«Или,— пристаёт,— тебе жить худо?»

«Видно,— говорю,— не сахарно.»

«Так чем своей рукой вешаться, пойдем,— говорит,— лучше с нами жить, авось иначе повиснешь».

«А вы кто такие и чем живете? Вы ведь небось воры?»

«Воры,— говорю,— мы и воры и мошенники.»

«Да; вот видишь,— говорю,— а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?»

«Случается,— говорит,— и это действуем.»

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях да тюп да тюп молоточком камешки бей, а у меня от этого рукомесла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмеваются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все: «А еще,—

говорят, — спаситель называешься: господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

Глава четвертая



ут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

«Чтоб я, — говорит, — тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать».

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, зная в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шею, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию, а цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит:

«Вот тебе твоя доля».

Мне это обидно показалось.

«Как, — говорю, — я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?»

«Потому, — отвечает, — что такая выросла».

«Это, — говорю, — глупости: почему же ты себе много берешь?»

«А опять, — говорит, — потому, что я мастер, а ты еще ученик».

«Что, — говорю, — ученик, — ты это все врешь!» — Да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю:

«Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец».

А он отвечает:

«И отстань, брат; Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься».

Так мы и разошлись, и я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбеглый, но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит:

«Дурак ты, дурак: на что тебе объявляться; есть у тебя десять рублей?»

«Нет, — говорю, — у меня один целковый есть, а десяти рублей нету».

«Ну так, может быть, еще что-нибудь есть, может быть, серебряный крест на шее, или вон это что у тебя в ухе: серьга?»

«Да, — говорю, — это сережка».

«Серебряная?»

«Серебряная, и крест, мол, тоже имею от Митрофания серебряный».

«Ну, скидай, — говорит, — их скорее и давай их мне, я тебе отпускной вид напишу, и уходи в Николаев, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит».

Я ему отдал целковый, крест и сережку, а он мне вид написал и заседателю печать приложил и говорит:

«Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай,— говорит,— и кому еще нужно — ко мне посылай»

«Ладно,— думаю,— хорош милостивец: крест с шеи снял, да еще и жалеет. Никого я к нему не посылал, а все только шел Христовым именем без грошика медного.»

Прихожу в этот город и стал на торжок, чтобы наниматься. Народу наемного самая малость вышла — всего три человека, и тоже все, должно быть, точно такие, как я, полубродяжки, а нанимать выбежало много людей, и всё так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою: сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бранится, а у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный и говори

«Скажи правду: ты ведь беглый?»

Я говорю:

«Беглый».

«Вор,— говорит,— или душегубец, или просто бродяга?»

Я отвечаю:

«На что вам это расспрашивать?»

«А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен.»

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит:

«Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты,— говорит,— верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить: я тебя в няньки беру.»

Я ужаснулся.

«Как,— говорю,— в няньки? я к этому обстоятельству совсем не сроден»

«Нет, это пустяки,— говорит,— пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем, так ты ее мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить».

«Помилуйте,— отвечаю,— тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?»

«Пустяки,— говорит,— ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится».

«Да, что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен».

«А я,— говорит,— на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю: ты ее дой и тем молочком мою дочку воспитывай».

Я задумался и говорю:

«Конечно, мол, с козю отчего дитя не воспитать, но только все бы,— говорю,— кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь»

«Нет, ты мне про женщин, пожалуйста,— отвечает,— не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбери теперь, что тебе лучше опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?»

Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим баринком в лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвос-

тик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиман белье полоскать, — и коза-то, и та к нам привыкла, бывало, за нами тоже гулять идет. Так я дождал до нового лета, и дитя, мое подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:

«Я, — говорит, — тут чем причинен? снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит».

Я понес, а лекарь говорит:

«Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать».

Я так и начал исполнять: выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий теплый день, я заберу и козу и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут везуно, как я стал девочку в песок закапывать да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван! иди, брат Иван!» Встрепенешься, ища вздрогнешь и плюнешь: тыфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскрикались! оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего... Ух, как скучно! пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван! пойдем, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполсна за лиман, и оттоль как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, форейтором бывши, кнутом засек. Я говорю: «Тпружи! пошел прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдем, Иван, брат, пойдем! тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду». А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, послышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь... взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколыхнется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну, — думаю, — опять это мне про монашество пошло!» и с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самого нежного вида, и река-рекой разливается-плачет.

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу: вижу — дама девочку мою из песку выкопала, и схватила ее на руки, и целует, и плачет.

Я спрашиваю ее:

«Что надо?»

А она ко мне и бросилась и жмет дитя к груди, а сама шепчет:

«Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!»

Я говорю:

«Ну так что же в этом такое?»

«Отдай,— говорит,— мне ее».

«С чего же ты это,— говорю,— взяла, что я ее тебе отдам?»

«Разве тебе,— плачет,— ее не жаль? видишь, как она ко мне жметя»

«Жаться, мол, она глупый ребенок — она тоже и ко мне жметя, а отдать я ее не отдам».

«Почему?»

«Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена — вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить».

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

«Ну, хорошо,— говорит,— ну, не хочешь дитя мне отдать, так по крайней мере не сказывай,— говорит,— моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла».

«Это, мол, другое дело,— это я обещаю и исполню».

И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. Все в ямочке сидела а как нас завидела, выскочила, и бежит, и плачет, и смеется, в обеих ручках дитю игрушечки сует, и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку, и кiset с табаком, и расческу.

«Кури,— говорит,— пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить».

И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем а я сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того... замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана... злою мачехой и того... этого мужа своего она не того... говорит, никак не могла полюбить. А того... этого другого-то, ремонтера-то... что ли... этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему... предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь неаккуратной жизни, а этот с этими... ну, как их?... с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто, говорит, он всегда одевается, и меня жалеет, но только же опять я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

«Ну что же, мол, делать: если ты, презрев закон и религию, свой обряд изменила, то должна и пострадать».

А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалости стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала все мне деньги сулить. И наконец пришла последний раз прощаться и говорит:

«Послушай, Иван (она уже имя мое знала), послушай,— говорит,— что тебе скажу: нынче,— говорит,— он сам сюда к нам придет».

Я спрашиваю:

«Кто это такой?»

Она отвечает:

«Ремонтер».

Я говорю:

«Ну так что ж мне за причина?»

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то чтобы я то есть ей ее дочку отдал.

«Ну, уж вот этого, — говорю, — никогда не будет».

«Отчего же, Иван? отчего же? — пристаёт. — Неужто тебе меня и ее не жаль, что мы в разлуке?»

«Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам, а потому все ремонтеровы тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне».

Она плакать, а я говорю:

«Ты лучше не плачь, потому что мне все равно».

Она говорит:

«Ты бессердечный, ты каменный».

А я отвечаю:

«Совсем, мол, я не каменный, а такой же как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный: взялся хранить дитя, и берегу его».

Она убеждает, что ведь, посудни, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

«Опять-таки, — отвечаю, — это не мое дело».

«Неужто же, — вскрикивает она, — неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться?»

«А что же, — говорю, — если ты, презрев закон и религию...»

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи легкой улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтёр, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопахку несёт... силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто... Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним здесь, бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

Глава пятая



Только, решивши себе такую потеху добыть, я думаю: как бы мне лучше этого офицера раздражить, чтобы он на меня нападать стал? и взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему — та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он ее по головке гладит и говорит:

«Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги, — говорит, — раскинем, у него глаза разбежятся; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка», — и с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит:

«Вот, — говорит, — тут ровно тысяча рублей, — отдай нам дитя, а деньги бери и ступай куда хочешь».

А я нарочно невежничая, не скоро ему отвечаю: прежде встал потихонечку; потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил:

«Нет,— говорю,— это твое средство, ваше благородие, не подействует» — а сам взъял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю «Тубо,— пиль, апорт, подними!»

Он огорчился, весь покраснел, да на меня; но мне, сами можете видеть, мою комплекцию,— что же мне с форменным офицером долго справляться: я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю:

«Вот тебе,— говорю,— и храбрость твою под ногой придавлю».

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее да с кулачками ко мне борзо кидается... Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу:

«Возьми же ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!» Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хвать за другую и говорю:

«Ну, тяни его: на чью половину больше оторвется».

Он кричит:

«Подлец, подлец, изверг!»— и с этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии пржеалобно вопит и, насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает... и вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти... А в эту самую минуту от города, вдруг вижу, бежит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит:

«Держи их, Иван! Держи!»

«Ну как же,— думаю себе,— так я тебе и стану их держать! Пускай любятся!»— да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю:

«Нате вам этого пострела! только уже теперь и меня,— говорю,— увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по незаконному паспорту».

Она говорит:

«Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами жить».

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да деньги, да мой паспорт остались.

Всю дорогу я с этими своими новыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы едуци, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? ведь он присягу принимал, и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел... А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба определит; а в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит:

«Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя».

Я говорю:

«Почему же?»

«А потому,— отвечает,— что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет».

«Нет, у меня был,— говорю,— паспорт, только фальшивый».

«Ну вот видишь,— отвечает,— а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с богом куда хочешь».

А мне, признаюсь, ужасно как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил; но делать нечего, говорю:

«Ну, прощайте,— говорю,— покорно вас благодарю на вашем награждении; но только еще вот что».

«Что,— спрашивает,— такое?»

«А то, — отвечаю, — что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил».

Он рассмеялся и говорит:

«Ну что это, бог с тобой, ты добрый мужик».

«Нет-с, это, — отвечаю, — мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь «вы» говорил».

«Это, — отвечает, — правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: «Жалуем вас и повелеваем вас почитать и уважать».

«Ну, позвольте же, — говорю, — я этого никак дальше снести не могу...»

«А что же, — говорит, — теперь с этим делать. Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь».

«Вынуть, — говорю, — нельзя, а по крайности для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить», — и взял обе щеки перед ним надул.

«Да за что же? — говорит, — за что же я тебя стану бить?»

«Да так, — отвечаю, — для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя офицера оскорбил».

Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою. Он спрашивает:

«Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?»

А я говорю:

«Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте, — говорю, — меня с обеих сторон ударить», — и опять щеки надул; а оң вдруг, вместо того чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:

«Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут».

«А! это, мол, иное дело; зачем их огорчать?»

И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего: так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю:

«Куда я теперь пойду?» И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не согрею...

«Шабаш, — думаю, — пойду в полицию и объявлюсь, но только, — думаю, — опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут: дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире поую в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дальше никак невозможно продолжать, и пошел походить. Выхожу за Суру за реку на степь, где там стоят конские косяки, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая-препестрая, а вокруг нее много разных господ занимаются, ездовых коней пробуют. Разные — и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят, а посередине их на пестрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

«Нешто ты, — говорит, — его не знаешь: это хан Джангар».

«Что, мол, еще за хан Джангар?»

А тот и говорит:

«Хан Джангар, — говорит, — первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески, и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь».

«Разве, — говорю, — эта степь не под нами?»

«Нет, она, — отвечает, — под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы»

по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине,— говорит,— хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках говорят, есть свои шихи, и ших-зады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться»

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник стоит? просто статуя великолепный, на которого на самого заглядеться надо и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро соглядает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателен, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока, и сама вся навтыяжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости всё вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: дескать, антик! и опять на кошке, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушми запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли на нее вперебой торговаться: один дает сто рублей, а другой полтора ста и так далее, всё большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонык, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожки; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки легкме точеные, самые уносистые. Я как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость пришла и господа на нее как оглащенные цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на нее, на лебедушку, да и ну ее гонить,— сидит знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется и точно птица летит и не всколыхнет, а как он ей к холочке принагнется да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихорь и воскурится. «Ах ты, змея!— думаю себе,— ах ты, стрепет степной, аспидский! где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстику. Пригонил ее татарчище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю устал сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах ты,— думаю,— милушка; ах ты, милушка!» Кажется, спрости бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел,— но где было о том и думать, чтобы этакого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтерами невесть какая цена слагалась, но и это еще было все ничего, как вдруг, тут еще торг не был кончен и никому она не досталась, как видим, из-за Суры, от Селиксы, гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет, и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице, и стал опять у нее в головах, как и первый статуя, и говорит:

«Моя кобылица».

А хан отвечает:

«Как не твоя: господа мне за нее пятьсот монетов дадут».

А тот всадник, татарчище этакий огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу:

«Сто монетов больше всех даю!»

Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от Суры с другой стороны еще всадник-татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей, и говорит:

«Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобылица!»

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит.

А он отвечает:

«Это,— говорит,— дело зависит от очень большого хана Джангарова понятия. Он,— говорит,— не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом в последний день, михорь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня или двух, что конэсеры не знают что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится, и еще деньги за то получает. Эту его привычку зная, все уже так этого последыша от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел...»

«Диво,— говорю,— какая лошады!»

«Подлинно диво, он ее, говорят, к ярмарке всереде косяка пригонил, и так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про нее не знал, oprичь этих татар, что приехали, да и тем он казал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других отлучил и под Мордовский ишим в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил и продавать стал, и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут и что он, собака, за нее возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?»

«А что, мол, такое: из-за чего нам биться?»

«А из-за того,— отвечает,— что тут страсть что сейчас почнется: и все господа непременно спятятся, а лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет».

«Что же они,— спрашиваю,— очень, что ли, богаты?»

«И богатые,— отвечает,— и озорные охотники: они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучев, а худший, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчиев,— оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают».

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступились от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и всё хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и всё трясутся да кричат; один кричит:

«Я даю за нее, кроме монетов, еще пять голов» (значит пять лошадей),— а другой вопит:

«Врет твоя мордам; я даю десять».

Бакшей Отучев кричит:

«Я даю пятнадцать голов».

А Чепкун Емгурчиев:

«Двадцать».

Бакшей:

«Двадцать пять».

А Чепкун:

«Тридцать».

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет... Чепкун крикнул тридцать, и Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар: я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню»,— и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, кои тут это торговнице зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормозат их, Чепкуна и Бакшей, в разные стороны, в бока их тычут, угоняют.

Я спрашиваю у соседа:

«Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?»

«А вот видишь,— говорит,— этим князьям, которые их разнимают, им Чепкун с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честию кобылицу уступили».

«Как же,— спрашиваю,— можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может».

«Отчего же,— отвечает,— азиаты народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно именоване терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия наперепор пустят».

Я любопытствую:

«Что же, мол, такое это значит: «наперепор».

А тот мне отвечает:

«Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается».

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчеев оба будто стигшали и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

«Сгодá!»— дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

«Сгодá: поладили!»

И оба враз с себя и халаты долой, и бешметы, и чевяки сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались, и плюх один против другого, сели на землю, как курохтаны степные, и сидят.

В первый раз мне этакое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет? А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают:

«Сейчас, бачка, сейчас».

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит руках две здоровые нагайки и сравнял их в руках и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем: «Глядите,— говорит,— обе штуки ровные».

«Ровные,— кричат татарва,— все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают».

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татарин и говорит им: «подождите», и сам им эти нагайки подал одну Чепкуну, а другую Бакшее, да ладошками хлопает тихо, раз, два и три... И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его Да и пошли эдак один другого потчевать: в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с нагайками порются... Ух, как они знатно пороллись! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже вытолбенели и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомца:

«Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?»

«Да,— отвечает,— тоже такой поединок, только это,— говорит,— не насчет чести, а чтобы не расходоваться».

«И что же,— говорю,— они эдак могут друг друга долго сечь?»

«А сколько им,— говорит,— похочется и сколько силы станет».

А те всё хлещутся, а в народе за них спор пошел: одни говорят: «Чепкун Бакшею перепорет», а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьет», и кому хочется, об заклад держат — те за Чепкуна, а те за Бакшею, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надежнее, за того и держат. Человек, с которым

я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшея держать, а потом говорит:

«Ах, квит, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшея собьет».

А я говорю:

«Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидят».

А тот мне отвечает:

«Сидят-то, — говорит, — они еще оба ровно, да не одна в них повадка».

«Что же, — говорю, — по моему мнению, Бакшей еще ярче стегает».

«А вот то, — отвечает, — и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его заперет».

«Что это, — думаю, — такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же, — размышляю, — должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомцу пристаю.

«Скажи, — говорю, — милый человек, отчего ты теперь за Бакшея опасешься?»

А он говорит:

«Экой ты пригородник глупый! ты гляди, — говорит, — какая у Бакшея спина».

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.

«А видишь, — говорит, — как он бьет?»

Гляжу, и вижу тоже, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет.

«Ну, а теперь сообрази, как он нутрём действует?»

«Что же, мол, такое нутрём?» — я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит:

«Вот это-то и худо: спина велика, по ней весь удар просторно ложится; шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет».

«Что же, — спрашиваю, — стало быть, Чепкун надежней?»

«Непременно, — отвечает, — надежнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, и спиночка у него как лопата коробленая, по ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрехвала поливает, не частит, а с повадочкой, и плеть сразу не отхватывает, а под нею коже напухать дает. Вон она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и как котел посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожичка как на жареном поросенке трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет, и он Бакшея заперет. Понимаешь ты это теперь?»

«Теперь, — говорю, — понимаю», — точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?»

«А еще самое главное, — указывает мой знакомец, — замечай, — говорит, — как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнет и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет, — это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил, это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет».

Я все эти его любопытные примеры на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна и в Бакшея, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопели и губы веревочкой собралась и весь оскал открыли... И точно, глядим, Бакшей еще раз двадцать Чепкуна стеганул и все раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунову руку выпустил, а свою правую все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тут мой знакомый говорит: «Шабаш, пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат:

«Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умнай башка — совсем пересек Бакшея садись — теперь твоя кобыла».

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит:

«Твоя, твоя, Чепкун, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай».

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего виду болезни не дает, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот, — думаю, — все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет», — а мне страх как не хотелось про это думать.

Но только, спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне:

«Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет».

Я говорю:

«Чему же еще быть? все кончено».

«Нет, — говорит, — не кончено, ты смотри, — говорит, — как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит: это он непременно еще про себя что-нибудь думает самое азиатское».

Ну, а я себе думаю: «Ах, если еще что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!»

Глава шестая



что же вы изволите полагать
Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшея взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит, — по-нашему, по-орловски, дергач зовется; крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны, — настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой несся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этаким легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища, и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

— Как он ваш стал? — перебили рассказчика удивленные слушатели.

— Так-с, мой, по всем правам мой, но только на одну минутку, а каким манером извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встал, а против них, точно ровня им, встался татарин Савакирей, этаким коротыш небольшой, но крепкий, верчливый, голова бритая, словно точеная, и круглая, буд то молодой кочешок крепенький, а рожа как морковь красная, и весь он будто огорожина какая здоровая и свежая. Кричит: «Что, — говорит, — по-пустом карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где им с этим татаринком сечься, он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упрямился, говорю:

«Сделайте такую милость: мне хочется».

Ну, так и сделали.

— Вы с этим татаринком... что же... секли друг друга?

— Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую, и жеребенок мне достался.

— Значит, вы татарина победили?

— Победил-с, не без труда, но пересилил его.

— Ведь это, должно быть, ужасная боль.

— Ммм... как вам сказать... Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно поговому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на óпух биты, чтобы кровь не спускать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлобыснет, я сам под нагайкой спиною поддерну, и так приноровился, что сейчас шкурку себе и сорву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.

— Как запорол, неужто совершенно до смерти?

— Да-с, он через свое упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало,— отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик и, видя, что слушатели все смотрят на него если не с ужасом, то с немым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

— Видите,— продолжал он,— это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынь-песках первый батырь считался и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно, потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

— И сколько же вы насчитали ударов?— перебили рассказчика.

— А вот наверно этого сказать не могу-с, помню, что я сосчитал до двести до восьмидесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока, я и сбился на минуту и уже так, без счета пушал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам, как кукла, на меня вперед и упал: посмотрели, а он мертвый... Тыфу ты, дурак эдакий! до чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал. Татарва — те ничего: ну, убил и убил: на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, да же досадно, как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:

«Ну, вам что такого? что вам за надобность?»

«Как,— говорят,— ведь ты азиата убил?»

«Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек?»

«Он,— говорят,— тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя,— говорят,— по христианству надо судить. Пойдем,— говорят,— в полицию».

Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина, да за другого. Шепчу им:

«Спасайте, князь: сами видели, все это было на честном бою...»

Они сжались, и пошли меня друг за дружку перепахивать, и скрыли.

- То есть позвольте... как же они вас *скрыли*?
- Совсем я с ними бежал в их степи.
- В степи даже!
- Да-с, в самые Рынь-пески.
- И долго там провели?
- Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назад убежал.
- Что же, вам понравилось или нет в степи жить?
- Нет-с; что же там может нравиться? скучно, и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.
- Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?
- Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы,— говорят,— тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь,— коней нам лечи и бабам помогай».
- И вы лечили?
- Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих их, и скотину всю, и коней и овец, всего больше жен ихних, татарок, пользовал.
- Да вы разве умеете лечить?
- Как бы вам это сказать... Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит — я сабуру дам или калганного корня, и пройдет, а сабуру у них много было, — в Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.
- И обжились вы с ними?
- Нет-с, постоянно назад стремился.
- И неужто никак нельзя было уйти от них?
- Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я наверно, давно бы назад в отечество ушел.
- А у вас что же с ногами случилось?
- Подщетилен я был после первого раза.
- Как это?.. Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит что вы были *подщетилены*?
- Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван,— ты,— говорят,— нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем»; ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.
- Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?
- Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать: тебе тогда легче будет», и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стружкой зашил. После этого тут они меня, точно дён несколько держали руки связавши,— всё боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь,— говорят,— здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никогда не уйдешь».
- Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо колелся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.
- «Что же это,— говорю,— вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы

меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу».

А они говорят:

«Ничего, Иван, ничего, что ты по пустому делу обижаешься».

«Какое же,— говорю,— это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?»

«А ты,— говорят,— присноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскоряком на косточках ходи».

«Тьфу вы, подлецы!»— думаю я себе и от них отвернулся и говорить не стал, и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорякою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал,— скука смертная одолела, и стал присноравливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нимало не смеялись, а еще говорили:

«Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь».

— Экое несчастье, и как же вы это пустились уходить и опять попались?

— Да невозможно-с; степь ровная, дорог нет, и есть хочется... Три дня шел, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод, и воды нет... Как идти?.. Так и упал, а они отыскивали меня и взяли и подшетнили.

Некто из слушателей заметил по поводу этого подшетнивания, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

— Попервоначалу даже очень нехорошо,— отвечал Иван Северьяныч,— да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились.

«Теперь,— говорят,— тебе Иван, самому трудно быть, тебе ни воды приносить, ни что прочее для себя стотовать неловко. Бери,— говорят,— брат, себе теперь Наташу;— мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай».

Я говорю:

«Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало». Ну, они меня сейчас без спора и женили.

— Как! женили вас на татарке?

— Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересек, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели, эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцати... Сказали мне:

«Возьми, Иван, еще эту Наташу, эта будет утешнее».

Я и взял.

— И что же: эта точно была для вас утешнее?— спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да,— отвечал он,— эта вышла поутишнее, только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

— Как же она баловалась?

— А разное... Как ей, бывало, вздумается; на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тибетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, а она хохочет, заливается, да, как русалка, бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать — шлепнешься, да и сам рассмеешься.

— А вы там, в степи, голову брили и носили тибетейку?

— Брил-с.

— Для чего же это? верно, хотели нравиться вашим женам?
— Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.
— Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?
— Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонил от Отучева, мне еще две дали.

— Позвольте же, — запытал опять один из слушателей, — как же вас могли угнать?

— Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчиева и лет пять подряд жил в емгурчиевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и ших-зяды, и мало-зяды, и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

— Это которого Чепкун сек?

— Да-с, тот самый.

— Как же это... Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что он так порол его и лошадь у него отбил?

— Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего; а только хан Джангар мне точно, один раз выговаривал... «Эх, — говорит, — Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сеешься сел, я, — говорит, — было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».

«Никогда бы, — отвечаю ему, — ты этого не дождал».

«Отчего?»

«Оттого, что наши князья, — говорю, — слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная».

Он понял.

«Я так, — говорит, — и видел, что из них, — говорит, — настоящих охотников нет, а всё только если что хотят получить, так за деньги».

«Это, мол, верно: они без денег ничего не могут». Ну, а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил: набрал я с собою сабуру и калганного корня и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скакали.

— И вы верхом ехали?

— Верхом-с.

— А как же ваши ноги?

— А что же такое?

— Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

— Ничего; это у них хорошо приноровлено: они эдак кого волосом подщипывают, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщипанный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом привыкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

— Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

— Опять и еще жесточе погибал.

— Но не погибли?

— Нет-с, не погиб.

— Сделайте же милость, расскажите: что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

— Извольте.

Глава седьмая



как Агашимолова татарва пригнали со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

«Что,— говорят,— тебе там, Иван, с Емгурчеевыми жить,— Емгурчей вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим».

Я отказался.

«На что,— говорю,— мне их больше? мне больше не надо».

«Нет,— говорят,— ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тяткой кричать будут».

«Ну,— говорю,— легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же: сколько у их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут». Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.

— Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?

— Как-с?

— Этих новых жен своих вы любили?

— Любить?.. Да, то есть вы про это? ничего, одна, что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего... сожалел.

— А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была? она вам, верно, больше нравилась?

— Ничего; я и ее жалел.

— И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

— Нет; скучать не скучал.

— Но ведь у вас, верно, и там от тех от первых жен дети были?

— Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парю принесла.

— Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их всё так называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У них всё если взрослый русский человек — так Иван, а женщина — *Наташа*, а мальчиков они *Кольками* кличут, так и моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек *Кольками*. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал.

— Как же не почитали за своих? почему же это так?

— Да что же их считать, когда они некрещенные-с и миром не мазаны.

— А чувства-то ваши родительские?

— Что же такое-с?

— Да неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их никогда?

— Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «ступай к матери», но только это редко доводилось потому мне не до них было.

— А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

— Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.

— Так вы и в десять лет не привыкли к степням?

— Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зноя попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... в одну сторону и в другую — все одинаково... Знойный вид, жестокий; простор — краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овдой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет... Зришь сам не знаешь куда, вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:

— Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит... Одурение от этого блеску даже хуже, чем от ковыля, делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизее или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну, а тут все одно блыщание... Там где-нибудь огонь палом по траве пойдет, — суета поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать... Все от этого развлечение. А потом по старому палу опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в воздухе чирканье... А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка, дикий персичек или чилизник... И когда на восходе солнца туман росой садится, будто прохладою пахнёт, и идут от растения запахи... Оно, разумеется, и при всем этом скучно но все еще перенести можно, но на солончаке не приведи господи никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там — погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточки самая непримечательная, а только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит — не знаю, но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи и, глядишь опять схватилась и опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так как барана тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке; снег малый, только чуть траву укроет и залубенит — татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят... И вот тут они со скуки тоже часто между собою порют. Тогда выйдешь, и глянуть не я что: кони нахохряты и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку гложут, тем и питаются, — это и называется *тюбенькуют*... Несомно. Только и рассеяния, что если заметишь, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может — снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колот и шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно вроде как коровье вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна

жена умела еще коневью ребра коптить: возьмет как есть коневью ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего, сходнее есть можно, потому что оно по крайней мере запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут, щи с зашеиной варят жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним дьяки, попадьи и дьячихи идут, и с семинаристами, и все навеселе, а сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет попотчует, отец Илья и раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький: в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уж более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что посмачнее из съестного увидит, просит: «Дайте, — говорит, — мне в газетную бумажку, я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нету, мол, батюшка, у нас газетной бумаги», — он не сердится, а возьмет так просто и не завернувши своей попадейке передаст, и дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с детства памятное житье вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастья отлучен, и столько лет на духу не был, и живешь невенчаный, и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и... дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться... и молишься... так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали — утром травку увидишь.

Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний; но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с головы свой монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил:

— А все прошло, слава богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосаюню сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и Колек и попал в монастырь?

Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полной откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.

Глава восьмая



орожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавился от своей щетинки и ушел из плена? Он поведал об этом следующее сказание:

— Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидеть свое

отечество. Помышление об этом даже мне казалось невозможным, и стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуя бесчувственный, и больше ничего; а иногда думаю, что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит, бывало, на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих и плененных», а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачем? разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем так молятся, но не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости сказать, хоша не неверую, а смущаюсь, и сам молиться не стал.

«Что же,— думаю,— молить, когда ничего от того не выходит».

А между тем вдруг однажды слышу-послышу: татарва что-то сумятыся

Я говорю:

«Что такое?»

«Ничего,— говорят,— из вашей стороны два муллы пришли, от белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять».

Я бросился, говорю:

«Где они?»

Мне показали на одну шурту, я и пошел туда, куда показали. Прихожу и вижу: там собралось много ших-задов, и мало-задов, и мамов, и дербышей, и все поджав ноги, на кошмах сидят, а посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания; стоят оба посреди этого сброда и слову божьему татар учат.

Я их как увидал, взрадовался, что русских вижу, и сердце во мне затрепетало и упал я им в ноги и зарыдал. Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули:

«А что? а что? видите! видите? как действует благодать, вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета».

А татары отвечают, что это, мол, ничего не действует: это ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает.

Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский а я и встрял сам:

«Нет,— я говорю,— я, точно, русский! Отцы,— говорю,— духовные! смилуйтесь, выручите меня отсюда! я здесь уже одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите, как изувечен: ходить не могу».

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дело продолжать: всё проповедуют.

Я думаю: «Ну, что же на это роптать: они люди должностные, и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтись»,— и оставил, а выбрал такой час, что они были одни в особой ставке, и кинулся к ним и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокою участь претерпеваю и прошу их:

«Попугайте,— говорю,— их, отцы-благодетели, нашим батюшкой белым царем: скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать, или, еще лучше, выкуп за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я,— говорю,— здесь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вам полезным человеком быть».

А они отвечают:

«Что,— говорят,— сыне: выкупу у нас нет, а пугать,— говорят,— нам неверных не позволено, потому что и без того люди лукавые и непреданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем».

«Так что же,— говорю,— стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них пропадать?»

«А что же,— говорят,— все равно, сыне, где пропадать, а ты молись: у бога много милости, может быть, он тебя и избавит».

«Я, мол, молился, да уже сил моих нет и упование отложил».

«А ты,— говорят,— не отчаявайся, потому что это большой грех!»

«Да я,— говорю,— не отчаяваюсь, а только... как же вы это так... мне это очень обидно, что вы русские и земляки, и ничего пособить мне не хотите».

«Нет,— отвечают,— ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид: наши земляки все послушенствующие. Нам все равны, все равны».

«Все?»— говорю.

«Да,— отвечают,— все, это наше научение от апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся... это нам не подобает. Ты раб и, что делать, терпи, ибо и по апостолу Павлу,— говорят,— рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего, твоей душе и без нас врата в рай уже отверзты, а эти во тьме будут, если мы их не присоединим, так мы за них должны хлопотать».

И показывают мне книжку.

«Вот ведь,— говорят,— видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано,— это всё мы столько людей к нашей вере присоединили!»

Я с ними больше и говорить не стал и не видел их больше, как окромя одного, и то случаем: пригонил отколь-то раз один мой сынишка и говорит:

«У нас на озере, тятка, человек лежит».

Я пошел посмотреть: вижу, на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты, татарва это искусно делают: обчертит да дернет, так шкуру и снимет,— а голова этого человека в стороне валяется, и на лбу крест вырезан.

«Эх,— думаю,— не хотел ты за меня, земляк, похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот сподобился и венец страдания принял. Прости меня теперь ради Христа!»

И взял я его перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли и закопал, и «Святой боже» над ним пропел,— а куда другой его товарищ делся, так и не знаю; но только тоже, верно, он тем же кончил, что венец приял, потому что у нас после по орде у татарок очень много образков пошло, тех самых, что с этими миссионерами были.

— А эти миссионеры даже и туда, в Рынь-пески, заходят?

— Как же-с, они ходят, но только всё без пользы без всякой.

— Отчего же?

— Обращаться не знают как. Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им бога смирного проповедывают. Это попервоначалу никак не годится, потому что азиат смирного бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет.

— А главное, надо полагать, идучи к азиятам, денег и драгоценностей не надо при себе иметь.

— Не надо-с, а впрочем, все равно они не поверят, что кто-нибудь пришел да ничего при себе не принес; подумают, что где-нибудь в степи закопал, и пытать станут, и запытают.

— Вот разбойники!

— Да-с; так было при мне с одним жидовином: старый жидовин невесть откуда пришел и тоже о вере говорил. Человек хороший, и, видно, к вере своей усердный, и весь в таких лохмотках, что вся плоть его видна, а стал говорить про веру, так даже, кажется, никогда бы его не перестал слушать. Я с ним попервоначалу было спорить зачал, что какая же, мол, ваша вера, когда у вас святых нет, но он говорит: есть, и начал по талмуду читать, какие у них бывают святые... очень занятно, а тот талмуд, говорит, написал раввин Иовоз бен Леви, который был такой ученый, что грешные люди на него смотреть не могли; как взглянули, сейчас все умирали, через что бог позвал его перед самого себя и говорит: «Эй ты, ученый раввин, Иовоз бен Леви! то хорошо, что ты такой ученый, но только то нехорошо, что чрез тебя все мои жидки могут умирать. Не на то, говорит, я их с Моисеем через степь перегнал и через

море переправил. Пошел-ну ты за это вон из своего отечества и живи там, где бы тебя никто не мог видеть». А раввин Леви как пошел, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею, и пребывал в песке тринадцать лет, а хотя же и был засыпан по шею но всякую субботу приготавлиал себе агнца, который был печен огнем, с небес нисходящим. И если комар или муха ему садилась на нос, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчас были пожираемы небесным огнем... Азиятам это очень понравилось про ученого раввина, и они долго сего жидовина слушали, а потом приступили к нему и стали его допрашивать: где он, идучи к ним, свои деньги закопал? Жидовин, батюшки, как клялся, что денег у него нет, что его бог без всего послал, с одной мудростью, ну, однако, они ему не поверили, а сгребли уголья, где костер горел, разостлали на горячую золу коневью шкуру положили на нее и стали потряхивать. Говори им да говори: где деньги? А как видят, что он весь почернел и голосу не подает:

«Стой,— говорят,— давай мы его по горло в песок закопаем: может быть ему от этого проходит».

И закопали, но, однако, жидовин так закопанный и помер, и голова его долго потом из песку чернелась, но дети ее стали пугаться, так срубили ее и в сухой колодез кинули.

— Вот тебе и проповедай им!

— Да-с; очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки были

— Были?!

— Были-с; его потом волки тревожить стали и шакалки, и всего по кусочкам из песку повытаскали, и наконец добрались и до обуви. Тут сапожонки растормошили, а из подметки семь монет выкатились. Нашли их потом.

— Ну, а как же вы-то от них вырвались?

— Чудом спасен.

— Кто же это чудо сделал, чтобы вас избавить?

— Талафа.

— Это кто же такой этот Талафа: тоже татарин?

— Нет-с; он другой породы, индийской, и даже не простой индеец, а ихний бог на землю сходящий.

Упрошенный слушателями, Иван Северьяныч Флягин рассказал нижеследующее об этом новом акте своей житейской драмокомедии.

Глава девятая



осле того как татары от наших мисанеров избавились, опять прошел без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поюжнее, к Каспию, и тут вдруг одного дня перед вечером пригнали к нам два человека, ежели только можно их за человекав считать. Кто их знает, какие они и откуда и какого рода и звания. Даже языка у них никакого настоящего не было, ни русского, ни татарского а говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя невесть покаковски. Оба не старые, один черный, с большой бородой, в халате, будто и на татарина похож, но только халат у него не пестрый, а весь красный, и на башке

острая персианская шапка; а другой рыжий, тоже в халате, но этакий штуковатый: всё ящички какие-то при себе имел, и сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит, он с себя халат долой снимет и остается в одних штанцах и в курточке, а эти штанцы и курточка по-такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает, а что такое у него там содержалось? — лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы пришли коней закупать и хотят там у себя дома с кем-то войну делать, а с кем — не сказывают, но только все татарву против русских подушают. Слышу я, этот рыжий, — говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски «нат-шалыник» и плюнет; но денег с ними при себе не было, потому что они, азиаты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выедешь, а манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью, перегнать и там расчет сделать. Татарва и туда и сюда мыслями рассеялись и не знают: согласиться на это или нет? Думают, думают, словно золото копают, а, видно, чего-то боятся.

А те их то чество уговаривали, а потом тоже и пугать начали.

«Гоните, — говорят, — а то вам худо может быть: у нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится».

Татары того бога не знают и сомневаются, что он им сделать может в степи зимою с своим огнем, — ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал, в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею же ночью свою силу покажет, только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не высказывайте, а то он сожжет. Разумеется, всем это среди скуки степной, зимней, ужась как интересно, и все мы хотя немножко этой ужаси боимся, а рады посмотреть: что такое от этого индийского бога будет; чем он, каким чудом проявится?

Позабрались мы с женами и с детьми под ставки рано и ждем... Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то как вьюга прошипело и хлопнуло, и сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются, и ребята заплакали.

Я говорю:

«Цыты! заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали».

Те зацмокнули, и стало опять тихо, а в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел... зашипело и опять лопнуло...

«Ну, — думаю, — однако, видно, Талафа-то не шутка!»

А он мало спустя опять зашипел, да уже совсем на другой манер, — как птица огненная, выпорхнул с хвостом, тоже с огненным, и огонь необыкновенно какой, как кровь красный, а лопнет, вдруг все желтое делается и потом синее станет.

По становищу, слышу, все как умерло. Не слышать этого, разумеется, никому нельзя этой пальбы, но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля враз вздрогнет, затрясется и опять станет. Это, можно разуметь, кони шарахаются и всё в кучу теснятся, да слышно раз было, как эти хивяки или индийцы куда-то пробегли, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем... Кони как зынули на то, да и понеслись... Татарва и страх позабыли, все повывскакали, башками трясут, вопят: «Алла! Алла!» — да в погоню, а те, хивяки, пропали, и следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память... Вот тут как все наши баыри угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляделся до этого ящика: что там такое? Вижу, в нем разные земли, и снадобья, и бумажные трубки: я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет, чуть мне огнем все глаза не выжгло, и вверх полетела, а там... бббаххх, звездами рассыпало... «Эге, — думаю себе, — да это, должно, не бог, а просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали, — да опять как из другой трубки бабахну, а гляжу, татары, кои тут старики остались, уже и повали-

лись и ничком лежат кто где упал да только ногами дрыгают... Я было попервоначалу и сам испугался, но потом как увидал, что они этак дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел и, с тех пор как в полон попал, в первый раз как заскриплю зубами, да и ну на них вслух какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче:

«Парле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтур-мин-адью-мусью!»

Да еще трубку с вертуном выпустил... Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнем ходит, все как умерли... Огонь погас, а они всё лежат, и только нет-нет один голову поднимет, да и опять сейчас мордою вниз, а сам только пальцем кивает зовет меня к себе. Я подошел и говорю:

«Ну, что? признавайся, чего тебе, проклятому: смерти или живота?», потому что вижу, что они уже страсть меня боятся.

«Прости,— говорят,— Иван, не дай смерти, а дай живота».

А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и всё прощенья и живота просят.

Я вижу, что хорошо мое дело заиграло: верно, уже я за все свои грехи оттерпелся, и прошу:

«Мать пресвятая владычица, Николай Угодник, лебедки мои, голубчики помогите мне, благодетели!»

А сам татар строго спрашиваю:

«В чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать?»

«Прости,— говорят,— что мы в твоего бога не верили».

«Ага,— думаю,— вон оно как я их пугнул»,— да говорю: «Ну уж нет, братцы врете, этого я вам за противность религии ни за что не прощу!» Да сам опять зубами скрип да еще трубку распечатал.

Эта вышла с ракиетою... Страшный огонь и треск.

Кричу я на татар:

«Что же: еще одна минута, и я вас всех погублю, если вы не хотите в моего бога верить».

«Не губи,— отвечают,— мы все под вашего бога согласны подойти».

Я и перестал фейверки жечь и окрестил их в речечке.

— Тут же, в это самое время и окрестили?

— В эту же самую минуту-с. Да и что же тут было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочел «во имя отца и сына», и крестики, которые от мисанеров остались, понадевал на шеи, и велел им того убитого мисанера чтобы они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал.

— И они молились?»

— Молились-с.

— Ведь они же никаких молитв христианских, чай, не знали, или вы их выучили?

— Нет; учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора, а велел им: молитесь, мол, как до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так приняли сие исповедание.

— Ну, а потом как же все-таки вы от этих новых христиан убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились?

— А потом я нашел в тех фейверках едкую землю; такая, что чуть ее к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил и притворился, будто я болен, а сам себе все, под кошмой лежа, этой едкостью пятки растравливал и в две недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась и вся та щетина, которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмогнул, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало, и наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усердней за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимью

пост, и три дня я им за юрты выходить не велел, а для большей еще острастки самый большой фейверк пустил и ушел...

— Но они вас не догнали?

— Нет; да и где им было догонять: я их так запостил и напугал, что они небось радешеньки остались и три дня носу из юрт не казали, а после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал.

— И все пешком?

— А то как же-с, там ведь не проезжая дорога, встретить некого, а встретишь, так не обрадуешься, кого обретишь. Мне на четвертый день чувашин показался, один пять лошадей гонит, говорит: «Садись верхом».

Я поопасался и не поехал.

— Чего же вы его боялись?

— Да так... он как-то мне неверен показался, а притом нельзя было и разоб-
рать, какой он религии, а без этого на степи страшно. А он, бестолковый, кричит:
«Садись, — кричит, — веселей, двое будем ехать».

Я говорю:

«А кто ты: может быть, у тебя бога нет?»

«Как, — говорит, — нет: это у татарина бока нет, он кобылу ест, а у меня есть
бок».

«Кто же, — говорю, — твой бог?»

«А у меня, — говорит, — всё бок: и солнце бок, и месяц бок, и звезды бок...
все бок. Как у меня нет бок?»

«Все!.. гм... все, мол, у тебя бог, а Иисус Христос, — говорю, — стало быть, тебе
не бог?»

«Нет, — говорит, — и он бок, и богородица бок, и Николач бок...»

«Какой, — говорю, — Николач?»

«А что один на зиму, один на лето живет».

Я его похвалил, что он русского Николая Чудотворца уважает.

«Всегда, — говорю, — его почитай, потому что он русский», — и уже совсем бы-
ло его веру одобрил и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо, разболтался и вы-
казался.

«Как же, — говорит, — я Николача почитаю: я ему на зиму пушай хоть не
кланяюсь, а на лето ему двугривенный даю, чтоб он мне хорошенько коровок берег,
да! Да еще на него одного не надеюсь, так Керемети бычка жертвую».

Я и рассердился.

«Как же, — говорю, — ты смеешь на Николая Чудотворца не надеяться и ему,
русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой целого быч-
ка! Пошел прочь, — говорю, — не хочу я с тобою... я с тобою не поеду, если ты так
Николая Чудотворца не уважаешь».

И не поехал: зашагал во всю мочь, не успел опомниться, смотрю, к вечеру
третьего дня вода завиднелась и люди. Я лег для опаски в траву и высматриваю:
что за народ такой? Потому что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не по-
пасть, но вижу, что эти люди пищу варят... Должно быть, думаю, христиане.
Подполоз еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьют, — ну, значит, русские!.. Тут
я и выскочил из травы и объявился. Это, вышло, ватага рыбная: рыбу ловили. Они
меня, как надо землякам, ласково приняли и говорят:

«Пей водку!»

Я отвечаю:

«Я, братцы мои, от нее, с татарвой живучи, совсем отвык».

«Ну, ничего, — говорят, — здесь своя нация, опять привыкнешь: пей!»

Я налил себе стаканчик и думаю:

«Ну-ка, господи благослови, за свое возвращение!» — и выпил, а ватажники
пристают, добрые ребята.

«Пей еще! — говорят, — ишь ты без нее как зачичкался».

Я и еще одну позволил и сделался очень откровенный: все им рассказал: откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им, у огня сидя, рассказывал и водку пил и все мне так радостно было, что я опять на святой Руси, но только под утро этак уже костерок стал тухнуть и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне:

«А паспорт же у тебя есть?»

Я говорю:

«Нет, нема».

«А если,— говорит,— нема, так тебе здесь будет тюрьма».

«Ну так я,— говорю,— я от вас не пойду; а у вас небось тут можно жить и без паспорта?»

А он отвечает:

«Жить,— говорит,— у нас без паспорта можно, но помирать нельзя».

Я говорю:

«Это отчего?»

«А как же,— говорит,— тебя поп запишет, если ты без паспорта?»

«Так как же, мол, мне на такой случай быть?»

«В воду,— говорит,— тебя тогда бросим на рыбное пропитание».

«Без попа?»

«Без попа».

Я, в легком подпитии будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеется.

«Я,— говорит,— над тобою шутил: помирай смело, мы тебя в родную землю зароем».

Но я уже очень огорчился и говорю:

«Хороша, мол, шутка. Если вы этак станете надо мною часто шутить, так я и до другой весны не доживу».

И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь, и пришел в Астрахань, заработал на поденщине рубль и с того часу столь усердно записал, что не помню, как очутился в ином городе, и сижу уже я в остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в свое имение доставили. Графиня, которая меня за кошких хвост сечь приказывала, уже померла, а один граф остался, но тоже очень состарился, и богомольный стал, и конскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришел, он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе, и я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать и на три года не разрешает мне причастия...

Я говорю:

«Как же так, батюшка, я было... столько лет не причащамшись... ждал...»

«Ну, мало ли,— говорит,— что; ты ждал, а зачем ты,— говорит,— татарок при себе вместо жен держал... Ты знаешь ли,— говорит,— что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю, а если бы тебя взятъся как должно по правилу святых отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь, но только ты,— говорит,— этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется».

«Ну что же,— думаю,— останься хоть так, без причастия, дома поживу, отдохну после плена»,— но граф этого не захотели. Изволили сказать:

«Я,— говорят,— не хочу вблизи себя отлученного от причастия терпеть»

И приказали управителю еще раз меня высечь с оглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось: выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадню себя тут-то почувствовал, через столько лет совершенно свободным человеком с законною бумагою, и пошел. Намерения у меня никаких определительных не было, но на мою долю бог послал практику.

- Какую же?
- Да опять все по той же, по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг и еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет.
- Что же это такое, если можно спросить?
- Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи.
- Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала?
- Магнетизм-с.
- Как! магнетизм?!
- Да-с, магнетическое влияние от одной особы.
- Как же вы чувствовали над собой ее влияние?
- Чужая воля во мне действовала, и я чужую судьбу исполнял.
- Вот тут, значит, к вам и пришла *ваша* собственная погибель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить матушкино обещание, и пошли в монастырь?
- Нет-с, это еще после пришло, а до того со мною много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение.
- Вы можете рассказать и эти приключения?
- Отчего же-с; с большим моим удовольствием.
- Так пожалуйста.

Глава десятая



Взявши я паспорт, пошел без всякого о себе намерения, и пришел на ярмарку, и вижу, там цыган мужику лошадь меняет и безбожно его обманывает; стал ее силу пробовать, и своего конишку в просяной воз заложил, а мужикову лошадь в яблочный. Тяга в них, разумеется, хоть и равная, а мужикова лошадь преет, потому что ее яблочный дух обморачивает, так как коню этот дух страшно неприятен, а у цыгановой лошади, кроме того, я вижу, еще и обморок бывает, и это сейчас понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь ставлен, а цыган говорит: «Это бородавка». А мне мужика, разумеется, жаль, потому ему на оморочной лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, да и все тут, а к тому же я цыганов тогда смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить, и впереди, вероятно, еще иное предчувствовал, как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужичку и открыл, а как цыган стал со мною спорить, что не огонь жжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку, он сейчас и шлеп на землю и закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, а они мне за это вина, и угощенья, и две гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло: и капитал расти и усердное пьянство, и месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо: обвешался весь бляхами и коновальскою сброею и начал ходить с ярмарки на ярмарку и везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и всё магарычи пью; а между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно, что божия гроза, и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один,

и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужика не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толь- знаю, но, разумеется, все это было пустяки: к коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому, кому угодно, преподать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит.

— Отчего же это не послужит в пользу?

— Не поймет-с никто, потому что на это надо не иначе как иметь дар природный, и у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все втуне осталось, но позвольте, об этом после.

Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтер, князь, мне сто рублей давал:

«Открой,— говорит,— братец, твой секрет насчет понимания. Мне это дорого стоит».

А я отвечаю:

«Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дарование

Ну, а он пристаёт:

«Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь? А чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь,— вот тебе сто рублей».

Что тут делать? Я пожал плечами, завязал деньги в тряпицу и говорю: извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать; если не выучитесь и насколько вам от того пользы не будет, за это я не отвечаю

Он, однако, был и этим доволен и говорит: «Ну уж это не твоя беда, сколько я научусь, а ты только сказывай».

«Первое самое дело,— говорю,— если кто насчет лошади хочет знать, что она в себе заключает, тот должен иметь хорошее расположение в осмотре и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову и потом всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают. Тронет за зашеину, за челку, за храпок, за обрез и за грудной сокол или еще за что попало а все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник как этакую военную латюху увидал, сейчас начнет перед ним конем крутить, вертеть, во все стороны поворачивать, а которую часть не хочет показать, той ни за что не покажет, а там-то и фальшь, а фальшей этих бездна: конь выслуох — ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут, и зашьют, и замажут, и он оттого ушки подберет, но ненадолго: кожа ослабнет, и уши развиснут. Если уши велики,— их обрезают,— а чтобы ушки прямо стояли в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает и если, например, один конь во лбу с звездочкой,— барышники уже так и зрят, чтобы такую звездочку другой приспособить: пемзою шерсть вытирают или горячую репу печеную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла, она сейчас и идет, но только всячески если хорошо смотреть, то таким манером ращенная шерстка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородачка. Еще больше барышники обижают публику глазами: у иной лошади западинки ввалившиеся над глазом, и некрасиво, но барышник проколет кожуцу булавкой, а потом приляжет губами и все в это место дует, и надует так, что кожа подыметя и глаз освежает и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей это приятно, от теплого дыхания, и она стоит не шелохнется, но воздух выйдет, и у нее опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство: около кости щупать, не ходит ли воздух. Но еще того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадется к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку, а сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком ее под брюхо или под фок толкает. А иной хоть и тихо гладит, но у него в перчатке гвоздик, и он будто гладит, а сам кольнет». И я своему ремонтеру против того, что здесь сейчас упомянул, вдесятеро более объяснил, но ничего ему это в пользу не послужило

назавтра, гляжу, он накупил коней таких, что кляча клячи хуже, и еще зовет меня посмотреть и говорит:

«Ну-ка, брат, полюбуйся, как я наловчился коней понимать».

Я взглянул, рассмеялся и отвечаю, что, мол, и смотреть нечего:

«У этой плечи мясисты, — будет землю ногами цеплять; эта ложится — копыто под брюхо кладет и много что чрез годок себе килу намнет; а эта, когда овес ест, передней ногою топает и колено об ясли бьет», — и так всю покупку раскритиковал, и все правильно на мое вышло.

Князь на другой день и говорит:

«Нет, Иван, мне, точно, твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня конэсером и выбирай ты, а я только буду деньги платить».

Я согласился и жил отлично целые три года, не как раб и наемник, а больше как друг и помощник, и если бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что, по ремонтирскому заведению, какой заводчик ни приедет, сейчас сам с ремонтером знакомится, а верного человека подсылает к конэсеру, чтобы как возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтере, а в том, если который имеет при себе настоящего конэсера. Я же был, как докладывал вам, природный конэсер и этот долг природы исполнял совестно: ни за что я того, кому служу, обмануть не мог. И мой князь это чувствовал и высоко меня уважал, и мы жили с ним во всем в полной откровенности. Он, бывало, если проиграется где-нибудь ночью, сейчас утрон как встанет, идет в архалучке ко мне в конюшню и говорит:

«Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела?» — он все этак шутил, звал меня почти *полупочтенный*, но почитал, как увидите, вполне.

А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идет, и отвечаю, бывало:

«Ничего, мол: мои дела, слава богу, хороши, а не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?»

«Мои, — говорит, — так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо».

«Что же это такое, мол, верно, опять вчера продулись по-анамеднешнему?»

«Вы, — отвечает, — изволили отгадать, мой полупочтеннейший, продулся я-с, продулся».

«А на сколько, — спрашиваю, — вашу милость облегчило?»

Он сейчас же и ответит, сколько тысяч проиграл, а я пекачаю головою да говорю:

«Продрать бы ваше сиятельство хорошо, да некому».

Он рассмеется и говорит:

«То и есть, что некому».

«А вот ложитесь, мол, на мою кровать, я вам чистенький кулечек в голову положу, а сам вас постегаяю».

Он, разумеется, и начнет подъезжать, чтобы я ему на реванж денег дал.

«Нет, ты, — говорит, — лучше меня не пори, а дай-ка мне из расходных денег на реванж: я пойду отыграюсь и всех обыграю».

«Ну уж это, — отвечаю, — покорно вас благодарю, нет уже, играйте, да не отыгрывайтесь».

«Как, благодаришь! — начнет смехом, а там уже пойдет сердиться: — Ну, пожалуйста, — говорит, — не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги».

Мы спросили Ивана Северьяныча, давал ли он своему князю на реванж?

— Никогда, — отвечал он. — Я его, бывало, либо обману; скажу, что все деньги на овес роздал, либо просто со двора сбегу.

— Ведь он на вас небось за это сердился?

— Сердился-с; сейчас, бывало, объявляет: «Кончено-с; вы у меня, полупочтеннейший, более не служите».

Я отвечаю:

«Ну и что же такое, и прекрасно. Пожалуйста мой паспорт».

«Хорошо-с,— говорит,— извольте собираться: завтра получите ваш паспорт

Но только назавтра у нас уже никогда об этом никакого разговору больше не было. Не более как через какой-нибудь час он, бывало, приходит ко мне совсем другом расположении и говорит:

«Благодарю вас, мой премного-малозначащий, что вы имели характер и мне на реванж денег не дали».

И так он это всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случалось, так он тоже как брат ко мне снисходил.

— А с вами что же случилось?

— Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали.

— А что это значит *выходы*?

— Гулять со двора выходил-с. Обучась пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял, но если, бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питью усердие получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю. А брало это меня и не заметишь отчего; например, когда бывало, отпускаем коней, кажется, и не братья они тебе, а соскучаешь по них и запьешь. Особенно если отдалишь от себя такого коня, который очень красив, то так он, подлец, у тебя в глазах и мечется, до того, что как от наваждения какого от него скрываешься, и делаешь выход.

— Это значит — запьете?

— Да-с; выйду и запью.

— И надолго?

— М... н... н... это не равно-с, какой выход задастся: иногда пьешь, пока все пропьешь, и либо кто-нибудь тебя отколотит, либо сам кого побьешь, а в другой раз покороче удастся, в части посидишь или в канаве выпьешься, и доволен, и отойдет. В таковых случаях я уже наблюдал правило и, как, бывало, чувствую, что должен сделать выход, прихожу к князю и говорю:

«Так и так, ваше сиятельство, извольте принять от меня деньги, а я пропаду

Он уже и не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало:

«Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?»

Ну, я отвечаю, судя по тому, какое усердие чувствую: на большой ли выход или на короткий.

И я уйду, а он уже сам и хозяйничает и ждет меня, пока кончится выход, и все шло хорошо; но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от нее избавиться; тут-то и сделал такой последний выход, что даже теперь вспомнить страшно.

Глава одиннадцатая



разумеется, подговорились чтобы Иван Северьяныч довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он, по доброте своей, всеконечно от этого не отказался и поведал о своем «последнем выходе» следующее:

— У нас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золото-гнедая для офицерского седла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки

пригожие, ноздерки субтильные и открытенькие, как хочет, так и дышит; гривка легкая; грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие, и она их мечет, как играет... Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакое животное задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было, даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая раскодилась... В эту пору у нас разом шли две ярмарки: одна в Л., другая в К., и мы с князем разделились: на одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет «прислать, говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотничий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее, голубушку, променял, или продал, или, еще того вернее, проиграл в карты... И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное: я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну, а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: «Нет, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нет и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до пяти тысяч». Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь, и усердия своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попускаю, но ослабления к этому желанию все-таки не чувствую, а, напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И наконец стал я исполняться одной мысли: как бы мне так устроить, чтобы и мои усердие к выходу исполнить и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этою целью прятать и все по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить... Думаю: «Что делать? видно, с собою не совладаешь, устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход». Но только напало на меня смущение: где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их ни положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму и опять перепрыгиваю... Измучился просто я их прятаявши и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения, а чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: «Нет, уже баста, видно, мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить». И вдруг мне пришла божественная мысль: ведь это, мол, меня бес томит этой страстью, пойду же я его, мерзавца, от себя святыней отгоню! И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул за себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене Страшный суд нарисован и там в углу дьявола в геенне ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял да, поклонивши, кулак в морду и сунул:

«На-ка, мол, тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь», — а сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить... А там, в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый препустейший-пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его не больше как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособия себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл и ходит по миру... Тут его, в этом трактире, куда я пришел, служающие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит:

«Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сек, а что я всего лишился, так на это была особая божия воля и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет».

Те ему не верят и смеются, а он рассказывает, как он жил, и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз к губернаторше голый приехал, «а ныне, — говорит, — я за свои своеволия проклят и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки! — я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем».

Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил и, как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел, и все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробой жертвует. Думаю: надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать, но стекла есть не понуждал. Сказал: не надо, не ешь. Он это почувствовал и руку мне подает

«Верно, — говорит, — ты происхождения из господских людей?»

«Да, — говорю, — из господских».

«Сейчас, — говорит, — и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран-мерси, — говорит, — тебе за это».

Я говорю:

«Ничего, иди с богом».

«Нет, — отвечает, — я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду».

«Ну, мол, пожалуй, садись».

Он возле меня и сел и начал рассказывать, какой он именитой фамилии и важно-го воспитания, и опять говорит:

«Что это... ты чай пьешь?»

«Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мною пей».

«Спасибо, — отвечает, — только я чаю пить не могу».

«Отчего?»

«А оттого, — говорит, — что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мне лучше еще рюмку вина подать!... — И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды рассказывает, а все-то куражится и невесть что о себе соллетет, а то вдруг беднится, плачет, и все о суете».

«Подумай, — говорит, — ты, какой я человек? Я, — говорит, — самим богом в один год с императором создан и ему ровесник».

«Ну так что же, мол, такое?»

«А то, что какое же мое, несмотря на все это, положение? Несмотря на все это, я, — говорит, — нисколько не взыскан и вышел ничтожество, и, как ты сейчас видел, я ото всех презираем». — И с этими словами опять водки потребовал, но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю как над ним по трактирам купцы насмеваются, и в конце говорит:

«Они, — говорит, — необразованные люди, думают, что это легко такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать? Это очень трудное, братец призвание, и для многих даже совсем невозможное; но я свою натуру приучил потому что вижу, что свое надо отбить, и несущу».

«Зачем же, — рассуждаю, — этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось».

«Бросить? — отвечает, — А-га, нет, братец, мне этого бросить невозможно».

«Почему же, — говорю, — нельзя?»

«А нельзя, — отвечает, — по двум причинам: во-первых, потому, что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить; а во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют».

«Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь; но чтобы христианские чувства тебе не позволяли эту вредную пакость бросить, этому я верить не хочу».

«Да, вот ты, — отвечает, — не хочешь этому верить... Так и все говорят... А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет да возьмет: рад ли он этому будет или нет?»

«Спаси, мол, господи! Нет, я думаю, не обрадуется».

«А-га! — говорит. — Вот то-то и есть, а если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня по крайней мере за это, и вели мне еще графин водки податы!»

Я постучал еще графинчик, и сижу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно, а он продолжает таковые слова:

«Оно, — говорит, — это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется, потому что я, — говорит, — хорошего рода и настоящее воспитание получил, так что даже я еще самым маленьким по-французски богу молился, но я был немилостивый и людей мучил, в карты своих крепостных проигрывал; матерей с детьми различал; жену за себя богатую взял и со света ее сжил, и наконец, будучи во всем сам виноват, еще на бога возроптал: зачем у меня такой характер? Он меня и наказал: дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть».

«И что же, — спрашиваю, — теперь ты уже на этот характер не ропщешь?»

«Не ропщу, — отвечает, — потому что оно хотя хуже, но зато лучше».

«Как это, мол, так: я что-то не понимаю, как это: хуже, но лучше?»

«А так, — отвечает, — что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются. Я, — говорит, — теперь все равно что Иов на гноище, и в этом, — говорит, — все мое счастье и спасение», — и сам опять водку допил, и еще графин спрашивает, и молвит:

«А ты знаешь ли, любезный друг: ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился; а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял».

«Ну, где же, — говорю, — возможно такого человека найти! Никто на это не согласится».

«Отчего так? — отвечает, — да тебе даже нечего далеко ходить: такой человек перед тобою, я сам и есть такой человек».

Я говорю:

«Ты шутишь?»

Но он вдруг вскакивает и говорит:

«Нет, не шучу, а если не веришь, так испытай».

«Ну как, — говорю, — я могу это испытывать?»

«А очень просто: ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня ведь, брат, большое дарование: я вот, видишь, — я сейчас пьян... Так или нет: пьян я?»

Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый, и весь ослонившись, и на ногах покачивается, и говорю:

«Да, разумеется, что ты пьян».

А он отвечает:

«Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».

Я отвернулся и, действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баринок уже опять мне командует:

«А ну-ка погляди теперь на меня? пьян я теперь или нет?»

Обернулся я и вижу, что он, точно ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбается.

Я говорю:

«Что же это значит: какой это секрет?»

А он отвечает:

«Это,— говорит,— не секрет, а это называется магнетизм».

«Не понимаю, мол, что это такое?»

«Такая воля,— говорит,— особенная в человеке помещается, и ее нельзя ни пропить, ни проспаться, потому что она дарована. Я,— говорит,— это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про бога не позабыл. Но с другого человека со всякого я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести».

«Так сведи,— говорю,— сделай милость, с меня!»

«А ты,— говорит,— разве пьешь?»

«Пью,— говорю,— и временем даже очень усердно пью».

«Ну так не робей же,— говорит,— это все дело моих рук, и я тебя за твое угощение отблагодарю: все с тебя сниму».

«Ах, сделай милость, прошу, сними!»

«Изволь,— говорит,— любезный, изволь: я тебе это за твое угощение сделаю сниму и на себя возьму»,— и с этим крикнул опять вина и две рюмки.

Я говорю:

«На что тебе две рюмки?»

«Одна,— говорит,— для меня, другая — для тебя!»

«Я, мол, пить не стану».

А он вдруг как бы осерчал и говорит:

«Тссс! сляянс! молчать! Ты телерь кто?— больной».

«Ну, мол, ладно, будь по-твоему: я больной».

«А я,— говорит,— лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарство»,— и с этим налил и мне и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиерейский регент, руками махать.

Помаяхал, помахал и приказывает:

«Пей!»

Я было усумнился, но как, по правде сказать, и самому мне винца попробовать очень хотелось и он приказывает: «Дай,— думаю,— ни для чего иного, а для любопытства выпью!»— и выпил.

«Хороша ли,— спрашивает,— вкусна ли или горька?»

«Не знаю, мол, как тебе сказать».

«А это значит,— говорит,— что ты мало принял»,— и налил вторую рюмку давай, опять над нею руками мотать. Помотает-помотает и отряхнет, и опять заставил меня и эту, другую, рюмку выпить и вопрошает: «Эта какова?»

Я пошутил, говорю:

«Эта что-то тяжела показалась».

Он кивнул головой, и сейчас намахал третью, и опять командует: «Пей!» Я выпил и говорю:

«Эта легче»,— и затем уже сам в графин стучу, и его потчую, и себе наливаю да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто, не намаханной, не позволяет выпить, а чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук выймет и говорит:

«Шу, сляянс... атанде»,— и прежде над нею руками помашет, а потом говорит:

«Теперь готово, можешь принимать, как сказано».

И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера и все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того чтобы перестать. Попробую за пазухой деньги, и чувствую, что они все, как должно, на своем месте целы лежат, и продолжаю.

Барин мне тут, пивши со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил

и гулял, и особенно про любовь, и впоследствии всего стал ссориться, что я любви не понимаю.

Я говорю:

«Что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь и зато вон какой лонтрыгой ходишь».

А он говорит: «Шу, силянс! любовь — наша святыня!»

«Пустяки, мол».

«Мужик, — говорит, — ты и подлец, если ты смеешь над священным сердца чувством смеяться и его пустяками называть».

«Да, пустяки, мол, оно и есть».

«Да ты понимаешь ли, — говорит, — что такое «краса природы совершенство»?»

«Да, — говорю, — я в лошади красоту понимаю».

А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить.

«Разве лошадь, — говорит, — краса природы совершенство?»

Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог, а буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцам, а те подскочили человек шесть и сами просят... «пожалуйте вон», а сами подхватили нас обоим под ручки, и за порог выставили, и дверь за нами наглухо на ночь заперли.

Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какую силою оно надо мною творилось, но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Четминях нет.

Глава двенадцатая



Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник? Оказалось, что он при мне. «Теперь, — думаю, — вся забота, как бы их благополучно домой донести». А ночь была самая темная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие темные ночи, но претеплейшие и прелягкие: по небу звезды как лампы навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает... А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает, и достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян, а во-вторых, что если десять или более человек на меня нападут, то и с большою силою ничего с ними не сделаешь, и оберут, а я хоть и был в кураже, но помнил, что когда я, не раз вставая и опять садясь, расплачивался, то мой компаньон, баринок этот, видел, что у меня с собою денег тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову: нет ли с его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства? Где он взаправду? вместе нас вон выставили, а куда же он так спешно делся?

Стою я и потихоньку оглядываюсь и, имени его не зная, потихоньку зову так: «Слышишь, ты? — говорю, — магнетизер, где ты?»

А он вдруг, словно бес какой, прямо у меня перед глазами вырастает и говорит:

«Я вот он».

А мне показалось, что будто это не тот голос, да и впотьмах даже и рожа не его представляется.

«Подойди-ка, — говорю, — еще поближе». — И как он подошел, я его взял за плечи, и начинаю рассматривать, и никак не могу узнать, кто он такой? как только его коснулся, вдруг ни с того ни с сего всю память отшибло. Слышу только, что он что-то по-французски лопочет: «ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе», а я в том ничего не понимаю.

«Что ты такое, — говорю, — лопочешь?»

А он опять по-французски:

«Ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе».

«Да перестань, — говорю, — дура, отвечай мне по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабыл».

Отвечает:

«Ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе: я магнетизер».

«Тьфу, мол, ты, пострел этакой!» — и на минутку будто вспомню, что это он но стану в него всматриваться, и вижу у него два носа!.. Два носа, да и только! А раздумаясь об этом — позабуду, кто он такой!..

«Ах ты, будь ты проклят, — думаю, — и откуда ты, шельма, на меня навязался?» — и опять его спрашиваю:

«Кто ты такой?»

Он опять говорит:

«Магнетизер».

«Провались же, — говорю, — ты от меня: может быть, ты черт?»

«Не совсем, — говорит, — так, а около того».

Я его в лоб и стукнул, а он обиделся и говорит:

«За что же ты меня ударил? я тебе добродетельствую и от усердного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?»

А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю:

«Да кто же ты, мол, такой?»

Он говорит:

«Я твой до вечный друг».

«Ну, хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь?»

«Нет, — говорит, — я тебе такое пти-ком-пё представлю, что ты себя иным человеком ощутишь».

«Ну, перестань, — говорю, — пожалуйста, врать».

«Истинно, — говорит, — истинно: такое пти-ком-пё!..»

«Да не болтай ты, — говорю, — черт, со мною по-французски: я не понимаю что то за пти-ком-пё!»

«Я, — отвечает, — тебе в жизни новое понятие дам».

«Ну вот это, мол, так, но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие?»

«А такое, — говорит, — что ты постигнешь красу природы совершенство»

«Отчего же я, мол, вдруг так ее и постигну?»

«А вот пойдем, — говорит, — сейчас увидишь».

«Хорошо, мол, пойдем».

И пошли. Идем оба, шатаемся, но всё идем, а я не знаю куда, и только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною, и опять говорю:

«Стой! говори мне, кто ты? иначе я не пойду».

Он скажет, и я на минутку как будто вспомню, и спрашиваю:

«Отчего же это я забываю, кто ты такой?»

А он отвечает:

«Это, — говорит, — и есть действие от моего магнетизма; но только ты этого не пугайся, это сейчас пройдет, только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизму пушу».

И вдруг повернул меня к себе спиной и ну у меня в затылке, в волосах пальца-перебирать... Так чудно: копаются там, точно хочет мне взлезть в голову.

Я говорю:

«Послушай, ты... кто ты такой! что ты там роешься?»

«Погоди,— отвечает,— стой: я в тебя свою силу магнетизм перепущаю».

«Хорошо,— говорю,— что ты силу перепущаешь, а может, ты меня обокрасть хочешь?»

Он отпирается.

«Ну так постой, мол, я деньги попробую».

Попробовал — деньги целы.

«Ну, теперь, мол, верно, что ты не вор», — а кто он такой — опять позабыл, но только уже не помню, как про то и спросить, а занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стекла.

«Вот,— думаю,— штуку он со мной сделал!» — «А где же теперь,— спрашиваю,— мое зрение?»

«А твоего,— говорит,— теперь уже нет».

«Что, мол, это за вздор, что нет?»

«Так,— отвечает,— своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету».

«Вот, мол, еще притча! Ну-ка, давай-ка я понатужусь».

Выдулся, знаете, во всю мочь, и вижу, будто на меня из-за всех углов темных разные мерзкие рожи на ножках смотрят, и дорогу мне перебегают, и на перекрестках стоят, ждут и говорят: «Убьем его и возьмем сокровище». А передо мною опять мой вихрястенький баринок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и бряцанье, и тик, и визг, и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиной к какому-то дому, а в нем окна открыты и в середине светло, а оттуда те разные голоса, и шум, и гитара поет, а передо мною опять мой баринок, и все мне спереди по лицу ладонями машет, и потом по груди руками ведет, против сердца останавливается, напирает, и за персты рук схватит, встряхнет полегонечку, и опять машет, и так трудится, что даже, вижу, он сделался весь в поту.

Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить и я почувствовал, что в сознание свое прихожу, то я его перестал опасаться и говорю:

«Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть: черт, или дьявол, или мелкий бес, а только, сделай милость, или разбуди меня, или рассыпся».

А он мне на это отвечает:

«Погоди,— говорит,— еще не время: еще опасно, ты еще не можешь перенести».

Я говорю:

«Чего, мол, такого я не могу перенести?»

«А того,— говорит,— что в воздушных сферах теперь происходит».

«Что же я, мол, ничего особенного не слышу?»

А он настаивает, что будто бы я не так слушаю, и говорит мне божественным языком:

«Ты,— говорит,— чтобы слышать, подражай примерно гуслеигрателю, како сей подклоняет низу главу и, слух прилагая к пению, подвизает бряцало рукою».

«Нет,— думаю,— да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похоже, как он стал разговаривать!»

А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать.

«Так,— говорит,— купно струнам, художне соударяемым единым со другими, гусли песнь издают и гуслеигратель веселится, сладости ради медовных».

То есть просто, вам я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит, и я думаю: «Вот тебе и пьяничка! Гляди-ка, как он еще хорошо

может от божества говорить!» А мой баринок этим временем перестал егозиться и такую речь молвит:

«Ну, теперь довольно с тебя; теперь проснись, — говорит, — и подкрепись!

И с этим принагнулся, и все что-то у себя в штанцах в кармашке долго искал, и наконец что-то оттуда достает. Гляжу, это вот тахохонький, махонький-махонький кусочек сахарцу, и весь в сору, видно, оттого, что там долго валялся. Обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит:

«Раскрой рот».

Я говорю:

«Зачем?» — а сам рот раззявил. А он воткнул мне тот сахарок в зубы и говорит:

«Соси, — говорит, — смелее; это магнитный сахар-ментор: он тебя подкрепит».

Я уразумел, что хоть и по-французски он говорил, но насчет магнетизма и больше его не спрашиваю, а занимаюсь, сахар сосу, а кто мне его дал, того уже не вижу. Отошел ли он куда впотьмах в эту минуту или так куда провалился лихо его ведает, но только я остался один и совсем сделался в своем понятии и думаю: чего же мне его ждять? мне теперь надо домой идти. Но опять дело не знаю — на какой я такой улице нахожусь и что это за дом, у которого я стою? И думаю: да уже дом ли это? может быть, это все мне только кажется, а все это наваждение... Теперь ночь, — все спят, а зачем тут свет?.. Ну, а лучше, мол попробовать... зайду посмотрю, что здесь такое: если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу, как мне домой идти, а если это только оболъщение глаз, а не живые люди... так что же опасного? я скажу: «Наше место свято: чур меня» — и все рассыпется.

Глава тринадцатая



Вхожу я с такою отважною решимостью на крылечко, перекрестился и зачурался, ничего: дом стоит, не шатается, и вижу: двери отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу налево еще две двери, обе циновкой обиты, и над ними опять этикие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю: что же это такое за дом: трактир как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь и слышу, что из-за этой циновочной двери льется песня... томная-претомная, сердечнейшая, и поет ее голос, точно колокол малиновый, так за душу и щипет так и берет в полон. Я и слушаю и никуда далее не иду, а в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу, вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я спервоначала и не заметил. Я, признаться, хоть не хорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и говорит ему вслед:

«Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике, а завтра приходи: если нам от него польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим».

И с этим дверь на защелку защелкнул и бежит ко мне будто ненароком, отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит:

«Милости просим, господин купец, пожалуйста наших песен послушать! Голоса есть хорошие».

И с этим дверь перед мною тихо навстежь распахнул... Так, милостивые государи, меня и обдало не знаю чем, но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пухом вниз лезет, все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу в этом дымище люди... очень много, страсть как много людей, и перед ними этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. Притом, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-претонко, нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер... Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно всё умерло... Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошками плещут и кричат. А я только удивляюсь: откуда это здесь так много народу и как будто еще все его больше и больше из дыму выступает? «Ух,— думаю,— да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей?» Но только вижу я разных знакомых господ ремонтеров и заводчиков и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходит этакая... даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура! А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи,— только одних белых лебедей нет. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердия, денег мечет, золото или ассигнации; а она его тогда в уста поделует и поклонится. И обошла она первый ряд и второй — гости вроде как полукругом сидели — и потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял, и было уже назад повернула, не хотела мне подносить, но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет:

«Грушка!» — и глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничками... ей-богу, вот этикие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые и, как птицы какие, шевелятся, а в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать, но, однако, свою должность исполняет: заходит ко мне за задний ряд, кланяется и говорит:

«Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье!»

А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидал, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угошенья, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожей, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет... «Вот она,— думаю,— где настоящая-то красота; что природы совершенство называется; магнетизер правду сказал: это совсем не то, что в лошади, в продажном звере».

И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос, а она стоит да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки, да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет! А господя, слышу, не больно тихо цыгану говорят:

«Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь Груше этого мужика угощать? нам это обидно».

А он отвечает:

«У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает; а обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают».

А я, это слышучи, думаю:

«Ах, вы, волк вас ешь! Неужели с того, что вы меня богаче, то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет: после князю отслужу, а теперь себя не постыжусь и сей невиданной красы скупостью не унижу».

Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки сторублевого лебеда, да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другою мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла.

Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот старый цыган этой Груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку, и волокут вперед и сажает в самый передний ряд, рядом с исправником и с другими господами.

Мне было, признаться, на это и неохота: я не хотел продолжать и хотел вон идти; но они просят и не пускают, и зовут:

«Груша! Грунюшка, останови гостя желанного!»

И та выходит и... враг ее знает, что она умела глазами делать: взглянула как сразу какую в очи пустила, а сама говорит:

«Не обидь: погости у нас на этом месте».

«Ну уж тебя ли, — говорю, — кому обидеть можно», — и сел.

А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание: как будто адонитию кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет.

И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанею пошла. Тоже и эта хороша, но где против Груши! Половины той красоты нет, и за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул... Господа это взяли в пересмея, но мне все равно, потому я одного смотрю, где она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать, а она не поет. Сидит с другими, подпевает, но собу не делает, и мне ее голоса не слышать а только роток с белыми зубками видно... «Эх ты, — думаю, — доля моя сиротская на минуту зашел и сто рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу!» Но на мое счастье не одному мне хотелось ее послушать; и другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены:

«Груша! Груша! «Челнок», Груша! «Челнок!»»

Вот цыганы покашлиали, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете... их пение обыкновенно достигательное и за сердца трогает, а я как услышал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось! Начала она так как будто грубовато мужественно, эдак: «Мо-о-ре во-оо-о-ет, мо-ре сто-нет». Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде: «Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна до меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями: то плачет, томит просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде и точно сразу опять сердце вставит... Так и тут она это «море»-то с «челном» всколыхала, а другие как завизжат всем хором:

Джа-ля-ла. Джа-ла-ла.
Джа-ля-ла прингаля!
Джа-ла-ла принга-ла.
Гай да чепуригалья!
Гей гоп-гай, та гара!
Гей гоп-гай — та гара!—

и потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя... На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю; так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал. Что Груша раз ни споет, то я ей за то лебедя, и уже не считаю, сколько их выпустил, а даю да и кончено, и зато другие ее все разом просят петь, она на все их просьбы не поет, говорит «устала», а я один кивну цыгану: не можно ли, мол, ее понудить? тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет. И много-с она пела, песня от песни могучее, и покидал я уже ей много, без счету лебедей, а в конце, не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась, и устала, и, точно с намеками на меня глядя, завела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих»: Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает: «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой». А я ей еще лебедя! Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное, а те, другие, в этот лукавый час напоследях как заорут:

Ты восчувствуй, милая,
Как люблю тебя, драгая!—

и все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потом цыгане как хватят: «Ходи, изба, ходи печь; хозяину негде лечь» — и вдруг все в пляс пошли... Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут: все вместе выются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах, гляжу, уже никого и не остается... Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет либо усом дергает, а потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно! Исправник толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтёр, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует: руки в боки, а каблуканы навыверт стучит, перед всеми идет — козырится, взгрёб валает, а с Грушей встретсяя — головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» — и она... Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пляшут актеры в театрах, да что все это, тыфу, все равно что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится, невесть чего ерихонится, а огня-жизни нет. Эта же краля как пошла, так как фараон плывет — не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с носком ножки на одну линию строит... Картина! Просто от этого виденья на ее танец все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти: у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат:

«Ничего не жалеем: танцуй!» — деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще завесалось, и я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает... Она ступит, а меня черт в жилу щелк; она опять ступит, а он меня опять щелк, да, наконец, думаю: «Что же мне так себя все мучить! Пушу и я свою душу погулять вволю», — да как вскочу, отпихнул гусара, да и пошел перед Грушею вприсядку... А чтобы она на его, гусарову, шапку не становилась, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалеете, меня тем не удивите: а вот что я ничего не жалею, так я то делом-правдою докажу, да сам прыгну, и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его! Наступай!» Она было не того... даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на

лебедя не глядит, а все норовит за гусаром; да только старый цыган, спасибо, это заметил, да как на нее топнет... Она и поняла и пошла за мной... Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеища-горыныще, ажно гневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу, да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедея... Сам ее так уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и землю и небо сделала? а сам на нее с дерзостью кричу: «ходи шибче», да все под ноги ей лебедей, да раз руку за пазуху пушаю, чтобы еще одного достать, а их, гляжу, там уже всего с десяток остался... «Тьфу ты, — думаю, — черт же вас всех побирай!» — скомкал их всех в кучку, да сразу их все ей под ноги и выбросил, а сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул:

— Сторонись, душа, а то оболью! — да всю сразу и выпил за ее здоровье, потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.

Глава четырнадцатая



у, и что же далее? — спросили
Ивана Северьяныча.

— Далее действительно все так воспоследовало, как он обещался.

— Кто обещался?

— А магнетизер, который это на меня навел: он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел, и я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал.

— Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили?

— А я и сам не знаю, как-то очень просто: как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лег, но только слышу, князь стучит и зовет, а я хочу с коника встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу — не край, в другую оборочусь — и здесь тоже краю нет... Заблудил на конике, да и полно!.. Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» — а сам лажу во все стороны и все не найду края, и наконец думаю: ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну, и размахнулся да как сигану как можно дальше, и чувствую, что меня будто что по морде ударило и вокруг меня что-то звенит и сыпется, и сзади тоже сыпется, и опять сыпется, и голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!»

А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все еще на конике до края не достиг; а вместо того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все...

— Как же вы это так заблудились?

— Очень просто: думал, что я, по всегдашнему своему обыкновению, на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лег, да все и ползал, края искал, а потом стал прыгать... и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот... магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил... Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: «как бы хуже не было, если питье бросить», — и пошел его искать — хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес, и тут же, напротив цыганов, у шинкарки так напился, что и помер.

— А вы так и остались замagnetизированы?
— Так и остался-с.
— И долго же на вас этот магнетизм действовал?
— Отчего же долго ли? он, может быть, и посейчас действует.
— А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то?.. Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей?
— Нет-с, объяснение было, только не важное. Князь тоже приехал проигравшись и на реванж у меня стал просить. Я говорю:
«Ну уже это оставьте: у меня ничего денег нет».
Он думает, шутка, а я говорю:
«Нет, исправди, у меня без вас большой выход был».
Он спрашивает:
«Куда же, мол, ты мог пять тысяч на одном выходе деть?..»
Я говорю:
«Я их сразу цыганке бросил...»
Он не верит.
Я говорю:
«Ну, не верьте: а я вам правду говорю».
Он было озлился и говорит:
«Запри-ка двери, я тебе задам, как казенные деньги швырять, — а потом, это вдруг отменив, и говорит: — Не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный».
И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете и слышу, говорят, что у меня белая горячка была и котел будто бы я вешаться, только меня, слава богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю:
«Ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить».
Он отвечает:
«Пошел к черту».
Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагинаюсь
«Что, — говорит, — это значит?»
«Да оттрепите же, — прошу, — меня по крайней мере как следует!»
А он отвечает:
«А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь, а может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю».
«Помилуйте, — говорю, — как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял? Я сам знаю, что меня, подлеца, за это повесить мало».
А он отвечает:
«А что, братец, делать, когда ты артист».
«Как, — говорю, — это так?»
«Так, — отвечает, — так, любезнейший Иван Северьяныч, вы, мой полупочтеннейший, артист».
«И понять, — говорю, — не могу».
«Ты, — говорит, — не думай что-нибудь худое, потому что и я сам тоже артист».
«Ну, вот это, — думаю, — понятно: видно, не я один до белой горячки подвизался».
А он встал, ударил об пол трубку и говорит:
«Что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел, я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было».
Я во все глаза на него вылунился.
«Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите, мне это даже слушать страшно».
«Ну, ты, — отвечает, — очень не пугайся: бог милостив, и авось как-нибудь выкручусь, а только я за эту Грушу в табор полсотни тысяч отдал».

Я так и ахнул:

«Как,— говорю,— полсотни тысяч! за цыганку? да стоит ли она этого, аспидка?»

«Ну, вот это,— отвечает,— вы, полупочтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили... Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она одна в одну минуту от нее может исцелить».

А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю

«Этакая, мол, сумма! целые пятьдесят тысяч!»

«Да, да,— говорит,— и не повторять больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал... все, что хочешь, дал бы».

«А вам бы,— говорю,— плюнуть, и больше ничего».

«Не мог,— говорит,— братец, не мог плюнуть».

«Отчего же?»

«Она меня красотой и талантом уязвила, и мне исцеления надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи: ведь правда: она хороша? А? правда, что ли? Есть отчего от нее с ума сойти?..»

Я губы закусил и только уже молча головой трясусь:

«Правда, мол, правда!»

«Мне,— говорит князь,— знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочем?»

«Что же,— говорю,— тут непонятного, краса природы совершенство...»

«Как же ты это понимаешь?»

«А так,— отвечаю,— и понимаю, что краса природы совершенство, и за эт восхищенному человеку погибнуть... даже радость!»

«Молодец,— отвечает мой князь,— молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премногомалозначащий Иван Северьянович! именно-с, именно гибнуть-то и радостно, и вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевеснул: и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть».

Тут я еще ниже спустил голос и шепчу:

«Как,— говорю,— будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?»

А он отвечает:

«А то как же иначе? разумеется, здесь».

«Может ли,— говорю,— это быть?»

«А вот ты,— говорит,— постой, я ее сейчас приведу. Ты артист,— от тебя я ее не скрою».

И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю:

«Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь смотреть! Наскучит!» Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится, и в уме мешаюсь, думаю: «Неужели я ее сейчас увижу?» А они вдруг и входят: князь впереди идет и в одной руке гитару с широкою алой лентой несет, а другую Грушеньку, за обе ручки сжавши, тащит, а она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти реснички черные по щекам как будто птичьи крылья шевелятся.

Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван; одну бархатную подушку ей за спину подсунул, другую — под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и пероты руки на струны поклал. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к алому сафьянному башмачку и мне кивает: дескать, садись и ты.

Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги сию, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тощо делается. Я сидел-сидел индо колени разломил, а гляну на нее, она все в том же положении, а на князя посмотрю: вижу, что он от томноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит

Я ему и киваю: дескать, что же вы, прикажите ей петь! А он обратно мне пантомину дает в таком смысле, что, дескать, не послушает.

И опять оба сидим на полу да ждем, а она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать, и по реснице слезка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и рокочут... И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела: «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную».

Князь шепчет: «Что?»

А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю:

«Пти-ком-пё», — говорю, и сказать больше нечего, а она в эту минуту вдруг как вскрикнет: «А меня с красоты продадут, продадут», да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван, лицо в ладони уткнула и плачет, и я, глядя на нее, плачу, и князь... тоже и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а, как будто службу служа, застонал: «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной», — да и ну рыдать. И поет и рыдает: «Успокой меня, беспокойного, осчастливь меня, несчастливого». Как он так жестоко взволновался, она, вижу, внемлет сим его слезам и пению и все стала тишать, усмиряется и вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела и, как мать, нежно обвила ею его голову...

Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной, и я встал потихоньку, незаметно, и вышел.

— И верно, тут-то вы и в монастырь пошли? — спросил некто рассказчика.

— Нет-с: еще не тут, а позже, — отвечал Иван Северьяныч и добавил, что ему еще надлежало прежде много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло.

Слушатели, разумеется, приступили с просьбою хотя вкратце рассказать им историю Груни, и Иван Северьяныч это исполнил.

Глава пятнадцатая



идите, — начал Иван Северьяныч, — мой князь был человек души доброй, но переменчивой. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи — иначе он с ума сойдет, и в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет, а потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло, и ее, Грушин, отец и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее невесть какую цену, больше как все его домашнее состояние позволяло, потому что было у него хотя и хорошее именье, но разоренное. Таких денег, какие табор за Грушу назначил, у князя тогда налично не было, и он сделал для того долг и уже служить больше не мог.

Знавши все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для Груши, и так на мое и вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал, и вдруг зевать стал и все меня в компанию призывать начал.

«Садись, — говорит, — послушай».

Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю. Так и часто доводилось: он, бывало, ее попросит петь, а она скажет:

«Перед кем я стану петь! Ты,— говорит,— холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась».

Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое ее и слушаем а потом Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружественно, и я после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем, но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка, а если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом с собою меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться и один раз мне и говорит:

«А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи». Я говорю:

«Чем же они плохи? Слава богу, живете как надо, и все у вас есть». А он вдруг обиделся.

«Как,— говорит,— вы, мой полупочтеннейший, глупы, «все есть»? что же это такое у меня *есть*?»

«Да все, мол, что нужно».

«Неправда,— говорит,— я обеднел, я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь?»

«Вот,— думаю,— что тебя огорчает»,— и говорю:

«Ну, если когда вина недостача, еще не велика беда, потерпеть можно, зато есть что слаще и вина и меду».

Но он понял, что я намекаю на Грушу, и как будто меня устыдился, и сам ходит, рукою машет, а сам говорит:

«Конечно... конечно... разумеется... но только... Вот я теперь полгода живу здесь и человека у себя чужого не видал...»

«А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная» Князь вспыхнул.

«Ты,— говорит,— братец, ничего не понимаешь: все хорошо одно при другом»

«А-га!— думаю,— вот ты что, брат, запел?»— и говорю:

«Что же, мол, теперь делать?»

«Давай,— говорит,— станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили».

Пустое это и не господское дело лошадьми торговать, но, думаю, чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало, и говорю: «Извольте».

И начали мы с ним заводить ворок. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть: где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней, и все берет, хватает зря; меня не слушает... Накупили обельму, а продажи нет... Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил да давай что попало городить: то кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел, и все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере... Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда да чего-то ищет, а Груша одна и в таком положении... в тягости. Скучает. «Мало,— говорит,— его вижу»,— а перемогает себя и великатится; чуть заметит, что он день-другой дома заскучает сейчас сама скажет:

«Ты бы,— говорит,— изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся, что тебе со мною сидеть: я проста, неученая».

Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у нее целует, и дня два-три крепится, а зато потом как выкатит, так уже и завьется, а ее мне заказывает

«Береги,— говорит,— ее, полупочтенный Иван Северьянов, ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени артист, и оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело, а меня от этих «изумрудов яхонтовых» в сон клонит».

Я говорю:

«Почему же это так? ведь это слово любовное».

«Любовное,— отвечает,— да глупое и надоедное».

Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож: когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал.

А развлекать было оттого, что она, бывало, если разговорится, все жалуется: «Милый мой, сердечный мой друг Иван Северьянович,— возговорит,— ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит».

Ну, я ее, разумеется, уговариваю:

«Чего,— говорю,— очень мучиться: где он ни побывает, все к тебе воротится».

А она всплачет, и руками себя в грудь бьет, и говорит:

«Нет, скажи же ты мне... не потай от меня, мой сердечный друг, где он бывает?»

«У господ,— говорю,— у соседей или в городе».

«А нет ли,— говорит,— там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне: может, он допрежь меня кого любил и к ней назад воротился, или не задумал ли он, лиходей мой, жениться?»— А у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно.

Я ее утешаю, а сам думаю:

«Кто его знает, что он делает»,— потому что мы его мало в то время и видели.

Вот как вспало ей это на мысль, что он жениться хочет, она и ну меня просить:

«Съезди, такой-сякой, голубчик Иван Северьянович, в город; съезди, доподлинно узнай о нем все как следует и все мне без потайки выскажи».

Пристает она с этим ко мне все больше и больше и до того меня разжалобила, что думаю:

«Ну, была не была, поеду. Хотя ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу все дело в ясность».

Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарств для лошадей у травщиков набрать, и поехал, но поехал не спроса, а с хитрым подходом.

Груше было неизвестно и людям строго-настрого наказано было от нее скрывать, что у князя, до этого случая с Грушею, была в городе другая любовь — из благородных, секретарская дочка Евгенья Семеновна. Известная она была во всем городе большая на фортепьянах игрица, и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая, и имела с моим князем дочку, но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходами и жили. Князь к этой к Евгенье Семеновне, после того как ее наградил, никогда не заезжал, а люди наши, по старой памяти, за ее добродетель помнили и всякий приезд все, бывало, к ней зааживали, потому что ее любили и она до всех до наших была ужасно какая ласковая и князем интересовалась.

Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю:

«Я, матушка Евгенья Семеновна, у вас остановился».

Она отвечает:

«Ну что же; очень рада. Только отчего же,— говорит,— ты к князю не едешь, на его квартиру?»

«А разве,— говорю,— он здесь, в городе?»

«Здесь,— отвечает.— Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит».

«Какое, мол, еще дело?»

«Фабрику,— говорит,— суконную в аренду берет».

«Господи! мол, еще что такое он задумал?»

«А что,— говорит,— разве это худо?»

«Ничего,— говорю,— только что-то мне это удивительно».

Она улыбается.

«Нет, а ты,— говорит,— вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть».

«И что же,— говорю,— вы ему, матушка Евгенья Семеновна, разрешили?»

Она пожала плечами и отвечает:

«Что же, пусть придет, на дочь посмотрит»,— и с этим вздохнула и задума-

лась, сидит опустья голову, а сама еще такая молодая, белая да вальяжная а к тому еще и обращение совсем не то, что у Груши... та ведь больше ничего как начнет свое «изумрудный да яхонтовый», а эта совсем другое... Я ее в взревновал.

«Ох,— думаю себе,— как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое на тебя своим несытым сердцем не глянул! От сего тогда моей Грушеньке много добра не воспоследует». И в таком размышлении сижу я у Евгеньи Семеновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить, а у дверей вдруг слышу звонок, и горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке «Князьенька к нам приехал!»

Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивая была старушка из московских: страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться, а говорит:

«Не уходи, Иван Голованыч, а пойдем вот сюда в гардеробную, за шкапу сядем, она его сюда ни за что не поведет, а мы с тобою еще разговорцу проведем».

Я и согласился, потому что, по разговорчивости Татьяны Яковлевны, надеялся от нее что-нибудь для Груши полезное сведать, и как от Евгеньи Семеновны мне был лодиколонный пузыречек рому к чаю выслан, а я сам уже тогда ничего не пил, то и думаю: подпушу-ка я ей, божьей старушке, в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка, авось она, по благодати своей, мне тогда что-нибудь и соврет, чего бы без того и не высказала.

Удалились мы из детской и сидим за шкафами, а эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать — коридор, с дверью в конце, а та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгенья Семеновна князя приняла, и даже к тому к самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь, с той стороны материей завешенная, а то все равно будто я с ними в одной комнате сижу, так мне все слышно.

Князь как вошел, и говорит:

«Здравствуй, старый друг! Испытанный!»

А она ему отвечает:

«Здравствуйте, князь! Чему я обязана?»

А он ей:

«Об этом,— говорит,— после поговорим, а прежде дай поздороваться и позволю в головку тебя поцеловать»,— и мне слышно, как он ее в голову чмокнул и спрашивает про дочь. Евгенья Семеновна отвечает, что она, мол, дома.

«Здорова?»

«Здорова»,— говорит.

«И выросла небось?»

Евгенья Семеновна рассмеялась и отвечает:

«Разумеется,— говорит,— выросла».

Князь спрашивает:

«Надеюсь, что ты мне ее покажешь?»

«Отчего же,— отвечает,— с удовольствием»,— и встала с места, вошла в детскую и зовет эту самую няню, Татьяну Яковлеву, с которою я угощаюсь.

«Выведите,— говорит,— нянюшка, Людочку к князю».

Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдо на стол и говорит:

«О, пусто бы вам совсем было, только что сядешь, в самый аппетит, с человеком поговорить, непременно и тут отрывают и ничего в свое удовольствие сделать не дадут!— и поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит:— Посиди»,— а сама пошла с девочкой, а я один за шкафами остался и вдруг слышу, князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на коленях и говорит:

«Хочешь, мой анфан, в карете покататься?»

Та ничего не отвечает; он говорит Евгенья Семеновне:

«Же ву при,— говорит,— пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поедит, покатается».

Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа, но он ей тоже вроде того, что, дескать, «непрерменно надобно», и этак они раза три словами перебросились, и потом Евгенья Семеновна нехотя говорит нянюшке:

«Оденьте ее и поезжайте».

Те и поехали, а эти двоичкой себе остались, да я у них под сокрытием на послухах, потому что мне из-за шапов и выйти нельзя, да и сам себе я думал: «Вот же когда мой час настал и я теперь настоящее исследую, что у кого против Груши есть в мыслях вредного?»

Глава шестнадцатая



устившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком что можно увидеть и всего этого достиг: стал тихонечко ногами на табуретку и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна и, верно, смотрит, как ее дитя в карету сажает.

Карета отъехала, и она оборачивается и говорит:

«Ну, князь, я все сделала, как вы хотели: скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?»

А он отвечает:

«Ну что там дело!.. дело не медведь, в лес не убежит, а ты прежде подойди-ка сюда ко мне: сядем рядом, да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому».

Барыня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит.

Князь просит:

«Что же,— говорит,— ты: я прошу,— мне говорить с тобой надо».

Та послушалась, подходит, он сейчас, это видя, опять шутит:

«Ну, мол, посиди, посиди по-старому»,— и обнять ее хотел, но она его отодвинула и говорит:

«Дело, князь, говорите, дело: чем я могу вам служить?»

«Что же это,— спрашивает князь,— стало быть, без разговора все начистоту выкладывать?»

«Конечно,— говорит,— объясняйте прямо, в чем дело? мы ведь с вами коротко знакомы,— церемониться нечего».

«Мне деньги нужны»,— говорит князь.

Та молчит и смотрит.

«И не много денег»,— молвил князь.

«А сколько?»

«Теперь всего тысяч двадцать».

Та опять не отвечает, а князь и ну расписывать,— что: «Я,— говорит,— суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю ее, то я буду миллионер, я,— говорит,— все переделаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркие сукна делать да азиатам в Нижний продавать. Из самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет, и большие деньги наживу, а теперь мне только двадцать тысяч на задаток за фабрику нужно».

Евгения Семеновна говорит:

«Где же их достать?»

А князь отвечает:

«Я и сам не знаю, но надо достать, а потом расчет у меня самый верный у меня есть человек — Иван Голован, из полковых конзервов, очень неумен а золотой мужик — честный, и рачитель, и долго у азиатов в плену был и все их вкусы отлично знает, а теперь у Макария стоит ярмарка, я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут... тогда... я, первое, сейчас эти двадцать тысяч отдам...»

И он замолк, а барыня помолчала, вздохнула и начинает:

«Расчет, — говорит, — ваш, князь, верен».

«Не правда ли?»

«Верен, — говорит, — верен; вы так сделаете: вы дадите за фабрику задаток вас после этого станут считать фабрикантом; в обществе заговорят, что ваши дела поправились...»

«Да».

«Да, — и тогда...»

«Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею»

«Нет, позвольте, не перебивайте меня: вы прежде поднимете всем этим на фу-фу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери и тогда, взявши за ней ее приданое, в самом деле разбогатеете».

«Ты так думаешь?» — говорит князь.

А барыня отвечает:

«А вы разве иначе думаете?»

«А ну, если ты, — говорит, — все понимаешь, так дай бог твоими устами да нам мед пить».

«Нам?»

«Конечно, — говорит, — тогда всем нам будет хорошо: ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за двадцать тысяч десять тысяч процента дам».

Барыня отвечает:

«Дом ваш: вы ей его подарили, вы и берите его, если он вам нужен»

Он было начал, что: «Нет, дескать, дом не мой; а ты ее мать, я у тебя прошу... разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь...»

А она отвечает:

«Ах, полноте, — говорит, — князь, то ли я вам, — говорит, — верила! Я вам жизнь и честь свою доверяла».

«Ах да, — говорит, — ты про это... Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно... Так завтра, стало быть, можно прислать тебе подписать закладную?»

«Присылайте, — говорит, — я подпишу».

«А тебе не страшно?»

«Нет, — говорит, — я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться».

«И не жаль? говори: не жаль? верно, еще ты любишь меня немножечко? Что? или просто сожалеешь? а?»

Она на эти слова только засмеялась и говорит:

«Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы, лучше я велю вам моченой морошки с сахаром подать? У меня она нынче очень вкусная».

Он, должно быть, обиделся: не того, видно, совсем ожидал — встает и улыбается.

«Нет, — говорит, — кушай сама свою морошку, а мне теперь не до сладостей Благодарю тебя и прощай», — и начинает ей руки целовать, а тем временем как раз и карета назад возвратилась.

Евгения Семеновна и подает ему на прощанье руку, а сама говорит:

«А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?»

А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул:

«Ах, и вправду! какая ты всегда умная! Хочешь верь, хочешь не верь, а я

всегда о твоём уме вспоминаю, и спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила!»

«А вы,— говорит,— будто про нее так и позабыли?»

«Ей-богу,— говорит,— позабыл. И из ума вон, а ее, дуру, ведь действительно надо устроить».

«Устраивайте,— отвечает Евгенья Семеновна,— только хорошенечко; она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком, она не успокоится смиренн-ем и ничего не простит ради прошлого».

«Ничего,— отвечает,— как-нибудь успокоится».

«Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит?»

«Страсть надоела; но слава богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья».

«Что же вам из этого?»— спрашивает Евгенья Семеновна.

«Ничего; дом им куплю и Ивана в купцы запишу, перевенчаются и станут жить».

А Евгенья Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила:

«Эх вы, князенька, князенька, бестолковый князенька: где ваша совесть?»

А князь отвечает:

«Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей-богу, мне теперь не до нее: мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать».

Барыня ему и сказала, что Иван Голован, говорит, в городе и даже у меня и приставши. Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал.

Вслед за этим пошло у нас все живою рукою, как в сказке. Надалвал князь мне доверенностей и свидетельства, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и усладил меня прямо из города к Макарью, так что я Груши и повидать не мог, а только все за нее на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть? У Макарья мне счастье так и повалило: набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов, и все деньги князю выслал, и сам приехал назад и своего места узнать не могу... Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменялось: все подновлено, словно изба, к празднику убранная, а флигеля, где Груша жила, и следа нет: скрыт, и на его месте новая постройка поставлена. Я так и ахнул и кинулся: где же Груша? а про нее никто и не ведаст; и люди-то в прислуге всё новые, наемные и прегордые, так что и доступу мне прежнего к князю нет. Допрежь сего у нас с ним все было по-военному, в простоте, а теперь стало все на политике, и что мне надо князю сказать, то не иначе как через камердинера.

Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался и сейчас бы ушел, но только мне очень было жаль Грушу, и никак я не могу узнать: где же это она делась? Кого из старых людей ни спрошу — все молчат: видно, что строго наказано. Насилу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тут была и всего, говорит, ден десять как с князем в коляске куда-то отъехала и с тех пор назад не вернулась. Я к кучерам, кои возили их: стал спрашивать, и те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал, а сам с Грушею куда-то на наемных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно: погубил он ее, что ли, злодей, ножом, или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу во рву бросил да сухою листвою призасыпал, или в воде утопил... От страстного человека ведь все это легко может статься; а она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгенья Семеновна правду говорила: Груша любила его, злодея, всюю страстною своею любовью цыганскою, каторжной, и ей было то не снести и не покориться, как Евгенья Семеновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним как лампаду истеглила. В этой цыганское пламище-то, я думаю, дымным костром вспыхнуло, как он ей насчет свадьбы сказал, и она тут небось неведомо что зачертила, вот он ее и покончил.

Так я все чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло, и не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанью с предводительскою дочкою. А как свадьбы день пришел и всем людям роздали цветные платки и кому какое идет по его должности новое платье я ни платка, ни убора не надел, а взял все в конюшне в своем чуланчике покинул, и ушел с утра в лес, и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера все думал: не попаду ли где на ее тело убитое? Вечер пришел, я и вышел, сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится и праздник идет; гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и в плену не было начал я с невидимой силой говорить и, как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, которую брат звал, зову ее, мою сиротинушку Грунюшку, жалобным голосом:

«Сестрица моя, моя,— говорю,— Грунюшка! откликнись ты мне, отзовись мне; откликнись мне; покажись мне на минуточку!»— И что же вы изволите думать: простонал я этак три раза, и стало мне жутко, и зачало все казаться что ко мне кто-то бежит; и вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает, и вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет!.. И прямо на мне повисло и колотится...

Глава семнадцатая



от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился, и ощущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно как подстреленный журавль, бьется и вздыхает, а ничего не молвит.

Я сотворил в уме молитву, и что же-с? — вижу перед своим лицом как раз лицо Груши...

«Родная моя! — говорю,— голубушка! живая ли ты или с того света ко мне явилась? Ничего,— говорю,— не потаись, говори правду: я тебя, бедной сироты, и мертвой не испугаюсь».

А она глубоко-глубоко из глубины груди вздохнула и говорит:

«Я жива».

«Ну, и слава, мол, богу».

«Только я,— говорит,— сюда умереть вырвалась».

«Что ты,— говорю,— бог с тобой, Грунюшка: зачем тебе умирать. Пойдем жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебе, сиротинчке особливую келейку учреджу, и ты у меня живи заместо милой сестры».

А она отвечает:

«Нет, Иван Северьяныч, нет, мой ласковый, мил-сердечный друг, прими ты от меня, сироты, на том твоём слове вечный поклон, а мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить».

Пытаю ее:

«Про кого же ты это говоришь? про чью душу жалеешь?»

А она отвечает:

«Про ее, про лиходея моего жену молодую, потому что она — молодая душа, ни в чем не повинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпеть не может, и я ее и себя погублю».

«Что ты, мол, перекрестись: ведь ты крещеная, а что душе твоей будет?»

«Не-е-е-т,— отвечает,— я и души не пожалею, пускай в ад идет. Здесь хуже ад!»

Вижу, вся женщина в расстройстве и в иступлении ума: я ее взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь, как страшно она переменялась и где вся ее красота делась? тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица как в ночи у волка горят и еще будто против прежнего вдвое больше стали, да недро разнесло, потому что тягость ее тогда к концу приходила, а личико в кулачок сжало, и по щекам черные космы трепятыся. Гляжу на платьице, какое на ней надето, а платьице темное, ситцевенькое, как есть все в клочочках, а башмачки на босу ногу.

«Скажи,— говорю,— мне: откуда же ты это сюда взялась; где ты была и отчего такая неприглядная?»

А она вдруг улыбнулась и говорит:

«Что?.. чем я нехороша?.. Хороша! Это меня так убрал мил-сердечный друг за любовь к нему за верную: за то, что того, которого больше его любила, для него позабыла и вся ему предалась, без ума и без разума, а он меня за то в крепкое место упрятал и сторожей настановил, чтобы строго мою красоту стеречь...»

И с этим вдруг-с как захохочет и молвит с гневностью:

«Ах ты, глупая твоя голова княженецкая: разве цыганка барышня, что ее запоры удержат? Да я захочу, я сейчас брошусь и твоей молодой жене горло переем».

Я вижу, что она сама вся трясется от ревнивой муки, и думаю: дай я ее не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу, и говорю:

«А ведь как, мол, он любил-то тебя! Как любил! Как ноги-то твои целовал... Бывало, на коленях перед диваном стоит, как ты поешь, да алую туфлю твою и сверху и снизу в подошву обцелует...»

Она это стала слушать, и вечницами своими черными водит по сухим щекам, и, в воду глядя, начала гулким тихим голосом:

«Любил,— говорит,— любил, злодей, любил, ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу, а полюбила его — он покинул. А за что?.. Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станет... Глупый он, глупый!.. Не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила; так ты и скажи ему: мол, Груша, умирая, так тебе ворожила и на рок положила».

Я тут и рад, что она разговорилась, и пристал, спрашиваю:

«Да что это такое у вас произошло и через что все это случилось?»

А она всплескивает руками и говорит:

«Ах, ни через что ничего не было, а все через одно изменство... Нравиться ему я перестала, вот и вся причина,— и сама, знаете, все это говорит, а сама начинает слезами хлпать.— Он,— говорит,— платьев мне по своему вкусу таких нашил, каких тягостной не требуется: узких да с талиями; я их надену, выстроюсь, а он сердится, говорит: «Скинь, не идет тебе»; не надену их, в распашне покажусь, еще того вдвое обидится, говорит: «На кого похожа ты?» Я все поняла, что уже не воротить мне его, что я ему опротивела...»

И с этим совсем зарыдала и сама вперед смотрит, а сама шепчет:

«Я,— говорит,— давно это чуяла, что не мила ему стала, да только совесть

его хотела узнать, думала: ничем ему не досажу и догляжусь его жалости, а он меня и пожалел...»

И рассказала-с она мне насчет своей последней с князем разлуки такую пустяковину, что я даже не понял, да и посейчас не могу понять: на чем коварный человек может с женщиною вековечно расстроиться?

Глава восемнадцатая



Рассказала Груша мне, что как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарью отправился, князя еще долго домой не было: а до меня, говорит, слухи дошли, что он женится... Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала... Сердце болело, и дитя подкатывало... думала: оно у меня умрет в утробе. А тут, слышу, вдруг и говорят: «Он едет!» Все во мне затрепетало... Кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться, изумрудные серьги надела и тащу со стены из-под простыни самое любимое его голубое морёвое платье с кружевом, лиф без горлышка... Спешу, одеваю, а сзади спинка не сходится... я эту спинку и не застегнула, а так, поскорее, сверху алую шаль набросила, чтобы не видеть, что не застегнуто, и к нему на крыльцо выскочила... вся дрожу и себя не помню, как крикнула:

«Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый!» — да обхватила его шею руками и замерла...

Дурнота с нею сделалась.

«А прочудилась я, — говорит, — у себя в горнице... на диване лежу и все вспоминаю: во сне или наяву я его обнимала; но только была, — говорит, — со мною ужасная слабость», и долго она его не видала... Все посылала за ним, а он не шел.

Наконец он приходит, а она и говорит:

«Что же ты меня совсем бросил-позабыл?»

А он говорит:

«У меня есть дела».

Она отвечает:

«Какие, — говорит, — такие дела? Отчего же их прежде не было? Изумруд ты мой бразилантовый!» — да и протягивает опять руки, чтобы его обнять, а он наморщился и как дернет ее изо всей силы крестовым шнурком за шею...

«На счастье, — говорит, — мое, шелковый шнурочек у меня на шее не крепок был, перезнил и перервался, потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передушил; да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит:

«Зачем ты такие грязные шнурки носишь?»

А я говорю:

«Что тебе до моего шнурка; он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжелого пота».

А он:

«Тьфу, тьфу, тьфу», — заплевал, заплевал и ушел, а перед вечером входит сердитый и говорит:

«Поедем в коляске кататься!» — и притворился, будто ласковый, и в голову

меня поцеловал: а я, ничего не опасаясь, села с ним и поехала. Ехали мы долго и два раза лошадей переменяли, а куда едем — никак не доспрошусь у него, но вижу, настало место лесное и болотное, непригожее, дикое. И приехали среди леса на какую-то пчельню, а за пчельню — двор, и тут встречают нас три молодые здоровые девки-однодворки в мареновых красных юбках и зовут меня «барыней». Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прямо понесли в комнату, совсем убранную.

Меня что-то сразу от всего этого, и особенно от этих однодворок, замутило, и сердце мое сжалось.

«Что это, — спрашиваю его, — какая здесь станция?»

А он отвечает:

«Это ты здесь теперь будешь жить».

Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не бросал меня тут, а он и не пожалел: толкнул меня прочь и уехал...»

Тут Грушенька умолкла и личико вниз спустила, а потом вздыхает и молвит:

«Уйти хотела; сто раз порывалась — нельзя: те девки-однодворки стерегут и глаз не спускают... Томилась я, да, наконец, вздумала притвориться и прикинулась беззаботною, веселою, будто гулять захотела. Они меня гулять в лес берут, да всё за мной смотрят, а я смотрю по деревьям, по верхам ветвей да по коже примечаю — куда сторона на полдень, и вздумала, как мне от этих девок уйти, и вчера то исполнила. Вчера после обеда вышла я с ними на полянку, да и говорю:

«Давайте, — говорю, — ласковые, в жмурки по полянке бегать».

Они согласились.

«А вместо глаз, — говорю, — станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить».

Они и на то согласны.

Так и стали. Я первой руки за спину крепко-накрепко завязала, а с другою за куст забежала, да и эту там спутала, а на ее крик третья бежит, я и третью у тех в глазах силком скрутила; они кричать, а я, хоть тягостная, ударилась быстреею коня резвого: все по лесу да по лесу и бежала целую ночь и наутро упала у старых бортей в густой засеке. Тут подошел ко мне старый старичок, говорит — неразборчиво шамкает, а сам весь в воску и ото всего от него медом пахнет, и в желтых бровях пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видеть хочу, а он говорит:

«Кличь его, молодка, раз под ветер, а раз супротив ветра: он затоскует и пойдет тебя искать, — вы и встретитесь». Дал он мне воды испить и медку на огурчике подкрепиться. Я воды испила и огурчик съела, и опять пошла, и все тебя звала, как он велел, то по ветру, то против ветра — вот и встретились. Спасибо! — и обняла меня, и поцеловала, и говорит:

«Ты мне все равно что милый брат».

Я говорю:

«И ты мне все равно что сестра милая», — а у самого от чувства слезы пошли.

А она плачет и говорит:

«Знаю я, Иван Северьяныч, все знаю и разумею; один ты и любил меня, мил-сердечный друг мой, ласковый. Докажи же мне теперь твою последнюю любовь, сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час».

«Говори, — отвечаю, — что тебе хочется?»

«Нет; ты, — говорит, — прежде поклянись чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем просить стану».

Я ей своим спасеньем души поклялся, а она говорит:

«Это мало: ты это ради меня преступишь. Нет, ты, — говорит, — страшной поклянись».

«Ну, уже я, мол, страшнее этого ничего не могу придумать».

«Ну так я же,— говорит,— за тебя придумала, а ты за мной поспедай говори и не раздумывай».

Я сдуру пообещался, а она говорит:

«Ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не послушаешь».

«Хорошо»,— говорю,— и взял да ее душу проклял.

«Ну, так послушай же,— говорит,— теперь же стань поскорее душе моей за спасителя; моих,— говорит,— больше сил нет как жить да мучиться, видючи его измену и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и его и ее порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку... Пожалей меня, родной мой, мой миленький брат: ударь меня раз ножом против сердца».

Я от нее в сторону да крещу ее, а сам пячуся, а она обвила ручками мои колени, а сама плачет, сама в ноги кланяется и увещает:

«Ты,— говорит,— поживешь, ты богу отмолишь и за мою душу и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла... Н... н... н... у...»

Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расхолодившейся груди:

— Нож у меня из кармана достала... розняла... из ручки лезвие выправила... и в руки мне сует... А сама... стала такое несть, что терпеть нельзя...

«Не убьешь,— говорит,— меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной».

Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял да так с крутизны в реку и спихнул...

Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание, но наконец кто-то откашлянулся и молвил:

— Она утонула?..

— Залилась,— отвечал Иван Северьяныч.

— А вы же как потом?

— Что такое?

— Пострадали небось?

— Разумеется-с.

Глава девятнадцатая



бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался, ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное и голова малая, как луновочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель-бес; и все я от него убежал и звал к себе ангела-хранителя. Опомнился же я где-то на большой дороге, под ракиточкой. И такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит; а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет, и ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибающая и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить. А как это сделать — не знаю и об этом тоскую, но только вдруг меня за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка с ракиты пала и далеконько так покатилась;

покатилася, и вдруг Груша идет, только маленькая, не больше как будто ей всего шесть или семь лет, и за плечами у нее малые крылышки; а чуть я ее увидал, она уже сейчас от меня как выстрел отлетела, и только пыль да сухой лист след за ней воскурились.

Думаю я: это непременно ее душа за мной следует, верно, она меня манит и путь мне кажет. И пошел. Весь день я шел сам не знаю куда и невозможу устал, и вдруг нагоняют меня люди, старичок со старушкою на телеге парою, и говорят:

«Садись, бедный человек, мы тебя подвезем».

Я сел. Они едут и убиваются:

«Горе,— говорят,— у нас сына в солдаты берут; а капиталу не имеем, нанять не на что».

Я старичков пожалел и говорю:

«Я бы за вас так, без платы, пошел, да у меня бумаг нет».

А они говорят:

«Это пустяки: то уже наше дело; а ты только назовись, как наш сын, Петром Сердюковым».

«Что же,— отвечаю,— мне все равно: я своему ангелу Ивану Предтече буду молитвить, а называться я могу всячески, как вам угодно».

Тем и покончили, и отвезли они меня в другой город, и сдали меня там вместо сына в рекруты, и дали мне на дорогу монетою двадцать пять рублей, а еще обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял, двадцать пять рублей, сейчас положил в бедный монастырь — вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось, и я пробыл на Кавказе более пятнадцати лет и никому не открывал ни настоящего своего имени, ни звания, а все назывался Петр Сердюков и только на Иванов день богу за себя молил, через Предтечу-ангела. И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание, и дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те напаскудили и ушли за реку Койсу. Тех Койс в том месте несколько: которая течет по Андии, так и зовется андийская, которая по Аварии, зовется аварийская Койса, а то хорикумуйская и кузикумуйская, и все они сливаются, и от сливу их зачинается Сулак-река. Но все они и по себе сами быстры и холодны, особливо андийская, за которую татарва ушли. Много мы их тут без счету этих татаров побили; но кои переправились за Койсу,— те сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в нас палят. Но палят с такою сноровкою, что даром огня не тратят, а берегут зелье на верный вред, потому что знают, что у нас снаряду не в пример больше ихнего, и так они нам вредно чинят, что стоим мы все у них в виду, они, шельмы, ни разу в нас и не пукнут. Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять, все, бывало, «помилуй бог» говорил и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул и по колени в эту холоднищую воду опустил, а сам хвалится:

«Помилуй бог,— говорит,— как вода тепла: все равно что твое парное молочко в доеночке. Кто, благодетели, охотники на ту сторону переплыть и канат переташить, чтобы мост навесить?»

Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает, а татары с того бока два ствола ружей в щель выставили, а не стреляют. Но только что два солдатика-охотники вызвались и поплыли, как сверкнет пламя, и оба те солдатика в Койсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару, а сами те камни, где татары спрятались, как роем, пулями осыпая, но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плывут в пловцов, так вода кровью замутилась, и опять те два солдатика юркнули. Пошли с ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, как татары и этих утопили. Тут уже за третью парою и мало стало охотников,

потому что видимо всем, что это не война, а просто убийство, а наказать злодеев надобно. Полковник и говорит:

«Слушайте, мои благодетели. Нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть?»

Я и подумал:

«Чего же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? благослови, господи, час мой!»— и вышел, разделся, «Отчу» прочитал, на все стороны начальству и товарищам в землю ударил и говорю в себе: «Ну, Груша, сестра моя названная, прими за себя кровь мою!»— да с тем взял в рот тонкую бечеву на которой другим хонцом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу и юркнул в воду.

Вода страсть была холодна: у меня даже под мышками закололо, и грудь мрет, судорога ноги тянет, а я плыву... Поверху наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлепают, а меня не касаются, и я не знаю: ранен я или не ранен, но только достиг берега... Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под уцельем стал, и чтобы им стрелять в меня, надо им из щели высунуться, а наши их с того берега пулями как песком осыпают. Вот я стою под камнями и тяну канат, и перетянул его, и мосток справили, и вдруг наши сюда уже идут, а я все стою и как сам из себя изъят, ничего не понимаю, потому что думаю: видел ли кто-нибудь то, что я видел? А я видел, когда плыл, что надо мною Груша летела, и была она как отроковица примерно в шестнадцать лет, и у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала... Однако, вижу, никто о том ни слова не говорит: ну, думаю, надо мне самому это рассказать. Как меня полковник стал обнимать и сам целует, а сам хвалит:

«Ой, помилуй бог,— говорит,— какой ты, Петр Сердюков, молодец!»

А я отвечаю:

«Я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет».

Он вопрошает:

«В чем твой грех?»

А я отвечаю:

«Я,— говорю,— на своем веку много неповинных душ погубил»,— да и рассказал ему ночью под палаткою все, что вам теперь сказывал.

Он слушал, слушал, и задумался, и говорит:

«Помилуй бог, сколько ты один перенес, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвесть. Я об этом представление пошлю».

Я говорю:

«Как угодно, а только пошлите и туда узнать, не верно ли я показываю, что я цыганку убил?»

«Хорошо,— говорит,— и об этом пошлю».

И послали, но только ходила, ходила бумага и назад пришла с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происшествия ни с какою цыганкою не было, а Иван-де Северьянов хотя и был и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел и опосля того у казенных крестьян Сердюковых в доме помер.

Ну что тут мне было больше делать: чем свою вину доказывать?

А полковник говорит:

«Не смей, братец, больше на себя этого врать: это ты как через Койсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался, и я,— говорю,— очень за тебя рад, что это все неправда, что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь; это, брат, помилуй бог, как хорошо».

Тут я даже и сам мыслями растерялся: точно ли я спихнул Грушу в воду, или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение было?

И сделали-с меня за храбрость офицером, но только как я все на своей истине стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку.

«Поздравляем,— говорят,— тебя, ты теперь благородный и можешь в приказные идти; помилуй бог, как спокойно,— и письмо мне полковник к одному большому лицу в Петербург дал.— Ступай,— говорит,— он твою карьеру и благополучие совершит». Я с этим письмом и добрался до Питера, но не посчастливилось мне насчет карьеры.

— Чем же?

— Долго очень без места ходил, а потом на фиту попал, и оттого стало еще хуже.

— Как на фиту? что это значит?

— Тот покровитель, к которому я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справке заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки, или покой, или како: много на них фамилий начинается, и справщику есть доход, а меня поставили на фиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется, и то еще из тех, кои по всем видам ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят: кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо фиты через ферт ставит. Ищешь-ищешь его под фитою — только пропащая работа, а он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе; ну, я и вижу, что дело плохо, и стал опять наниматься, по старому обыкновению, в кучера, но никто не берет; говорят: ты благородный офицер, и военный орден имеешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно... Просто хоть повеситься, но я благодаря бога и с отчаянности до этого себя не допустил, а чтобы с голоду не пропасть, взял да в артисты пошел.

— Каким же вы были артистом?

— Роли представлял.

— На каком театре?

— В балагане на Адмиралтейской площади. Там благородством не гнушаются и всех принимают: есть и из офицеров, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатских очень много.

— И понравилась вам эта жизнь?

— Нет-с.

— Чем же?

— Во-первых, разучка вся и репетиция идут на страстной неделе или перед масленицей, когда в церкви поют: «Покаяния отверзи ми двери», а во-вторых, у меня роль была очень трудная.

— Какая?

— Я демона изображал.

— Чем же это особенно трудно?

— Как же-с: в двух переменах танцевать надо и кувыркаться, а кувыркнуться страсть неспособно, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла вверх шерстью; и хвост длинный на проволоке, но он постоянно промеж ног путается, а рога на голове за что попало цепляются, а годы уже стали не прежние, не молодые, и легкости нет; а потом еще во все продолжение представления расписано меня бить. Ужасно как это докучает. Палки эдакие, положим, пустые, из холстины сделаны, а в середине хлопья, но, однако, скучно ужасно это терпеть, что всё по тебе хлоп да хлоп, а иные к тому еще с холоду или для смеху изловчатся и бьют довольно больно. Особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные: всё за своих стоят, а которые попадутся военные, они тем ужасно докучают, и всё это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается, и бьют до самой до ночи, и все, всякий, чтобы публику утешить, норовит громче хлопнуть. Ничего приятного

нет. А вдобавок ко всему со мною и здесь неприятное последствие вышло, после которого я должен был свою роль оставить.

— Что же это такое, с вами случилось?

— Принца одного я за вихор подрал.

— Как принца?

— То есть не настоящего-с, а театрашного: он из сенатских был, коллежский секретарь, но у нас принца представлял.

— За что же вы его прибили?

— Да стоило-с его еще и не эдак. Насмешник злой был и выдумщик и все над всеми шутки выдумывал.

— И над вами?

— И надо мною-с; много шуток строил: костюм мне портил; в грельне, где мы, бывало, над угольями грелися и чай пили, подкрадется, бывало, и хвост мне к рогам прицепит или еще что глупое сделает на смех, а я не осмотрюсь да так к публике выбегу, а хозяин сердится; но я за себя все ему спускал, а он вдруг стал одну фею обижать. Молоденькая такая девочка, из бедных дворяночек, богиню Фортуны она у нас изображала и этого принца от моих рук спасти должна была. И роль ее такая, что она вся в одной блестящей тюли выходит и с крыльями, а морозы большие, и у нее у бедной ручонки совсем посинели, зашлись, а он ее допекает, лезет к ней, и когда мы втроем в апофезе в подпол проваливаемся, за тело ее щипет. Мне ее очень жаль стало: я его и отрепал.

— И чем же это кончилось?

— Ничего; в провале свидетелей не было, кроме самой этой феи, а только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в труппе иметь; а как они первые там представители, то хозяин для их удовольствия меня согнал.

— И куда же вы тогда делись?

— Совсем без крова и без пищи было остался, но эта благородная фея меня питала, но только мне совестно стало, что ей, бедной, самой так трудно достается, и я все думал-думал, как этого положения избавиться? На фиту не захотел воротаться, да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился, так я взял и пошел в монастырь.

— От этого только?

— Да ведь что же делать-с? деться было некуда. А тут хорошо.

— Полюбили вы монастырскую жизнь?

— Очень-с; очень полюбил,— здесь покойно, все равно как в полку, много сходственного, все тебе готовое: и одет, и обут, и накормлен, и начальство смотрит и повиновения спрашивает.

— А вас это повиновение иногда не тяготит?

— Для чего же-с? что больше повиноваться, то человеку спокойнее жить, а особенно в моем послушании и обижаться нечем: к службам я в церковь не хожу иначе, как разве сам пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному, скажут: «запрягай, отец Измаил» (меня теперь Измаилом зовут),— я запрягу; а скажут: «отец Измаил, отпрягай»,— я откладываю.

— Позвольте,— говорим,— так это что же такое, выходит, вы и в монастыре остались... при лошадях?

— Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я хотя и в малом еще постриге, а все же монах и со всеми сравнен.

— А скоро же вы примете старший постриг?

— Я его не приму-с.

— Это почему?

— Так... достойным себя не почитаю.

— Это все за старые грехи или заблуждения?

— Д-д-а-с. Да и вообще зачем? я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии.

— А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали?

— Как же-с; не раз говорил; да что же, когда справок нет... не верят, так и в монастырь светскую ложь занес, и здесь из благородных числюсь. Да уже все равно доживать: стар становлюсь.

История очарованного странника, очевидно, приходила к концу, оставалось полюбопытствовать только об одном: как ему повелось в монастыре.

Глава двадцатая



ак как наш странник доплыл в своем рассказе до последней житейской пристани — до монастыря, к которому он, по глубокой вере его, был от рождения предназначен, и так как ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Северьянович более уже ни на какие напасти не натъкнется; однако же вышло совсем иное. Один из наших спутников вспомнил, что иноки, по всем о них сказаниям, постоянно очень много страдают от беса, и спросил:

— А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? ведь он, говорят, постоянно монахов искушает?

Иван Северьянович бросил из-под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал:

— Как же не искушать? Разумеется, если сам Павел-апостол от него не ушел и в послании пишет, что «ангел сатанин был дан ему в плоть», то мог ли я, грешный и слабый человек, не претерпеть его мучительства.

— Что же вы от него терпели?

— Многое-с.

— В каком же роде?

— Всё разные пакости, а сначала, пока я его не пересилил, были даже и соблазны.

— А вы и *его*, самого беса, тоже пересилили?

— А то как же иначе-с? Ведь это уже в монастыре такое призвание, но я бы этого, по совести скажу, сам не сумел, а меня тому один совершенный старец научил, потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользоваться. Как я ему открылся, что мне все Груша столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит:

«У Якова-апостола сказано: «Противустаньте дьяволу, и побежит от вас», и ты,— говорит,— противустань». И тут наставил меня так делать, «что ты,— говорит,— как если почувствуешь сердцеразжижение и ее вспомнишь, то и разумей, что это, значит, к тебе приступает ангел сатанин, и ты тогда сейчас простирайся противу его на подвиг: перво-наперво стань на колени. Колени у человека,— говорит,— первый инструмент: как на них падешь, душа сейчас так и порхнет вверх, а ты тут, в сем возвышении, и бей поклонов земных елико мощно, до изнеможения, и изнуряй себя постом, чтобы заморить, и дьявол как увидит твое протягивание на подвиг, ни за что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями еще прямее ко Христу не привести, и помыслит: «Лучше его оставить и не

искушать, авось-де он скорее забудется». Я стал так делать, и действительно все прошло.

— Долго же вы себя этак мучили, пока от вас ангел сатаны отступал?

— Долго-с; и все одним измором его, врага этакого, брал, потому что он другого ничего не вкушал и воды не пил, а потом он понял, что ему со мною спорить не ровно, и оробел, и слаб стал: чуть увидит, что я горшочек пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать, он уже понимает, что я не шучу и опять простираюсь на подвиг, и убежит. Ужасно ведь, как он боится, чтобы человека к отраде упования не привести.

— Однако же, положим... он-то... Это так: вы его преодолели, но ведь сколько же и сами вы от него перетерпели?

— Ничего-с, что же такое, я ведь угнетал гнетущего, а себе никакого стеснения не делал.

— И теперь вы уже совсем от него избавились?

— Совершенно-с.

— И он вам вовсе не является?

— В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит, а если порою еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде: визжит, как будто поросенок издыхает. Я его, негодая, теперь даже и не мучу, а только раз перекрещу и положу поклон, он и перестанет хрюкать.

— Ну и слава богу, что вы со всем этим так справились.

— Да-с; я соблазны большого беса осилил, но, доложу вам, — хоть это против правила, — а мне мелких бесенят пакости больше этого надокучили.

— А бесенята разве к вам тоже приставали?

— Как же-с; положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут...

— Что же такое они вам делают?

— Да ведь ребятишки, и притом их там, в аду, очень много, а дела им при готовых харчах никакого нет, вот они и просят на землю поучиться смущать, и балуются, и чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают.

— Что же такое они, например... чем могут досаждают?

— Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибешь и кого-нибудь тем смутишь и разгневаешь, а им это первое удовольствие, весело: в ладоши хлопают и бежат к своему старшому: дескать, и мы смутили, дай нам теперь за то грошик. Ведь вот из чего бьются... Дети.

— Чем же именно им, например, удавалось вас смутить?

— Да вот, например, у нас такой случай был, что один жид в лесу около монастыря удавился, и стали все послушники говорить, что это Иуда и что он по ночам по обители ходит и вздыхает, и многие были о том свидетели. А я об нем и не сокрушался, потому что думал: разве мало у нас, что ли, жидов осталось, но только раз ночью сплю в конюшне и вдруг слышу, кто-то подошел и морду в дверь через поперечную перекладину всунул и вздыхает. Я сотворил молитву, — нет, все-таки стоит. Я перекрестил: все стоит и опять вздохнул. «Ну что, мол, я тебе сделаю: молиться мне за тебя нельзя, потому что ты жид, да хоть бы и не жид, так я благодати не имею за самоубийц молить, а пошел ты от меня прочь в лес или в пустыню». Положил на него этакое заклятие, он и отошел, а я опять заснул, но на другую ночь он, мерзавец, опять приходит и опять вздыхает... мешает спать, да и все тут. Как ни терпел, просто сил нет! Тыфу ты, невежа, думаю, мало ему в лесу или на паперти места, чтобы еще непременно сюда в конюшню ко мне ломиться? Ну, нечего делать, видно, надо против тебя хорошее средство изобретать: взял и на другой день на двери чистым углем большой крест написал, и как пришла ночь, я и лег спокойно, думаю себе: уж теперь не придет, да только что с этим заснул, а он и вот он, опять стоит и опять вздыхает! Тыфу ты, каторжный

ничего с ним не поделаешь! Всю как есть эту ночь он меня этак пугал, а утром, чуть ударили в первый колокол к заутрене, я поскорее вскочил и бегу, чтоб пожаловаться настоятелю, а меня встречает звонарь, брат Диомид, и говорит:

«Чего ты такой пуганный?»

Я говорю:

«Так и так, такое мне во всю ночь было беспокойство, и я иду к настоятелю».

А брат Диомид отвечает:

«Брось, — говорит, — и не ходи, настоятель вчера себе в нос пиявку ставил и теперь *пресердигый* и ничего тебе в этом деле не поможет, а я тебе, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать».

Я говорю:

«А мне совершенно все равно; только сделай милость, помоги, — я тебе за это старые теплые рукавицы подарю, тебе в них зимою звонить будет очень способно».

«Ладно», — отвечает.

И я ему рукавицы дал, а он мне с колокольни старую церковную дверь принес, на коей Петр-апостол написан, и в руке у него ключи от царства небесного.

«Вот это-то, — говорит, — и самое важное есть *ключи*: ты эту дверь только заставишь, так уже через нее никто не пройдет».

Я ему мало в ноги от радости не поклонился и думаю: чем мне эту дверь заставлять да потом ее отставлять, я ее лучше фундаментально прилажу, чтобы она мне всегда была ограждением, и взял и учинил ее на самых надежных плотных петлях, а для безопасности еще к ней самый тяжелый блок приснастил из булыжного камня, и все это исправил в тишине в один день до вечера и, как пришла ночная пора, лег в свое время и сплю. Но только, что же вы изволите думать: слышу — опять дышит! просто ушам своим не верю, что это можно, а нет: дышит, да и только! да еще мало этого, что дышит, а прет дверь... При старой двери у меня изнутри замок был, а в этой, как я более на святость ее располагался, замка не приладил, потому что и времени не было, то он ее так и пихает, и все раз от разу смелее, и, наконец, вижу, как будто морда просунулась, но только дверь размахнулась на блоке и его как свистнет со всей силы назад... А он отскочил, видно, почесался, да, мало обождавши, еще смелее, и опять морда, а блок ее еще жестче щелк... Больно, должно быть, ему показалось, и он усмирел и больше не лезет, я и опять заснул, но только прошло мало времени, а он, гляжу, подлец, опять за свое взялся, да еще с новым искусством. Уже нет того, чтобы бодать и прямо лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул, и как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня долой сорвал да как лизнет меня в ухо... Я больше этой наглости уже не вытерпел: спустил руку под кровать и схватил топор да как тресну его, слышу — замычал и так и бякнул на месте. «Ну, — думаю, — так тебе и надо», — а вместо того, утром, гляжу, никакого жиды нет, а это они, подлещи, эти бесенята, мне вместо его корову нашу монастырскую подставили.

— И вы ее поранили?

— Так и прорубил топором-с! Смущение ужасное было в монастыре.

— И вы, чай, неприятности какие-нибудь за это имели?

— Получил-с: отец игумен сказали, что это все оттого мне представилось, что я в церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись с лошадьми, всегда наперед у решетки для возжигания свеч стоял, а они тут, эти пакостные бесенята, еще лучше со мною подстроили и окончательно подвели. На самого на Мокрого Спаса, на всенощной, во время благословения хлебов, как надо по чину, отец игумен и иеромонах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая подает мне свечечку и говорит:

«Поставь, батюшка, празнику».

Я подошел к аналою, где положена икона «Спас на водах», и стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся, эту поднял, стал прилепливать, — две

уронил. Стал их вправлять, ан, гляжу — четыре уронил. Я только головой качнул, ну, думаю, это опять непременно мне пострелята досаждают и из рук рвут... Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь да как затылком махну под низ: об подсвечник... а свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился да взял и все остальные свечи рукой посбивал. «Что же, — думаю, — если этакая наглость пошла, так лучше же я сам поскорее все это опрокину».

— И что же с вами за это было?

— Под суд меня за это хотели было отдать, да схимник, слепенький старец Сысой, в земляном затворе у нас живет, так он за меня заступился.

«За что, — говорит, — вы его будете судить, когда это его сатанины служители смутили».

Отец игумен его послушались и благословили меня без суда в пустой погреб опустить.

— Надолго же вас в погреб посадили?

— А отец игумен не благословили, на сколько именно времени, а так сказали только, что «посадить», я все лето до самых до заморозков тут и сидел.

— Ведь это, надо полагать, скука и мучение в погребе, не хуже, чем в степи?

— Ну нет-с: как же можно сравнить? здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали. Придут, сверху над ямой станут, и поговорим, а отец казначей жернов мне на веревке велели спустить, чтобы я соль для поварни молот. Какое же сравнение со степью или с другим местом.

— А потом когда же вас вынули? верно, при морозах, потому что холодно стало?

— Нет-с, это не потому, совсем не для холода, а для другой причины, так как я стал пророчествовать.

— Пророчествовать?!

— Да-с, я в погребу наконец в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух и сколько я через него претерпеваю, а ничего не усовершеняюсь, и послал я одного послушника к одному учительному старцу спросить: можно ли мне у бога просить, чтобы другой, более соответственный дух получить? А старец наказал мне сказать, что «пусть, — говорит, — помолится, как должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидает».

Я так и сделал: три ночи всё на этом инструменте, на коленях, стоял в своей яме, а духом на небо молился и стал ожидать себе иного в душе совершения. А у нас другой инок Геронтий был, этот был очень начитанный и разные книги и газеты держал, и дал он мне один раз читать житие преподобного Тихона Задонского, и когда, случалось, мимо моей ямы идет, всегда, бывало, возьмет да мне из-под раски газету кинет.

«Читай, — говорит, — и усматривай полезное: во рву это тебе будет развлечение».

Я, в ожидании невозможного исполнения моей молитвы, стал покамест этим чтением заниматься: как всю соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю, и начинаю читать, и начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили его в келии пресвятая владычица и святые апостолы Петр и Павел. Писано, что угодник божий Тихон стал тогда просить богородицу о продлении мира на земле, а апостол Павел ему громко ответил знамение, когда не станет мира, такими словами: «Егда, — говорит, — все рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапно всегубительство». И стал я над этими апостольскими словами долго думать и все вначале никак этого не мог понять: к чему было святому от апостола в таких словах откровение? На конец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас и в чужих краях неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось мое прошение, и стал я вдруг понимать, что сблизается реченное: «Егда рекут мир, нападает внезапно всегубительство», и я исполнился страха за народ свой русский и начал молиться и всех других, кто ко мне к яме придет, стал со слезами увещивать, молитесь, мол, о покорении под нозе царя

нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам всегубительство. И даны были мне слезы, дивно обильные!.. все я о родине плакал. Отцу игумену и доложили, что, говорят, наш Измаил в погребке стал очень плакать и войну пророчествовать. Отец игумен и благословили меня за это в пустую избу на огород перевестись и поставить мне образ «*Благое молчание*», пишется Спас с крылами тихими, в виде ангела, но в Саваофовых чинах заместо венца, а ручки у груди смиренно сложены. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклоны клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли, и я так до весны взаперти там и пребывал в этой избе и все «*Благому молчанию*» молился, но чуть человека увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю. На ту пору игумен лекаря ко мне прислали посмотреть: в рассудке я не поврежден ли? Лекарь со мною долго в избе сидел, вот этак же, подобно вам, всю мою повесть слушал и плюнул:

«Экий,— говорит,— ты, братец, барабан: били тебя, били, и все никак еще не добьют».

Я говорю:

«Что же делать? Верно, так нужно».

А он, все выслушавши, игумену сказал:

«Я,— говорит,— его не могу разобрать, что он такое: так просто добряк, или помешался, или взаправду предсказатель. Это,— говорит,— по вашей части, а я в этом несведуш, мнение же мое такое: прогоните,— говорит,— его куда-нибудь подальше пробегаться, может быть, он засиделся на месте».

Вот меня и отпустили, и я теперь на богомоление в Соловки к Зосиме и Савватию благословился и пробираюсь. Везде был, а их не видал и хочу им перед смертью поклониться.

— Отчего же «перед смертью»? Разве вы больны?

— Нет-с, не болен; а все по тому же случаю, что скоро надо будет воевать.

— Позвольте: как же это вы опять про войну говорите?

— Да-с.

— Стадо быть, вам «*Благое молчание*» не помогло?

— Не могу знать-с: усиливаюсь, молчу, а дух одолевает.

— Что же он?

— Все свое внушает: «ополчайся».

— Разве вы и сами собираетесь идти воевать?

— А как же-с? Непременно-с: мне за народ очень помереть хочется.

— Как же вы: в клубке и в рясе пойдете воевать?

— Нет-с; я тогда клубочок сниму, а амуничку надену.

Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше спрашивать? повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещения его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам.





Глава первая



В царствование Екатерины II, у некоторых приказного рода супругов, по фамилии Рыжовых, родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарию кн. Гагарина, значится семь каменных церквей, два духовные и одно светское училище, семь фабрик и заводов, тридцать семь лавок, три трактира, два питейные дома и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают две годовые ярмарки и еженедельные базары; кроме того, значится «довольно деятельная торговля известью и дегтем». В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы.

Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравчатый герой нашего рассказа Алексашка, или, впоследствии, Александр Афанасьевич Рыжов, по уличному прозвищу «Однодум».

Родители Алексашки имели собственный дом — один из тех домиков, которые в здешней лесной местности *ничего не стоят*, но, однако, дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или по крайней мере о них мне ничего не сказано.

Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, «ничего не стоил». Но вдова-приказничиха сама дорого стоила: она была из тех русских женщин, которая «в беде не сробеет, спасет; коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет», — простая здравая, трезвомысленная русская женщина, с силою в теле, с отвагой в душе и с нежною способностью любить горячо и верно.

Когда она овдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода, и к ней кое-кто засылали свях, но она отклонила новое супружество

и стала заниматься печением пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и печенкою, а по постным — с кашею и горохом; вдова выносила их в ночах на площадь и продавала по медному пятаку за штуку. От прибыли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку «мастерице»; мастерица научила Алексашку тому, что сама знала. Дальнейшую же, более серьезную науку преподавал ему дьяк с косяю и с кожаным карманом, в коем у него без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления.

Дьяк, «отучив» Алексашку, взял горшок каши за выучку, и с этим вдвоин сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира.

Алексашке тогда было четырнадцать лет, и в этом возрасте его можно откомендовать читателю.

Молодой Рыжов порою удалялся в мать: он был рослый, плечистый, — почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отроческие годы он был уже первый силач и так удачно предводительствовал *стеною* на кулачных боях, что на которой стороне был Алексашка Рыжов, — та считалась непобедимой. Он был досуж и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он написал старухам множество заупокойных поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, умерен во всем и никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи.

В четырнадцать лет он уже считал грехом есть материн хлеб; поминания приносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен; к торговле Рыжов питал врожденное отвращение, а оставить Солигалич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А потому надо было здесь же промыслить себе занятие, и он его промыслил.

В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения: между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые *носили* суму с пакетами. Это называлась пешая почта. Плата за эту службу назначалась не великая: рубля полтора в месяц «на своих харчах и при своей обуви». Но для кого и такое содержание было заманчиво, те колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным: не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству?

Всякий, кому довелось о том слышать, — раздумывал, как бы не истравить этим душой и за мзду, временную не потерять жизнь вечную. И тут-то вот общее сирдоблие устроило Рыжовкина Алексашку.

— Он, — говорили, — сирота: ему больше господь простит, — особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогою медведь или волк задерет и он на суд предстанет, одно отвечать: «не разумел, господи», да и только. И в ту пору взять с него нечего. А если да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все преотлично отмолить, да еще не за своей свечой и при чужом ладане. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего?

Сам Алексашка, которого это касалось всех более, был от мира не прочь и на мир не челобитчик: он смелою рукою взял почтовую суму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича в Чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре: он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка, — не поэтическая, а философская, и из него вышел только замечательный чудака «Однодум». Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали; почтовая сума до такой степени была нипочем его могучей

спине, что он, кроме этой сумы, всегда носил с собою еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние.

Книга эта была Библия.

Глава вторая



не известно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская суму и Библию, но, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конною, а Рыжов «вышел чин». После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом: охочий ходок с почтою, он уже не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места, — опять непременно там же, в Солигаличе, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, при тупев зрением, стала хуже печь свои пироги.

Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень не скоро, например лет за двенадцать, — надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет двадцать шесть или даже немножко более, и во все это время он только ходил взад и вперед из Солигалича в Чухлому и на ходу и на отдыхе читал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он начитался ее вволю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения.

Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исаию, широкое богование которого отвечало его душевной настроенности и составляло весь его катехизис и все богословие.

Старый человек, знавший во время своей юности восьмидесятипятилетнего Рыжова, когда он уже прославился и заслужил имя «Однодума», говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то «дуб на болоте», где он особенно любил отдыхать и «кричать ветру».

— Стану, — говорит, — бывало, и воплю встречь воздуху:

«Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего, а людие мои неразумеша. Семя лукавое; сыны беззакония! Что еще узвляетесь, прилагая неправды! Всякая глава в болезнь, — всякое сердце в плач. — Что ми множество жертв ваших: тука агнцов и крови юниц и козлов не хочу. Не приходите явитися ми. И аще принесете ми семидал — всуе; кадило мерзость ми есть. Новомесячий ваших, и суббот, и дне великого не потерплю: поста, и праздности, и новомесячий ваших, и праздников ненавидит душа моя. — Егда прострете руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас, и аще умножите моления, — не услышу вас. Измыйтесь, отымите лукавство от душ ваших. Научитесь добро творити, и придите истяжемся, и аще будут грехи ваши яко багряное — убелю их яко снег. Но князи не покоряются, — общицие татем любяще дары, гоняще воздаяние — сего ради глаголет Саваоф: горе крепким, — не престанет бо ярость моя на противных».

И выкрикивал сирота-мальчуган это «горе, горе крепким» над пустынным болотом, и мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии и отнесет туда, где виденные Иезекиилем «сухие кости» лежат, не шевелятся; не нарастает на них живая плоть, и не оживает в груди истлевшее сердце.

Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе, — по его словам: «дышал любовью и дерзновением»

Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте.

Под тем же дубом, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал словами Исаии «горе крепким», он дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое.

Впереди нас ожидает довольно образцов его задохнувшейся в тесноте удивительной силы и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его, как рыцаря, рыцарскою наградою.

Глава третья



В ту отдаленную пору, к которой восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что, по понятию многих русских людей, каждый городничий был «третье лицо в государстве». Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего — монарха разветвлялась так: первое лицо в государстве — государь, правящий всем государством; за ним второе — губернатор, который правит губернию, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье — городничий, «сидящий на городе». Исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждения не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии: исправник был человек разъездной, и он сек только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии и, кто их ни сек, — одинаково ногами перебирали.

Введение новых судебных учреждений, ограничившее прежнюю теократическую полноправность сельских администраторов, попортило это, особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городнического, а даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно, — по крайней мере для городничих, высокий уряд которых заменен новшеством.

Но тогда, когда обдумывал и решал свою судьбу «Однодум», — все это было еще в своем благоустроенном порядке. Губернаторы сидели в своих центрах, как царьки: доступ к ним был труден, и предстояние им «сопряжено со страхом»; они всем норовили говорить «ты», все им кланялись в пояс, а иные, по усердию, даже земно; протопопы их «сретали» с крестами и святою водою у входа во храмы, а подрукавная знать чествовала их выражением низменного искательства и едва дерзала, в лице немногих избранных своих представителей, просить их «в восприемники к купели». И они, даже когда соглашались снизойти до такой милости, держали себя царственно: они не ездили крестить сами, а посылали вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов, которые отвозили

«ризки» и принимали почет «в лице пославшего». Все тогда было величественно, степенно и серьезно, под стать тому доброму и серьезному времени, часто противопоставляемому нынешнему времени, не доброму и не серьезному.

Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу градской власти и, не расставаясь с родным Солигаличем, стать на четвертую ступень в государстве: в Солигаличе умер старый кварталный, и Рыжов задумал проситься на его место.

Глава четвертая



Квартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничего, было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полено дров, пару бураков или кочан капусты; но если он не умел этого, то ему было бы плохо, так как казенного жалованья по этой четвертой в государстве должности полагалось всего десять рублей ассигнациями в месяц, то есть около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по нынешнему счету. На это четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью, а как это невозможно, то каждый кварталный «донимал» с тех, которые обращались к нему за чем-нибудь «по касающемуся делу». Без этого «донимания» невозможно было обходиться, и даже сами вольтерянцы против этого не восставали. О «неберущем» кварталном никто и не думал, и потому если все кварталные брали, то должен был брать и Рыжов. Само начальство не могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения, и не могло быть о том никакой речи.

Городничий, к которому Рыжов обратился за кварталничим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как все другие, и потому у них особого договора на этот счет не было. Городничий принял в соображение только его громадный рост, осанистую фигуру и пользовавшуюся большою известностью силу и неутомимость в ходьбе, которую Рыжов доказал своим пешим ношением почты. Все это были качества, очень подходящие для полицейской службы, которой добивался Рыжов, — и он был сделан солигаличским кварталным, а мать его продолжала печь и продавать свои пироги на том самом базаре, где сын ее должен был установить и держать добрые порядки: блюсти вес верный и меру полную и утрясенную.

Городничий сделал ему только одно внушение:

— Бей без повреждения и по касающему моего не захватывай.

Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать, но вскоре же начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить третью особу в государстве, а самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьевича, доводить до весьма тягостных испытаний.

Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен: придя на базар, он разместил там возы; рассадил иначе баб с пирогами, поместя притом свою мать не на лучшее место. Пьяных мужиков частью урезонил, а частью поучил рукою властною, но с приятностью, так хорошо, как будто им этим большое одолжение сделал, и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и

приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон по касающему, и еще объявил, что ему по касающему ни от кого ничего и не следует, потому что за все его касающее ему «царь жалует, а мзду брать бог запрещает».

День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше: обошел весь город, и кого застал на ходу в поздний час, расспросил: откуда, куда и по какой надобности? С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал, а одному-другому пьяному ухо надрал, да будошникову жену, которая под коров колдовать ходила, в кутузку запер, а наутро явился к городничему с докладом, что видит себе в деле одну похему в будошниках.

— Проводят,— говорит,— они время в праздности и спросонья ходят без надобности,— людям по касающему надоедают и сами портятся. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огород гряды полоть, а я один все управлю.

Городничему это было не вопреки, а домовитой городничихе совсем по сердцу; одним будошникам могло не нравиться, да закону не соответствовало; но будошников кто думал спрашивать, а закон... городничий судил о нем русским судом: «закон — что конь: куда надо — туда и ворота его». Александр же Афанасьевич выше всего ставил закон: «в поте лица твоего ешь хлеб твой», и по тому закону выходило, что всякие лишние «приставники» — бремя ненужное, которое надо отставить и приставить к какому бы то ни было другому настоящему делу, — «потному».

И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителя и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один ночью, и мало-помалу везде стал чувствоваться его добрый хозяйский досмотр, и опять было это приятно в очах всех. Словом, все шло хорошо и обещало покой невозмутимый, но тут-то и беда: не сварился народ — не кормил воевод,— ниоткуда ничто не касалось, и, кроме уборки огорода, не было правителю прибылей ни больших, ни средних, ни малых.

Городничий возмутился духом, вник в дело, увидал, что этак невозможно, и воздвиг на Рыжова едкое гонение.

Он попросил протопопа разузнать, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия, но протопоп отвечал, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает, а замечает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет.

— Пресечь советую оный торг, ей ныне по сыну не подобающий, и уничтожится тогда ему оная его непомерная гордыня, и он прикоснется.

— Пресеку,— отвечал городничий и сказал Рыжову:— Твоей матери на торгу сидеть не годится.

— Хорошо,— отвечал Рыжов и взял мать с ночами с базара, а в укоризненном поведении остался по-прежнему,— не прикасался.

Тогда протопоп указал, что Рыжов не справлял себе форменного платья, и в пасхальный день, скупо похристосовавшись с одними ближними, не явился с поздравлением ни к кому из именитых граждан, на что те, впрочем, претензии не изъявляли.

Это находилось в зависимости одно от другого. Рыжов не ходил за праздничными, и потому ему не на что было обмундироваться, но обмундировка требовалась, и она была у прежнего квартального. Все видели у него и мундир с воротом, и ретузы, и сапоги с кисточкой, а этот как ходил с почтою, так и оставался в полосатом тиковом бешмете с крючками, в желтых нанковых штанах и в простой крестьянской шапке, а на зиму имел овчинный нагольный тулуп и ничего иного не заводил, да и не мог завести на 2 руб. 87 коп. месячного жалованья, на которое жил, служа верою и правдою.

К тому же произошел случай, потребовавший денег: умерла мать Рыжова, которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги.

Александр Афанасьевич схоронил ее, по общему отзыву, «скаречно», чем и доказал свою нелюбовь. Он заплатил за нее причту по малости, но по самой-то пирожнице даже пирога не спек и сорокоуста не заказал.

Еретик! И это было тем достовернее, что хотя городничий ему не доверял и протопоп в нем сомневался, но и городничиха и протопопица за него горой стояли,— первая за пригон на ее огород бударей, а вторая по какой-то тайной причине, лежавшей в ее «характере сопротивления».

В этих особах Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного две меры картофеля, но он, не развязывая мешков, принес картофель назад на своих плечах и коротко сказал:

— За усердие благодарю, а даров не приемлю.

Тогда протопопица, дама мнительная, поднесла ему две коленкоровые ма-нишки своего древнего рукоделья от тех пор, когда еще протопоп был ставленником, но чудака и этого не взял.

— Нельзя,— говорит,— дары брать, да и, одеваясь по простоте, я никакой в сем щегольстве пользы не нахожу.

Тут и сказала протопопица мужу в злости задорное слово.

— Вот бы,— говорит,— кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным.

Протопоп осердился,— велел жене молчать, а сам все лежал да думал:

«Это новость масонская, и если я ее услужу и открою, то могу быть в большом отличии и даже могу в Петербург переехать».

Так он этим забредил и с бреда составил план, как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом.

Глава пятая



о подходил великий пост, и протопоп, как на ладонке, видел, каким образом он обнажит душу Рыжова до разделения и тогда будет знать, как поступить с ним по злобе его уклонения от истин православия.

С этою целью он прямо присоветовал городничему прислать к нему на дух полосатого квартального на первой же неделе. А на духу он обещал его хорошенько пренять и, гневом божиим припугнув, все от него выведать, что в нем есть тайного и сокровенного и за что он всего касающего чуждается и даров не приемлет. А затем сказал: «Увидим по открытому страхом виду его совести, чему он подлежать будет, и тому его и подвергнем, да спасется дух».

Помянув слова Павла, протопоп стал ждать покойно, зная, что в них кийждо своя отыскать может.

Городничий тоже сделал свое дело.

— Нам с тобой, Александр Афанасьевич, как видным лицам в городе,— сказал он,— надо в народе религии пример показать и к церкви сделать почтение.

Рыжов отвечал, что он согласен.

— Изволь же, братец, говеть и исповедаться.

— Согласен,— отвечал Рыжов.

— И как оба мы люди на виду у всех, то и на виду все это должны сделать, а не как-нибудь прятчучись. Я к протопопу на дух хожу,— он всех в духовенстве опытнее,— и ты к нему иди.

— Пойду к протопопу.

— Да; и иди ты на первой неделе, а я на последней пойду,— так и разделимся.

— И на это согласен.

Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти.

— Каялся,— говорит,— в одном, другом, в третьем,— во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит и ни на вас, ни на меня «по касающему» доносить не думает. А что «даров не приемлет»,— то это по одной вредной фантазии.

— Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается?

— Библии начитался.

— Ишь его, дурака, угораздило!

— Да; начитался от скуки и позабыть не может.

— Экий дурак! Что же теперь с ним сделать?

— Ничего не сделаешь: он уже очень далеко начитан.

— Неужели до самого до «Христа» дошел?

— Всю, всю прочитал.

— Ну, значит, шабаш.

Пожалели и стали к Рыжову милостивее. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато такие люди что юридивые,— они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся. Впрочем, чтобы быть еще обеспеченнее насчет странного исправления Рыжова «по касающему», отец протопоп преподал городничему мудрый, но жестокий совет,— чтобы женить Александра Афанасьевича.

— Женатый человек,— развивал протопоп,— хотя и «до Христа дочитается», но ему свою честность соблюсти трудно: жена его начнет нажигать и не тем, так другим манером так доймает, что он ей уступит и всю Библию из головы выпустит, а станет к дарам примчив и начальству предан.

Городничему совет пришел по мыслям, и он заказал Александру Афанасьевичу, чтобы тот как знает, а непременно женился, потому что холостые люди на политических должностях ненадежны.

— Как хочешь,— говорит,— брат, а ты мне в рассуждении всего хорошо, но в рассуждении одного не годишься.

— Почему?

— Холостой.

— Что же в том за укоризна?

— В том укоризна, что можешь что-нибудь вероломное сделать и сбежать в чужую губернию. Тебе ведь теперь что?— схватил свою бибель да и весь тут.

— Весь тут.

— Вот это и неблагонадежно.

— А разве женатый благонадежнее?

— И сравненья нет; из женатого я,— говорит,— хоть веревку вей, он все стерпит, потому что он пленцов заведет, да и бабу пожалует, а холостой сам что птица,— ему доверить нельзя. Так вот — либо уходи, либо женись.

Загадочный чудак, выслушав такое рассуждение, нимало не смутился и отвечал:

— Что же,— и женитьба вещь добрая, она от бога показана: если требуется — я женюсь.

— Но только ты руби дерево по себе.

— По себе вырублю.

— И выбирай поскорее.

— Да у меня уже выбрана: надо только сходить посмотреть, не взяли ли ее другие.

Городничий над ним посмеялся:

— Ишь ты,— говорит,— греховодник,— будто за ним и греха никогда не водится, а он себе уже и жену высмотрел.

— Где грехам не водиться! — отвечал Александр Афанасьевич, — полон сосуд мерзости, а только невесту я еще не сватал, но действительно на примете имею и прошу позволения сходить на нее взглянуть.

— А где она у тебя, — не здешняя, верно, — дальняя?

— Да так, и не здешняя и не дальняя, — у ручья при болотце живет.

Городничий еще посмеялся, отпустил Рыжова и, заинтересованный, ждет: когда его чудак вернется и что скажет?

Глава шестая



Рыжов действительно срубил дерево по себе: через неделю он привел в город жену — ражую, белую, румяную, с добрыми карими глазами и с покорностью в каждом шаге и движении. Одета она была по-крестьянски, и шли оба супруга друг за другом, неся на плечах коромысло, на котором висела подвязанная холщовым концом расписная лубочная коробья с приданым.

Бывалые торговые люди сразу узнали в этой особе дочь старой бабы Козлихи, что жила в одинокой избушке у ручья над болотом и слыла злою колдуньей. Все думали, что Рыжов взял себе колдунью деву в работницы.

Это отчасти так и было, но только Рыжов, прежде чем привести эту работницу домой, — перевенчался с нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой; напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, тотчас же отпустил батрачку, которой много ли, мало ли, а все-таки платил рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане, а хозяйство пошло лучше; здоровые руки его жены никогда не были праздны: она себе и прядла и ткала, да еще оказалась мастерицею валять чулки и огородничать. Словом, жена его была простая досужая крестьянская женщина, верная и покорная, с которою библейский чудак мог жить по-библейски, и рассказать о ней, кроме сказанного, нечего.

Обращение с женою у Александра Афанасьевича было самое простое, но своеобразное: он ей говорил «ты», а она ему «вы»; он звал ее «баба», а она его Александр Афанасьевич; она ему служила, а он был ее господин; когда он с нею заговаривал, она отвечала, — когда он молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел, а она подавала, но ложе у них было общее, и, вероятно, это было причиною, что у них появился плод супружества. Плод был один — единственный сын, которого «баба» выкормила, а в воспитание его не вмешивалась.

Любила ли «баба» своего библейского мужа или не любила — это в их отношениях ничем не проявлялось, но что она была верна своему мужу — это было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленного над нею законом божеским и имеющего на нее божественное право. Мирному житию ее это не мешало. Грамоте она не знала, и Александр Афанасьевич не желал пополнять этого пробела в ее воспитании. Жили они, разумеется, спартански, в самой строжайшей умеренности, но не считали это несчастьем; этому, может быть, много помогало, что и многие другие жили вокруг не в большем довольстве. Чаю они не пили и не содержали его в заводе, а мясо ели только по большим праздникам — в остальное же время питались хлебом и овощами, квасными или свежими с своего огорода, а всего более грибами, которых росло в изобилии в их лесной стороне. Грибы эти «баба» летнюю пороку сама собирала по лесам и сама готовила впрок,

но, к сожалению ее, заготавливала их только одним способом сушения. Солить было нечем. Расход на соль в потребном количестве для всего запаса не входил в расчет Рыжова, а когда «баба» однажды насолила кадочку груздей солью, которую ей подарил в мешочке откупщик, то Александр Афанасьевич, дознавшись об этом, «бабу» патриархально побил и свел к протопопу для наложения на нее епитимии за ослушание против заветов мужа, а грибы целою кадкою собственноручно прикатил к откупщику двору и велел взять «куда хотят», а откупщику сделал выговор.

Таков был этот чудак, про которого из долготы его дней тоже рассказывать много нечего; сидел он на своем месте, делал свое маленькое дело, не пользующееся ничьим особенным сочувствием, и ничего особенного сочувствия не искал; солигаличские верховоды считали его «поврежденным от Библии», а простецы судили о нем просто, что он «такой-некий-этакой».

Довольно неясное определение это для них имело значение ясное и понятное.

Рыжов нимало не заботился, что о нем думают: он честно служил всем и особенно не угождал никому; в мыслях же своих отчитывался единому, в кого неизменно и крепко верил, именуя его учредителем и хозяином всего сущего. Удовольствие Рыжова состояло в исполнении своего долга, а высший духовный комфорт — философствование о высших вопросах мира духовного и об отражении законов того мира в явлениях и в судьбах отдельных людей и целых царств и народов. Не имел ли Рыжов общей многим самоучкам слабости считать себя всех умнее — это неизвестно, но он не был горд, и своих верований и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только вписывал в большие тетради синей бумаги, которые подшивал в одну обложку с многозначительною надписью: «Одnodум».

Что было написано во всей этой громаднейшей рукописи полицейского философа — осталось сокрытым, потому что со смертью Александра Афанасьевича его «Одnodум» пропал, да и по памяти о нем много никто рассказать не может. Едва только два-три места из всего «Одnodума» были показаны Рыжовым одному важному лицу при одном необычайном случае его жизни, к которому мы теперь приближаемся. Остальные же листы «Одnodума», о существовании которого знал почти весь Солигалич, изведены на оклейку стен или, может быть, и сожжены, во избежание неприятностей, так как это сочинение заключало в себе много несообразного бреда и религиозных фантазий, за которые тогда и автора и чтецов посылали молиться в Соловецкий монастырь.

Дух же этой рукописи стал известен с наступающего достопамятного в хрониках Солигалича происшествия.

Глава седьмая



могу с точностью вспомнить и не знаю, где справиться, в котором именно году в Кострому был назначен губернатором Сергей Степанович Ланской, впоследствии граф и известный министр внутренних дел. Сановник этот, по меткому замечанию одного его совре-

менника, «имел сильный ум и надменную фигуру», и такая краткая характеристика верна и вполне достаточна для представления, какое нужно иметь о нем нашему читателю.

Можно, кажется, добавить только, что Ланской уважал в людях честность и справедливость и сам был добр, а также любил Россию и русского человека, но понимал его барствено, как аристократ, имевший на все чужеземный взгляд и западную мерку.

Назначение Ланского губернатором в Кострому случилось во время чудаческого служения Александра Афанасьевича Рыжова солигаличским квартальным, и притом еще при некоторых особенных обстоятельствах.

По вступлении Сергея Степановича в должность губернатора он, по примеру многих деятелей, прежде всего «размел губернию», то есть выгнал со службы великое множество нерадивых и злоупотреблявших своею должностью чиновников, в числе коих был и солигаличский городничий, при котором состоял квартальным Рыжов.

По изгнании со службы негодных лиц новый губернатор не спешил замещать их другими, чтобы не попасть на таких же, а может быть, еще и на худших. Чтобы избрать людей достойных, он хотел оглядеться, или, как нынче по-русски говорят, «ориентироваться».

С этою целью должности удаленных лиц были поручены временным заместителям из младших чиновников, а губернатор вскоре же предпринял объезд всей губернии, затрепетавшей странным трепетом от одних слухов о его «надменной фигуре».

Александр Афанасьевич исправлял должность городничего. Что он делал на этом заместительстве отменного от прежних «сталых» порядков,— этого не знаю; но, разумеется, он не брал взяток на городничестве, как не брал их на своем квартальничестве. Образа жизни своей и отношений к людям Рыжов тоже не менял,— даже не садился на городнический стул перед зеркало, а подпisyвался «за городничего», сидя за своим изъеденным чернилами столиком у входной двери. Этому последнему упорству Рыжов имел объяснение, находящееся в связи с апофеозом его жизни. У Александра Афанасьевича и после многих лет его службы точно так же, как и в первые дни его квартальничества, *не было форменного платья*, и он правил «за городничего» все в том же просаленном и перештопанном бешмете. А потому на представления письмоводителя пересесть на место он отвечал:

— Не могу: хитон обличает мя, яко несть брачен.

Все это так и было записано им собственною рукою в его «Однодуме», с добавлением, что письмоводитель предлагал ему «пересесть в бешмете, но снять орла на зеркале», однако Александр Афанасьевич «оставил сию непристойность» и продолжал сидеть на прежнем месте в бешмете.

Делу полицейской расправы в городе эта неформенность не мешала, но вопрос становился совершенно иным, когда пришла весть о приезде «надменной фигуры». Александр Афанасьевич в качестве градоначальника должен был встретить губернатора, принять и рапортовать ему о благосостоянии Солигалича, а также отвечать на все вопросы, какие Ланской ему предложит, и репрезентовать ему все достопримечательности города, начиная от собора до тюрьмы, пустырей, оврагов, с которыми никто не знал, что делать.

Рыжов действительно имел задачу: как ему отбыть все это в своем бешмете? Но он об этом нимало не заботился, зато много забот причиняло это всем другим, потому что Рыжов своим безобразием мог на первом же шагу прогневить «надменную фигуру». Никому и в голову не приходило, что именно Александру-то Афанасьевичу и предстояло удивить и даже *обрадовать* всех пугавшую «надменную фигуру» и даже напроорочить ему повышение.

Вообще заботливый Александр Афанасьевич нимало не смущался, как он

явится, и совсем не разделял общей чиновничьей робости, через что подвергся осуждению и даже ненависти и пал во мнении своих сограждан, но пал с тем, чтобы потом встать всех выше и оставить по себе память героическую и почти баснословную.

Глава восьмая



излишне еще раз напомнить, что в те недавние, но глубоко провалившиеся времена, к которым относится рассказ о Рыжове, губернаторы были совсем не то, что в нынешние лукавые дни, когда величие этих сановников значительно пало, или, по выражению некоего духовного летописца, «жестоко подвалилася». Тогда губернаторы ездили «страшно», а встречали их «притрепетно». Течение их совершалось в грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь и четвероногие скоты. Города к приезду губернаторов воспринимали помазание мелом, сажей и охрою; на шлагбаумы заново наводилась национальная пестрядь казенной трехцветки; бударям и инвалидам внушали «голова и усы наваксить», — из больницы шла усиленная выписка в «оздоровку». Во всеобщем оживлении участвовало все до конец земли; из деревень на тракты стогнали баб и мужиков, которые по месяцам кочевали, чиня дорожные топи, гати и мосты; на станциях замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по бесчисленным казенным надобностям. Станционные смотрители в эту пору отмечивали неспокойному люду свои нестерпимые обиды и с непоколебимую душевную твердостью заставляли плестись на каких попало клячах, потому что хорошие лошади «выстаивались» под губернатора. Словом, не было никому ни проходу, ни проезду без того, чтобы он не осязал каким-нибудь из своих чувств, что в природе всех вещей происходит нечто чрезвычайное. Благодаря этому тогда без всякого пустозвонства болтливая пресса всяк, стар и млад, знали, что едет тот, кого нет на всю губернию больше, и все, кто как умел, выражали по этому случаю искреннему своему разнообразным свои чувства. Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства — в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной и скучной отметки регистров, а кончалось веселою операциею обметания стен и мытья полов. Поломойство — это было что-то вроде классических оргий в дни сбирания винограда, когда все напряженно ликовало, имея одну заботу: пожить, пока наступит час смертный. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли из острога смертную скукою соскучившихся арестанток, которые, ловя краткий миг счастья, пользовались здесь пленительными правами своего пола — услаждать долю смертных. Декольте и маншкурт, с которыми они приступали к работе, столь возбуждительно действовали на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствием этого, как известно, в острогах нередко появлялись на свет так называемые «поломойные дети» — не признанного, но несомненно благородного происхождения.

В эти же дни в домах чернили парадные сапоги, белили ретузы и приготавливали слежавшиеся и поточенные молью мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала *провешивали* в жаркий день на солнышке, раскидывая их на

протянутых через двор веревках, что ко всяким воротам привлекало множество любопытных; потом мундиры *выбивали* прутьями, растянув на подушке или на войлочке; затем их *трясли*, еще позже их *штопали*, *утюжили* и, наконец, *раскидывали* на кресле в зале или другой парадной комнате, и в заключение всего — в конце концов их втихомолку кропили из священных бутылочек богоявленской водой, которая, если ее держать у образа в заткнутой воском посудине, не портится от одного крещеньева дня до другого и нимало не утрачивает чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения креста с пением «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое».

Исходя в сретение особ, чиновники облекались в окропленные мундиры и в качестве прочего божия достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний, но при нынешнем всеобщем маловерии и особенно при офенбаховском настроении, царящем в чиновном мире, все это уже уронено в общем мнении и в числе многих других освященных временем вещей легкомысленно подвергается сомнению; отцам же нашим, имевшим настоящую, крепкую веру, давалось по их вере.

Ожидание губернатора в те времена длилось долго и мучительно. Железных дорог тогда еще не было, и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подвозя губернатора вместе со всеми прочими смертными, а особо заготовлялся тракт, и затем никто не знал с точностью ни дня, ни часа, когда сановник пожалует. Поэтому истома ожидания была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, на самом зените которой находился очередной будочник, обязанный наблюдать тракт с самой высшей в городе колокольни. Он должен был не задремать, охраняя город от внезапного наезда; но, конечно, случалось, что он дремал и даже спал, и тогда в таких несчастных случаях бывали разные неприятности. Иногда нерадивый страж ударял в малый колокол, подпустив губернатора уже на слишком близкую дистанцию, так что не все чиновники успевали примундириться и выскочить, протопоп облачиться и стать со крестом на сходах, а иногда даже городничий не успевал выехать, стоя в телеге, к заставе. Во избежание этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольни и у каждого пролета делать поклон в соответственную сторону.

Это служило сторожу развлечением, а обществу ручательством, что бдящий над ним не спит и не дремлет. Но и эта предосторожность не всегда помогала; случалось, что сторож обладал способностью альбатроса: он спал, ходя и кланяясь, а спросонья бил ложный всполох, приняв за губернатора помещичью карету, и тогда в городе поднималось напрасное смятение, оканчивавшееся тем, что чиновники снова размундировались и городническая тройка откладывалась, а неосмотрительного стража слегка или не слегка секли.

Подобные трудности встречались часто и преодолевались нелегко, и притом всею своею тягостью главным образом лежали на городничем, который вперед всех выносился вскачь навстречу, первый принимал на себя начальственные взоры и взрывы и потом опять, стоя же, скакал впереди губернаторской кареты к собору, где у крыльца ожидал протопоп во всем облачении с крестом и кропилом в чаше священной воды. Здесь городничий непременно собственноручно откидывал губернаторскую подножку и этим приемом, так сказать, собственноручно выпускал прибывшую высокую особу на родимую землю из путешественного ковчега. Теперь все это уже не так, все это попорчено, и притом едва ли даже без участия самих губернаторов, в числе коих были охотники «играть на понижение». Нынче они, может быть, и каются, но что уплыло, того не воротят: подножек им никто не откидывает, кроме лакеев и жандармов.

Но исправлявший эту обязанность прежний городничий этим не стеснялся и служил для всех первым пробным камнем; он первый изведывал: лют или благостен прибывший губернатор. И, надо правду сказать, от городничего многое зависело: он мог испортить дело вначале, потому что одною какою-нибудь своею неловкостью мог разгневать губернатора и заставить его рвать и метать; а мог

также одним ловким прыжком, оборотом или иным соответственным вывертом привести его превосходительство в благорасположение.

Теперь каждый, даже не знавший этих патриархальных порядков, читатель может судить, как естественна была тревога солигаличской чиновной знати, которой пришлось иметь своим представителем такого своеобразного, неуклюжего и упрямого городничего, как Рыжов, у которого, вдобавок ко всем его личным неудобным качествам, весь убор состоял в полосатом тиковом бешмете и кошла-той мужичьей шапке.

Вот что первое должно было ударить прямо в очи «надменной фигуре», о которой уже досужие языки довели до Солигалича самые страшные вести... Чего было ожидать доброго?

Глава девятая



Александр Афанасьевич действительно мог привести кого хотите в отчаяние; он ни о чем не беспокоился и в ожидании губернатора держал себя так, как будто предстоявшее страшное событие его совсем не касалось. Он не сломал ни у одного жителя ни одного забора, ничего не перемазал ни мелом, ни охрою и вообще не предпринимал никаких средств не только к украшению города, но и к изменению своего несообразного костюма, а продолжал прохаживаться в бешмете. На все предлагаемые ему прожекты он отвечал:

— Не должно вводить народ в убытки: разве губернатор изнуритель края? он пусть проедет, а забор пусть останется.— Требования же насчет мундира Рыжов отражал тем, что у него на то нет достатков и что, говорит, имею,— в том и являюсь: богу совсем нагишом предстану. Дело не в платье, а в рассудке и в совести,— по платью встречают — по уму провожают.

Переупрямить Рыжова никто не надеялся, а между тем это было очень важно не столько для упряма Рыжова, которому, может быть, и ничего с его библейской точки зрения, если его второе лицо в государстве сгонит с глаз долой в его бешмете; но это было важно для всех других, потому что губернатор, конечно, разгневется, увидя такую невидаль, как городничий в бешмете.

Дорожа первым впечатлением ожидаемого гостя, солигаличские чины добились только двух вещей: 1) чтобы был перекрашен шлагбаум, у которого Александр Афанасьевич должен встретить губернатора, и 2) чтобы сам Александр Афанасьевич был на этот случай не в полосатом бешмете, а в приличной его званию форме. Но как этого достигнуть?

Мнения были различные, и более склонялись все к тому, чтобы и шлагбаум перекрасить и городничего одеть в складчину. В отношении шлагбаума это было, конечно, удобно, но по отношению к обмундировке Рыжова никуда не годилось.

Он сказал: «Это дар, а я даров не приемлю». Тогда восторжествовало над всеми предложение, которое подал зрелый в сужденье отец протопоп. Он не видал нужды ни в какой складчине ни на окраску заставы, ни на форму градоправителя, а сказал, что все должно лечь на того, кто всех провиннее, а всех провиннее, по его мнению, был откупщик. На него все должно и пасть. Он один

обязан на свой собственный счет не по неволе какой, а из усердия окрасить заставу, за что протопоп обещал, сретая губернатора, упомянуть об этом в кратком слове и, кроме того, помолиться о жертвователе в тайноглаголемой запрестольной молитве. Кроме того, отец протопоп рассудил, что откупщик должен дать заседателю, сверх ординарии, тройную порцию рому, французской водки и кизлярки, до которых заседатель охоч. И пусть заседатель за то отрапортуется больным и пьет себе дома эту добавочную ординарию и на улицу не выходит, а свой мундир, одной с полицейским формы, отпустит Рыжову, от чего сей последний, вероятно, не найдет причины отказаться, и будут тогда и овцы цели и волки сыты.

План этот тем более был удачен, что непременный заседатель ростом-дородством несколько походил на Рыжова, и притом, женись недавно на купеческой дочери, имел мундирную пару в полном порядке. Следовательно, оставалось только упросить его, чтобы он для общего блага к приезду начальства слег в постель под видом тяжелой болезни и сдал свою амуницию на этот случай Рыжову, которого отец протопоп, надеясь на свой духовный авторитет, тоже взялся убедить — и убедил. Не видя в этом ни даров, ни мзды, справедливый Александр Афанасьевич, для общего счастья, согласился надеть мундир. Произведена была примерка и пригонка форменной пары заседателя на Рыжова, и после некоторого выпуска со всех сторон всех запасов в мундире и в ретузах дело было приведено к удовлетворительному результату. Александр Афанасьевич хотя чувствовал в мундире весьма стеснительную связанность, но мог, однако, двигаться и все-таки был теперь сносным представителем власти. Небольшой же белый карниз между мундиром и канифасовыми ретузами положено было закрыть соответственной же канифасовою надшивкою, которою этот карниз был удачно замаскирован. Словом, Александр Афанасьевич был снаряжен так, что губернатор мог повернуть его на все стороны и полюбоваться им так и иначе. Но злому року угодно было все это осмеять и оставить Александру Афанасьевичу надлежащую представительность только с одной стороны, а другую совсем испортить, и притом таким двусмысленным образом, что могло дать повод к самым произвольным толкованиям его и без того загадочного политического образа мыслей.

Глава десятая



лагбаум был окрашен во все цвета национальной пестряди, состоящей из черных и белых полос с красными отводами, и еще не успел запылиться, как пронеслась весть, что губернатор уже выехал из соседнего города и держит путь прямо на Солигалич. Тотчас же везде были поставлены махальные солдаты, а у забора бедной хибары Рыжова глодала землю резвая почтовая тройка с телегою, в которую Александр Афанасьевич должен был вспрыгнуть при первом сигнале и скакать навстречу «надменной фигуре».

В последнем условии было чрезвычайно много неудобной сложности, исполнявшей все вокруг беспокойной тревогой, которую очень не любил самообладающий Рыжов. Он решился «быть всегда на своем месте»: перевел тройку от своего забора к заставе и сам в полном наряде — в мундире и белых ретузах, с рапортом за бортом, сел тут же на раскрашенную перекладину шлагбаума

и водворился здесь, как столпник, а вокруг него собрались любопытные, которых он не прогонял, а, напротив, вел с ними беседу и среди этой беседы сподобился увидеть, как на тракте за клубилось пыльное облако, из которого стала вырезаться пара выносных с форейтором, украшенным медными бляхами. Это катил губернатор.

Рыжов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать, как вдруг был поражен общим стоном и вздохом толпы, крикнувшей ему:

— Батюшка, сбрось штанцы!

— Что такое? — переспросил Рыжов.

— Штанцы сбрось, батюшка, штанцы, — отвечали люди. — Погляди-ка, на коем месте сидел, так к белому весь шланбов припечатал.

Рыжов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы национальных цветов шлагбаума действительно с удивительной отчетливостью отпечатались на его ретузах.

Он поморщился, но сейчас же вздохнул и сказал: «Сюда начальству глядеть нечего» и пустил вскачь тройку навстречу «надменной особе».

Люди только руками махнули:

— Отчаянный! что-то ему теперь будет?

Глава одиннадцатая



короходы из этой же толпы быстро успели дать знать в собор духовенству и набольшим, в каком двусмысленном виде встретит губернатора Рыжов, но теперь уже всем было самому до себя.

Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причет, из коего вырезались две фигуры: приземистый дьякон с большой головой и длинноногий дьячок в стихаре с священной водою в «апликовой» чаше, которая ходуном ходила в его оробевших руках. Но вот трепёт страха сменился окаменением: на площади показалась борзо скачущая тройкою почтовая телега, в которой с замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура Рыжова. Он был в шляпе, в мундире с красным воротом и в белых ретузах с надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным, и действительно таким и должен был казаться. Твердо стоя на скачущей телеге, на облучке которой подпрыгивал ямщик, Александр Афанасьевич не колебался ни направо, ни налево, а плыл точно на колеснице как триумфатор, сложив на груди свои богатырские руки и обдавая целым облаком пыли следовавшую за ними шестериком коляску и легкий тарантасик. В этом тарантасе ехали чиновники. Ланской помещался один в карете и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Рыжовым, который летел впереди его, стоя, в кургузом мундире, нисколько не закрывавшем разводы национальных цветов на его белых ретузах. Очень возможно, что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этою странностию, значение которой не так легко было понять и определить.

Телега в свое время своротила в сторону, и Александр Афанасьевич в свое время соскочил и открыл дверцу у губернаторской кареты.

Ланской вышел, имея, как всегда, неизменно «надменную фигуру», в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, осенив его крестом, сказал: «Благословен грядый во имя господне», и затем покропил его легионько священной водою.

Сановник приложился ко кресту, отер батистовым платком попавшие ему на надменное чело капли и вступил *первый* в церковь. Все это происходило на самом виду у Александра Афанасьевича и чрезвычайно ему не понравилось, — все было «надменно». Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, что, вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не поклонился — ни алтарю, ни народу, и шел как шест, не сгибая головы, к амвону.

Это было против всех правил Рыжова по отношению к богочитанию и к обязанностям высшего быть примером для низших, — и благочестивый дух его всколебался и поднялся на высоту невероятную.

Рыжов все шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской приближался к солее, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собою и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес:

— Раб божий Сергей! входи во храм господень не надменно, а смиренно, представляя себя самым большим грешником, — вот как!

С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и стал навитьяжку.

Глава двенадцатая



Очевидец, передававший эту анекдотическую историю о солигаличском антике, ничего не говорил, как принял это бывший в храме народ и начальство. Известно только, что никто не имел отваги, чтобы заступиться за нагнутого губернатора и остановить бестрепетную руку Рыжова, но о Ланском сообщают нечто подробнее. Сергей Степанович не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка, а, напротив, «сменил свою горделивую надменность умным самообладанием». Он не оборвал Александра Афанасьевича и даже не сказал ему ни слова, но перекрестился и, оборотясь, поклонился всему народу, а затем скоро вышел и отправился на приготовленную ему квартиру.

Здесь Ланской принял чиновников — коронных и выборных и тех из них, которые ему показались достойными большего доверия, расспросил о Рыжове: что это за человек и каким образом он терпит в обществе.

— Это наш квартальный Рыжов, — отвечал ему голова.

— Что же он... вероятно, в помешательстве?

— Никак нет: просто всегда *такой*.

— Так зачем же держать *такого* на службе?

— Он по службе хорош.

— Дерзок.

— Самый смиренный: на шею ему старший сядь, — рассудит: «поэтому везь надо» — и повезет, но только он много в Библии начитавшись и через то расстроен.

- Вы говорите несообразное: Библия книга божественная.
- Это точно так, только ее не всякому честь пристойно: в иночестве от нее страсть мечется, а у мирских людей ум мешается.
- Какие пустяки!— возразил Ланской и продолжал расспрашивать:
- А как он насчет взятка: умерен ли?
- Помилуйте,— говорит голова,— он совсем ничего не берет...
- Губернатор еще больше не поверил.
- Этому,— говорит,— я уже ни за что не поверю.
- Нет; действительно не берет.
- А как же,— говорит,— он какими средствами живет?
- Живет на жалованье.
- Вы вздор мне рассказываете: такого человека во всей России нет.
- Точно,— отвечает,— нет; но у нас такой объявился.
- А сколько ему жалованья положено?
- В месяц десять рублей.
- Ведь на это,— говорит,— овцу прокормить нельзя.
- Действительно,— говорит,— мудрено жить — только он живет.
- Отчего же так всем нельзя, а он обходится?
- Библии начитался.
- Хорошо, «Библии начитался», а что же он ест?
- Хлеб да воду.

И тут голова и рассказал о Рыжове, каков он во всех делах своих.

— Так это совсем удивительный человек!— воскликнул Ланской и велел позвать к себе Рыжова.

Александр Афанасьевич явился и стал у притолки, иже по подчинению.

— Откуда вы родом?— спросил его Ланской.

— Здесь, на Нижней улице родился,— отвечал Рыжов.

— А где воспитывались?

— Не имел воспитания... у матери рос, а матушка пироги пекла.

— Учились где-нибудь?

— У дьячка.

— Исповедания какого?

— Христианин.

— У вас очень странные поступки.

— Не замечаю: всякому то кажется странно, что самому не свойственно.

Ланской подумал, что это вызывающий, дерзкий намек, и, строго взглянув на Рыжова, резко спросил:

— Не держитесь ли вы какой-нибудь секты?

— Здесь нет секты: я в собор хожу.

— Исповедуетесь?

— Богу при протопопе каюсь.

— Семья у вас есть?

— Есть жена с сыном.

— Жалованье малое получаете?

Никогда не смеявшийся Рыжов улыбнулся.

— Беру,— говорит,— в месяц десять рублей, а не знаю: как это — много или мало.

— Это не много.

— Доложите государю, что для лукавого раба это мало.

— А для верного?

— Достаточно.

— Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь?

Рыжов посмотрел и промолчал.

— Скажите по совести: быть ли это может так?

— А отчего же не может быть?

- Очень малые средства.
- Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись можно.
- Но зачем вы не проситесь на другую должность?
- А кто же эту занимать станет?
- Кто-нибудь другой.
- Разве он лучше меня справит?

Теперь Ланской улыбнулся: квартальный совсем заинтересовал его не чуждую теплоты душу.

— Послушайте, — сказал он, — вы чудак; я вас прошу сесть.

Рыжов сел vis-à-vis¹ с «надменным».

- Вы, говорят, знаток Библии?
- Читаю, сколько время позволяет, и вам советую.
- Хорошо; но.. могу ли я вас уверить, что вы можете со мною говорить совсем откровенно и по справедливости.
- Ложь заповедью запрещена — я лгать не стану.
- Хорошо. Уважаете ли вы власти?
- Не уважаю.
- За что?
- Ленивы, алчны и пред престолом криводушны, — отвечал Рыжов.
- Да, вы откровенны. Благодарю. Вы тоже пророчествуете?
- Нет; а по Библии вывожу, что ясно следует.
- Можете ли вы мне показать хоть один ваш вывод?

Рыжов отвечал, что может, — и сейчас же принес целый оберток бумаги с надписью «Однодум».

— Что тут есть пророчественного о прошлом и сбывшемся? — спросил Ланской.

Квартальный перемахнул знакомые страницы и прочитал: «Государыня в переписке с Вольтером назвала его вторым Златоустом. За сие несообразное сравнение жизнь нашей монархини не будет иметь спокойного конца».

На отлинеенном поле против этого места отмечено: «Исполнилось при огорчительном сватовстве Павла Петровича».

— Покажите еще что-нибудь.

Рыжов опять заметал страницы и указал новое место, которое все заключалось в следующем: «Издан указ о попенном сборе. Отныне хлад бедных хижин усилится. Надо ожидать особенного наказания». И на поле опять отметка: «Исполнилось, — зри страницу такую-то», а на той странице запись о кончине юной дочери императора Александра Первого с отметкою: «Сие последовало за назначение налога на лес».

— Но позвольте однако, — спросил Ланской, — ведь леса составляют собственность?

- Да; а греть воздух в жилие составляет потребность.
- Вы против собственности?
- Нет; я только чтобы всем тепло было в стужу. Не надо давать лесов тем, кому и без того тепло.
- А как вы судите о податях: следует ли облагать людей податью?
- Надо наложить, и еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы богатый платил казне за бедного.
- Гм, гм! вы ниоткуда это учение не почерпаете?
- Из Священного писания и моей совести.
- Не руководят ли вас к сему иные источники нового времени?
- Все другие источники не чисты и полны суетумудрия.
- Теперь скажите в последнее: как вы не бонтесь ни того, что пишете, ни того, что со мною в церкви сделали?

¹ Напротив (фр.).

— Что пишу, то про себя пишу, а что в храме сделал, то должен был учинить, цареву власть оберегаючи.

— Почему цареву?

— Дабы видели все его слуг к вере народной почтительными.

— Но ведь я мог с вами обойтись совсем не так, как обхожусь.

Рыжов посмотрел на него «с сожалением» и отвечал:

— А какое же зло можно сделать тому, кто на десять рублей в месяц умеет с семьей жить?

— Я мог велеть вас арестовать.

— В остроге сытей едят.

— Вас сослали бы за эту дерзость.

— Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже и где бы бог мой оставил меня? Он везде со мною, а кроме его никого не страшно.

Надменная шея склонилась, и левая рука Ланского простерлась к Рыжову.

— Характер ваш почтенен, — сказал он и велел ему выйти.

Но, по-видимому, он еще не совсем доверял этому библейскому социалисту и спросил о нем лично сам несколько простолодинов.

Те, покрутя рукой в воздухе, в одно слово отвечали:

— Он у нас такой-некий-этакой.

Более положительного из них о нем никто не знал.

Прощаясь, Ланской сказал Рыжову:

— Я о вас не забуду и совет ваш исполню — прочту Библию.

— Да только этого мало, а вы и на десять рублей в месяц жить поучитесь, — добавил Рыжов.

Но этого совета Ланской уже не обещал исполнить, а только засмеялся, опять подал ему руку и сказал:

— Чудак, чудак!

Сергей Степанович уехал, а Рыжов унес к себе домой своего «Однодума» и продолжал писать в нем, что изливали его наблюдательность и пророческое вдохновение.

Глава тринадцатая



время проезда Ланского прошло довольно времени, и события, сопровождавшие этот проезд через Солигалич, уже значительно позабылись и затерлись ежедневною сутолокою, как вдруг неожиданно-негаданно, на дивное диво не только Солигаличу, а всей просвещенной России, в обривизованный город пришло известие совершенно невероятное и даже в стройном порядке правления невозможное: кварталному Рыжову был прислан дарующий дворянство владимирский крест — первый владимирский крест, пожалованный кварталному.

Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению. И крест и грамота были вручены Александру Афанасьевичу с объявлением, что удостоен он сего чести и сего пожалования по представлению Сергея Степановича Ланского.

Рыжов принял орден, посмотрел на него и проговорил вслух:

— Чудак, чудак!— А в «Однодуме» против имени Ланского отметил: «Быть ему графом»,— что, как известно, и исполнилось. Носить же ордена Рыжову было *не на чем*.

Кавалер Рыжов жил почти девяносто лет, аккуратно и своеобразно отмечая все в своем «Однодуме», который, вероятно, издержан при какой-нибудь уездной реставрации на оклейку стен. Умер он, исполнив все христианские требы по установлению православной церкви, хотя православие его, по общим замечаниям, было «сомнительно». Рыжов и в вере был человек такой-некий-этакой, но при всем том, мне кажется, в нем можно видеть кое-что кроме «одной дряни»,— чем и да будет он помянут в самом начале розыска о «трех праведниках».



ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание включены произведения Н. С. Лескова, созданные им за протяжении пятнадцати лет — с 1864 по 1879 год, и читатель может судить об эволюции писателя, о смысле и направлении его творческих исканий. Достаточно прочитать эти рассказы и повести подряд, чтобы заметить, как от произведения к произведению меняется структура повествования. В «Леди Макбет...» повествование только слегка окрашено личной авторской интонацией. В «Вонительнице» повествователь и героиня ведут напряженный диалог, при этом слово героини явно теснит слово повествователя. В «Запечатленном ангеле» и «Очарованном страннике» устный импровизированный рассказ героя становится центром повествования, а роль повествователя сводится к роли одного из слушателей, стенографически точно воспроизводящего этот рассказ. Такое «умаление» повествователя от произведения к произведению и обозначает движение Лескова к сказу, то есть особой стилистической манере, имитирующей устную речь рассказчика из простонародной среды. Публицистическая прямота раннего Лескова постепенно уступает место художественному воплощению идеи. На рубеже 60—70-х годов писатель стремится избавиться от излишней категоричности своей авторской позиции и, пользуясь возможностями сказа, сводит к минимуму прямые авторские высказывания, выражая свой взгляд на вещи через художественную структуру. Произведения, включенные в данный сборник, дают представление о многообразии лесковского мира. Теснейшим образом связанные со своей эпохой, они одновременно оказываются разомкнутыми в будущее.

ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА

Впервые напечатанная в журнале «Эпоха», 1865, № 1, под названием «Леди Макбет нашего уезда», повесть имеет характерный для Лескова подзаголовок — «очерк». Писатель всегда настаивал на особом значении для его творчества факта, реального происшествия, от которого могло бы оттолкнуться воображение. В «Леди Макбет...» отразилось одно из его орловских впечатлений. «Раз одному соседу старику, который «зажился» за семьдесят годов и пошел в летний день отдохнуть под куст черной смородины, нетерпеливая невестка влила в ухо кипящий сургуч...» — вспоминал Лесков. — Я помню, как его хоронили... Ухо у него отвалилось... Потом ее на Ильинке (на площади) «палач терзал». Она была молодая, и все удивлялись, какая она белая...» («Как я учился праздновать». Из детских воспоминаний Н. С. Лескова. Рукопись в ЦГАЛИ).

На основе некоторых собственных наблюдений написаны и «острожные» главы. Будучи сотрудником журнала «Северная пчела», Лесков посещал тюрьмы, что отразилось и в его публицистике (в 1862 году в «Северной пчеле» были напечатаны статьи «Страстная суббота в тюрьме» и «За воротами тюрьмы»). Тем не менее писатель в письме к автору книги «Среди отверженных» Д. А. Линеву особо подчеркнет роль творческого воображения: «Мир, который вы описываете, мне неизвестен, хотя я его слегка касался в рассказе «Леди Макбет Мценского уезда». Я писал, что называется, «из головы», не наблюдая этой среды в натуре. Достоевский находил, что я воспроизвел действительность довольно верно».

Установка на достоверность, непридуманность материала была для Лескова принципиально значимой. Чувствуя себя полномочным представителем народной России, он стремится идти от нее самой, от жизненной практики. Не случайно в «Леди Макбет...» налицо художественная полемика

Лескова с «Грозой» Островского: Екатерина Измайлова и Катерина Кабанова принадлежат одному социально-бытовому укладу, обе они вступают с ним в непримиримый конфликт. Но сильный женский характер у Лескова ни в какой мере не является «лучом света в темном царстве», и его художественное решение могло бы удолетворить Д. Писарева, в свое время выступившего с резкой критикой концепции «Грозы» (по его мнению, от мрака и невежества не может родиться ничего светлого).

В период работы над «Леди Макбет...» Лесков испытывает сильнейший интерес к женским характерам из разных социальных слоев. «Леди Макбет...» и была задумана как первый в серии очерков исключительно одних типических женских характеров окской и частью волжской местности. «Всех таких очерков я предполагаю написать двадцать, каждый в объеме до двух листов, восемь из народного и купеческого быта и четыре из дворянского». Замысел этот будет реализован частично (кроме «Леди Макбет...» появится только «Воительница»), но он глубоко знаменателен. Интерес к женскому характеру и его взаимодействию со средой объяснялся у Лескова интересом к личности вообще. Ему, противнику «головного», рационалистического подхода к жизненным явлениям, был особенно дорог стихийный эмоциональный протест против гнета обстоятельства, не нуждающийся в идеологическом обосновании.

Стр. 13. ...*киевского патерика*... — Патерик — сборник житий святых, ...*нижний лежень холостой скрыни*... — нижнее бревно сруба примыкающей к плотине части запруды.

Стр. 19. *Оброчный бурмистр* — староста из крестьян, собирающий оброк.

Стр. 23. *Клямка* — железный запор у дверей.

Стр. 28. *Киса* — кошель, затягиваемый шнурком.

Стр. 30. *Чавереть* — чахнуть, увядать. ...*часточку за него вынуть*... — Речь идет о церковном обряде, когда вынимается часть просвиры (белого круглого хлеба из круглого теста).

Стр. 33. *Двадцатый праздник* — один из двенадцати главных праздников православной церкви. *Престой* — здесь: престольный праздник, связанный с празднованием памяти церковного события или святого, которым посвящена церковь.

Стр. 40. *Иов* — библейский праведник, безропотно перенесший все испытания от бога. *За окном в тени мелькает русая головка*... — Строки из стихотворения Полонского «Вызов»; в подлиннике: не «полой», а «плавцом».

ВОИТЕЛЬНИЦА

Впервые напечатана в журнале «Отечественные записки», 1866, № 7, кн. I, с посвящением художнику М. О. Микешину (1836—1891).

«Воительница», представляющая собой второй из задуманной писателем серии женских портретов, интересна прежде всего как первый опыт лесковского сказа. На первый взгляд перед нами как будто типичный нравоописательный очерк, подобный так называемому «физиологическому очерку» с характерной для него постановкой проблемы личности и среды: «петербургские обстоятельства» накладывают неизгладимый отпечаток на героиню. Свою точку зрения повествователь выражает открыто в комментариях к рассказам Домны Платоновны и косвенно — в иронических репликах диалога с ней. Однако в процессе их общения пафос объяснения, владеющий повествователем, уступает место размышлению, и его оценки в итоге неокончательны и небезусловны.

Читатель также приобщен к поискам ответа на возникающие у повествователя вопросы. Он с первых же строк втянут в спор повествователя с героиней на правах третьего участника. И чтобы понять, каким образом совмещается в героине несовместимое, как сходятся «и молитва, и пост, и собственное целомудрие, и жалость к людям...» со сватовской ложью, артистической наклонностью к устройству коротеньких браков не любви ради, «а ради интереса», как «это все пробралось в одно и то же толстенное сердце и уживается в нем с таким изумительным согласием», — чтобы понять все это, оказалось необходимым выслушать героиню, добиться ее исповеди и приобщиться к ее видению мира.

Стр. 42. В эпиграфе приводятся слова Сенеки из I части драмы А. Майкова «Люций».

Стр. 44. ...страшный сон — аридов.— Арид — библейский патриарх, проживший очень долгую жизнь.

Стр. 46. Фактогум (от лат. *fac totum* — делай все) — доверенное лицо, выполняющее всякие поручения. Серизовая (от фр. *la serise*) — вишневого цвета; *гроденаллевая* (от фр. *gros de paroles*) — сорт шелковой ткани.

Стр. 47. ...любила декламировать из «Мариц» Мальчевского... — Мальчевский А. (1793—1826) — выдающийся польский поэт, автор романтической поэмы «Мария», сделавшейся после его смерти одним из популярнейших произведений польской литературы.

Стр. 48. Кортит — не терпит.

Стр. 49. Шаматон — шалопаи, бездельник.

Стр. 60. ...амантов... имела... — здесь: имела любовников.

Стр. 70. Домна Петровна вместо «Домна Платоновна» — ошибка самого Лескова в рукописи, не замеченная им в прижизненных изданиях.

Стр. 82. Живейный — извозчик, возивший пассажиров (в отличие от ломового, возившего грузы).

Стр. 84. ...навью кость свободила.— Навья кость (мертвая кость) — одна из мелких косточек ступни, выступающая под кожей.

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ АНГЕЛ

Впервые напечатан в журнале «Русский вестник» в январском номере за 1873 год. Именно в этот период Лесков тщательно изучает все, что имеет отношение к русской церкви и русской иконописи. «Когда, в довольно длительном отвержении от литературы... меня от скуки и бездействия заняла даже увлекла церковная история и самая церковность, я, между прочим, предался изучению церковной археологии вообще и особенно иконографии, которая мне нравилась», — так объяснял причины своего увлечения Лесков в статье «Благоразумный разбойник» («Художественный журнал», 1883, № 3).

Этому интересу во многом способствовало знакомство писателя с двумя очень разными людьми, причастными искусству иконописи. Имя первого Лесков называет в своей статье «О русской иконописи» («Русский мир», 1873, № 254). Это археолог В. А. Прохоров, преподаватель Академии художеств и основатель музея древнего искусства. Другой — изограф Никита Рачейсков, дань глубокой признательности и уважения которому Лесков отдает в некрологе «О художном муже Никите и со-воспитанных ему» («Новое время», 1886, № 3889). В своих воспоминаниях об отце Андрей Николаевич Лесков оставил удивительный портрет «художного мужа»: «Сам Никита Савостьянович был стилин с головы до пят. Весь Строганова письма. Высок, фигурой сухой, в черном армячке почти до полу, застегнут подмышку, русские сапоги со скрипом. Картина! За работой в ситцевой рубашке, в серебряных очках, с тоненькою кисточкой в несколько волосков в руке, весь внимание и благоговейная поглощенность в создании деисусов, спасов, ангелов «всех небесных» и многообразных «во имя». ...Всего лучше была голова: лик постыный, тихий, нос прямой и тонкий, темные волосы серебром тронуты и на прямой пробор в обе стороны položены; будто и строг, а взглядом благодетен. Речь степенная, негромкая, немногословная, но внятная и в разуме растворенная. Во всем образе — духовен!» (А. Н. Лесков в. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным запискам и памяткам. М., Гослитиздат, 1954, с. 289.)

В душевной мастерской Никиты Рачейскова и был написан, по свидетельству самого автора, «Запечатленный ангел». Сам Никита послужил моделью не только для создания в нем образа изографа Савастьяна, отпечаток этой оригинальной личности есть и на другом лесковском герое. «...Изредка, разогнув могучую, над деисусом или Илией согбенную спину, он (Никита), бывало, «возжелает сделать выход», то есть чисто по-русски на несколько ден «загравировывал». В покаянные минуты с детской кротостью раскрывался в своих похождениях с каким-то «гравэром» смущенный Никита Лескову. Писатель слушал, утешал и не забывал. А в свое время в «Очарованном страннике» появляются и запойные «выходы», и «отбытие» своего усердия, и «магнетизер, и многое из исповедно рассказанного о себе Никитой...» — свидетельствует А. Н. Лесков (А. Н. Лесков в. Жизнь Николая Лескова... с. 289).

Работе Лескова над «Запечатленным ангелом» предшествовал и ряд его статей о расколе.

Широкое общественно-религиозное течение, именуемое расколом, возникло в России в середине XVII века. Поводом для его возникновения послужила реформа 1653 года, направленная на укрепление церковной организации. Старообрядцы, стремившиеся сохранить старые церковные обряды, оказались в оппозиции к официальной церкви и государству. В 60-е годы интерес к расколу в связи с этим обостряется. С самого детства знакомый с бытом раскольников (хутора, где он рос, были со всех сторон окружены раскольничьими скитами), Лесков, будучи уже на государственной службе, получил возможность обстоятельно изучить не только их домашнюю жизнь, но и общинное управление общественным хозяйством, и церковный монастырский устав. Вот как описывает Лесков свои впечатления от домашней жизни раскольничьей секты: «Семейный быт псковских беспоповцев... ничем не отличается от рядового быта купечества и мещанства. То же гомерическое невежество, скопидомство, скряжничество, суеверный фанатизм и крепость в отеческих преданиях, разврат и семейный деспотизм» («С людьми древнего благочестия»).

В этой оценке ничто не предвещает «Запечатленного ангела», появившегося десять лет спустя после цикла статей «С людьми древнего благочестия», и открывшего раскольников с совершенно новой стороны: как знатоков и хранителей древнего национального искусства. В повести раскольники важны автору не как бытовые фигуры, а как носители определенной нравственной силы. И механизм воздействия среды оказывается иным, чем у писателя гоголевского направления: герои погружены в быт и одновременно подняты над ним. Художник-реалист сознательно идет здесь на изображение строительной раскольничьей артели как патриархально-идиллической, очищенной и облагороженной в своей реальности. И в этом он оказался близок не столько народнической беллетристике 60—70-х годов (Левитову, Решетникову, Н. Успенскому), сколько автору «Записок охотника».

Стр. 89. *...о святках...* — время от рождества до крещения; *Васильев вечер* — канун нового года.

Стр. 91. *Рядчик* — подрядчик, нанимающий на работу. *Скинция* — походная церковь. *Деисус* — три иконы: Спасителя, Богоматери и Предтечи. *Индикт* — пятнадцатилетний отсчет времени, начиная с 1 сентября. *Тороци* — лучи, изображающие ток божественного или ангельского слуха. *Рясны* — ожерелье. *Рамена* — плечи; *...младенческий лик Эмануилов...* — Отрок Эммануил — Христос во младенчестве.

Стр. 92. *...чудным Веселилила художеством...* — Веселиил, по библейской легенде, главный строитель храма, сооруженного евреями в пустыне после ухода из Египта.

Стр. 93. *Тябла* — киоты для икон. *Лествица* — здесь: иконостас; *аналогий* (аналой) — высокий, столик с наклонною столешницей, на который во время службы кладутся богослужебные книги. *Амалфеев рог* (м и ф.) — рог изобилия; *цаповатый* — шеголеватый.

Стр. 94. *Средовек* — человек среднего возраста; *оцетность* (от оцет) — укус. *Колоника* — деготь; *жвир* (от п о л. *zwir*) — крупный песок, гравий.

Стр. 97. *Цыбастая* — тонконогая.

Стр. 99. *Галлик* — застежка; *остегны* — штаны; *плинфы* — здесь: только что обожженный кирпич, панели.

Стр. 100. *Шпилман* (от нем. *Spielmann*) — странствующий певец, музыкант в средневековой Германии; здесь: легкомысленный непутевый; *ботжит* — здесь: чванится, пускает пыль в глаза.

Стр. 101. *...обновленная Иродиада...* — Иродиада — внучка царя Ирода, добившаяся смерти Иоанна Крестителя, уличившего ее в прелюбодеянии.

Стр. 102. *Нивари* — пахары, земледельцы.

Стр. 106. *Вапа* — краска.

Стр. 108. *Створы* — здесь: складной створчатый образ (многоличная икона). *...бога Саваофа...* — Саваоф одно из библейских названий бога как всемогущего владыки. *...Моисей со скрижалю...* — Моисей — пророк, изображавшийся со скрижалю, то есть каменной доской, на которой были записаны десять заповедей бога; *...Аарон в митре...* — Аарон — старший брат Моисея, его сподвижник при освобождении евреев из плена египетского; стал первосвященником, потому изображался в митре (архиерейской шапке); *...царь Давид в венце...* — второй царь израильский; *...Исаия-пророк с хартией...* — Исаия-пророк, по преданию, смело и безбоязненно говоривший правду царям и претерпевший мученическую смерть. Автор книги, включенной в Библию, потому изображался с хартией (рукописью на пергаменте); *...Даниил с камнем...* — Даниил — один из четырех «великих пророков» израильского народа, объяснивший страшный сон царя Навуходоносора и потому ставший главой вавилонских мудрецов.

Стр. 110. Углизна — дыра, щель.

Стр. 112. *...Иосифов плач...* — Иосиф — сын патриарха Иакова от Рахили, герой библейской эпопеи. Проданный в рабство своими братьями, он после тяжелых испытаний достигает власти и могущества и в течение всей своей жизни покровительствует своим братьям и своему роду. *Анахорит* — отшельник. *...в Аристотелевы врата глядят и путь в море по звезде языческого бога Ремфана определяют...* — «Аристотелевы врата» — название несохранившегося сборника. Существовал до XVIII века и считался еретическим; бог Ремфан — упоминается в Библии: ему иудеи поклонялись в пустыне.

Стр. 113. *...избутовый пень...* — гнилой пень.

Стр. 115. *...уды единого тела Христова!* — Уд — часть тела.

Стр. 119. *Вылевокисит* — покрыть грунтом; *Иоанн Предтеча* — Иоанн Креститель, ближайший предшественник и предвестник Христа, подготовивший народ к его принятию. *Волхвы* — древние мудрецы; *Соломия-баба* — здесь: мать апостолов Иакова и Иоанна Богослова; *сухолопаль-птица* — чайка; *святая Анна* — по преданию, жена святого Иоакима и мать девы Марии, которую она родила после двадцатилетнего бесплодия; *бокан* — багряная краска.

Стр. 120. *Крыги* — плавучие льдины; *халепа* — зимняя непогода, мокрый мягкий снег.

Стр. 121. *Еспер-звезда* — вечерняя звезда, планета Венера. *Басма* — тонкий лист металла с рельефным рисунком; здесь: образной оклад.

Стр. 124. *Прокимен* — стих из Псалтыря, сборника духовных песен.

Стр. 126. *Катавасия* — здесь: церковное песнопение.

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

Впервые опубликован в газете «Русский мир» (печатался с 15 октября по 23 октября 1873 года) под названием «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения» с посвящением С. Е. Кушлеву. Повесть сначала была предложена в журнал «Русский вестник», возглавляемый М. Н. Катковым, под заглавием «Черноземный Телемак». Н. А. Любимов, правая рука Каткова, мотивировал отказ следующим образом: «Многоуважаемый Николай Семенович, Михаил Никифорович (Катков) прочел «Черноземного Телемака» и после колебаний пришел к заключению, что печатать эту вещь будет неудобно. Не говоря о некоторых эпизодах, как, например, о Филарете и св. Сергии, вся вещь кажется ему скорее сырым материалом для выделки фигур, теперь весьма туманных, чем выделанным описанием чего-либо в действительности возможного и происходящего». А. Н. Лесков, сын писателя, так объясняет сомнения редактора «Русского вестника»: «Хозяина журнала корбило раскрытие в самом начале произведения черствости и жестокосердия прославленного риторика и иерарха, митрополита московского Филарета Дроздова, как бы призываемого к милосердию преподобным Сергием, а также невыгодное освещение дворянских фигур по сравнению с нравственным обликом крепостного землепроходца Ивана Флягина» (А. Н. Лесков. Жизнь Николая Лескова... с. 296).

Спустя более двадцати лет после первой публикации «Очарованного странника» виднейший критик литературного народничества Н. К. Михайловский, в сущности, присоединился к оценке М. Каткова, отказавшись признать внутреннюю цельность и художественную завершенность повести. «В смысле богатства фабулы это, может быть, самое замечательное из произведений Лескова, — писал он в статье «Литература и жизнь», — но в нем же особенно бросается в глаза отсутствие какого бы то ни было центра, так что фабулы в нем, собственно говоря, нет, а есть целый ряд фабул, нанизанных, как бусы на нитку, и каждая бусина сама по себе и может быть очень удобно вынута, заменена другою, а можно и еще сколько угодно бусин нанизать на ту же нитку» («Русское богатство», 1897, № 6).

Жизнь героя в «Очарованном страннике» представляет собой цепь приключений столь разнообразных, что каждое из них, являясь эпизодом одной жизни, в то же время может составить целую жизнь. Даже имя героя оказывается непостоянным. Однако каждое из звеньев фабулы строго мотивировано, а повесть в целом поражает своей художественной монолитностью. Само рассказывание героя не просто колоритная особенность лесковского стиля, а единственный для Флягина способ «обнять обширность протекшей жизненности» и связать ее фрагментарность в целостный и направ-

ленный путь с единой внутренней логикой. Писатель, убежденный в своей правоте, пытался защитить свое право на свободу творчества, на художественное решение поставленных проблем: «Нельзя же от картин требовать того, что Вы требуете. Это жанр, а жанр надо брать на одну мерку: искусен он или нет? Какие же тут проводить направления? Этак оно обратится в ярмо для искусства и удавит его, как быка давит веревка, привязанная к колесу. Потом: почему же лицо самого героя должно непременно ступенькаться? Что за требование? А Дон-Кихот, а Телемак, а Чичиков? Почему же не идти рядом и среде и герою?» (письмо к П. А. Щербальскому от 4 января 1873 года). И действительно, Лесков в «Очарованном страннике» соединяет временное и вечное, прошлое и современность. Русский землепроходец Иван Северьяныч Флягин, подобный эпическим богатырям, в то же время «вписан» в определенную историческую эпоху. Митрополит московский Филарет Дроздов (1782—1876), американский дрессировщик лошадей, посетивший Россию в 1857 году, и даже хан Джангар являются современниками Флягина. Их образы как бы ориентируют читателя во времени, и жизнь героя оказывается достаточно точно «расчисленной по календарю».

В «Очарованном страннике» нашли свое отражение многочисленные поездки Лескова по России, Украине, Прибалтике, и художественное пространство повести вобрало в себе бесконечность просторов страны.

Стр. 131. *Послушник* — готовящийся постричься в монахи; *камилавка* (от греч. kamélaiokion) — высокий головной убор православных священников; *...сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптицах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляничкой пахнет темный бор»*. — Лесков цитирует строки из баллады А. К. Толстого «Илья Муромец». *Митрополит Филарет* — Филарет (Дроздов) — митрополит московский, ученый-богослов, один из наиболее реакционных деятелей высшего духовенства.

Стр. 132. *Стратопедарх* — начальник военного лагеря.

Стр. 133. *Проскомидия* (от греч. proskomidē) — первая часть православной литургии (обедни). *Иеромонах* — монах-священник; *иеродиакон* — монах в сане дьякона; *рясофор* — носящий монашескую одежду без пострижения; *вахтер* — здесь: служба в монастыре; *помазок* — здесь: монах, принявший пострижение; *кантонисты* — солдатские дети, числящиеся с рождения за военным ведомством.

Стр. 134. *Ремонтер* — офицер, ведавший в кавалерии закупкой лошадей. *Всеволод-Гавриил*. — Всеволод Гавриил Мстиславич (ум. в 1137 г.), князь новгородский, талантливый военачальник. Православная церковь объявила его святым; *муравный горшок* — глиняный обливной горшок.

Стр. 137. *Ворок* — скотный двор; *оборкаются* — приспособятся, привыкнут. *Кофшенок* — смотритель за кофе или чаем.

Стр. 143. *...крест... от Митрофания...* — из воронежского благовещенского Митрофониевского монастыря.

Стр. 145. *Сарацины* — в русском фольклоре: мусульманские народы.

Стр. 150. *Зорость* — зависть.

Стр. 151. *Мордовский ишим* — село в 40 километрах от Пензы.

Стр. 152. *Курохтан* — степная птица.

Стр. 156. *Сабур* — алоэ; *калганый корень* — лекарственное растение.

Стр. 167. *Керемети* — по чувашскому поверью, добрые духи, живущие в лесах.

Стр. 177. *Четгинеи* (Четьи-Миней) — жития святых.

Стр. 182. *«Челнок»* — романс на слова Д. Давыдова «И моя звездочка...».

Стр. 183. *Ерихониться* — важничать, ломаться.

Стр. 184. *Коник* — ларь с подъемной крышкой.

Стр. 188. *Обельма* — множество.

Стр. 190. *Анфан* (от фр. enfant) — дитя.

Стр. 191. *Же ву при* (от фр. je vous prie) — я вас прошу.

Стр. 196. *Перезниль* — сгнил, истлел.

Стр. 201. *Страстная неделя* — предпасхальная неделя.

Стр. 203. *Павел-апостол* — проповедник христианства среди язычников. *У Якова-апостола сказано...* — Имеется в виду «Соборное послание апостола Иакова».

Стр. 205. *...на Мокрого Спаса...* — церковный праздник (1 августа по старому стилю).

- Стр. 206. *...житие преподобного Тихона Задонского...*— Тихон Задонский (1724—1783) — иерарх духовный писатель.
- Стр. 207. *...к Зосиме и Савватию...*— на богомолье в Соловецкий монастырь, основанный на островах Зосимой и Савватием.

ОДНОДУМ

Впервые напечатан в «Еженедельном новом времени» (1879, № 37-38 и № 39). В первоначальном журнальном тексте рассказу предшествовало общее заглавие «Русские антики (Из рассказов о трех праведниках)», за которым следовало предисловие, частично приведенное во вступительной статье к настоящему изданию.

Лесков, очевидно, использует бытовавшее в народе предание о праведном солигаличском квартальном. В своих воспоминаниях лексикограф Н. П. Макаров писал: «Во время моей первой отставки в 1834 и 1835 годах я жил у моего дяди Мичурина, в его имении в полутора верстах от Солигалича, и хорошо знал чудака Рыжова, этого воплощения высокой честности и бескорыстия и героя рассказа г. Лескова».

Стр. 208. *...ло словарю кн. Гагарина...*— «Всеобщий географический и стилистический словарь кн. С. П. Гагарина», М., 1843.

Стр. 209. *Ночны* — деревянные лотки; *...лозг аprobe Борнса...*— Имеется в виду шотландский поэт Бернс.

Стр. 210. *Иезекииль* — библейский пророк.

Стр. 211. *Уряд* — чин.

Стр. 213. *Напковый* — из бумажной ткани.

Стр. 214. *Причт* — священнослужители из одного церковного прихода; *сорокауст* — молитва по усопшему, которая читается сорок дней после смерти.

Стр. 218. *Зерцило* — трехгранная призма с тремя указами Петра I, обычная принадлежность всех официальных учреждений.

Стр. 219. *Мапшкерт* — короткая рукава.

Стр. 222. *Канифасовая надшивка* — надшивка из льняной ткани.

Стр. 223. *Столинник* — почетное звание, которого удостоился святой Симеон; *стихарь* — нижнее облачение священников; *аппликовый* — из металла, который покрывался накладным серебром.

Стр. 224. *Амвон* — место перед иконостасом, где читаются проповеди; *солея* — возвышение перед царскими воротами в церкви.

Стр. 226. *Златоуст* — звание святого Иоанна; *попенный сбор* — налог за срубленные деревья (взимался с каждого пня).

Стр. 228. *Требы* — здесь: требования.

Б. Дыханова

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Б. ДЫХАНОВА. ВЕЛИКИЙ РАССКАЗЧИК</i>	<i>3</i>
<i>ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА</i>	<i>12</i>
<i>ВОИТЕЛЬНИЦА</i>	<i>42</i>
<i>ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ АНГЕЛ</i>	<i>89</i>
<i>ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК</i>	<i>130</i>
<i>ОДНОДУМ</i>	<i>208</i>
<i>П Р И М Е Ч А Н И Я Б. ДЫХАНОВОЙ</i>	<i>229</i>

Лесков Н. С.

Л50 Очарованный странник; Повести и рассказы. / Вступит. статья и примеч. Б. Дыхановой.— М.: Худож. лит., 1984. 236 с.

В книгу большого мастера художественного слова Н. С. Лескова (1831—1895) вошли повести и рассказы раннего периода его творчества: «Леди Макбет Мценского уезда», «Вонючка», «Запечатленный ангел», «Очарованный странник» и «Однодум».

4702010100-434

Л. ————— без объявл.

Р1

028(01)-84

**НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
ЛЕСКОВ**

**Очарованный
странник**

**Повести
и рассказы**

Редактор

И. Парина

Художественный редактор

В. Серебряков

Технический редактор

Л. Коротеева

Корректоры

Л. Лобанова

И. Ломанова

ИБ № 4300

Подписано в печать с готовых диапозитивов 20 IX-84 г.

Формат 60×90/16. Бумага офсетная № 2.

Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 15.

Усл. кр.-отт. 15,38. Уч.-изд. л. 21,33. Тираж 250 000 экз.

Изд. № 1-909. Заказ № 917

Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
Можайск, 143200, ул. Мира, 99.

В 1982 ГОДУ

В СЕРИИ «КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОКИ»

ВЫШЛИ В СВЕТ:

- С. Аксаков.* Семейная хроника. Детские годы Багрова-внука
Н. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород
А. Пушкин. Драматические произведения. Проза
М. Салтыков-Щедрин. История одного города. Сказки
А. Толстой. Драматическая трилогия. Стихотворения
Л. Толстой. Анна Каренина
А. Чехов. Пьесы
М. Горький. Мать
В. Кожевников. Полюшко-поле. Повести и рассказы
Л. Сейфуллина. Повести и рассказы
Т. Готье. Капитан Фракасс
Г. Манн. Верноподанный
Г. Мопассан. Новеллы
М. Сервантес. Назидательные новеллы
Стендаль. Пармская обитель
У. Шекспир. Отелло. Ромео и Джульетта

«ПОЭТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

- Е. Баратынский.* Стихотворения и поэмы
С. Есенин. Стихотворения и поэмы
А. Кольцов. Стихотворения
А. Прокофьев. Стихотворения и поэмы
А. Пушкин. Поэмы

В 1983 ГОДУ

В СЕРИИ «КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОКИ»

ВЫШЛИ В СВЕТ:

- Н. Гоголь.* Повести. Драматические произведения
И. Гончаров. Обыкновенная история
Ф. Достоевский. Преступление и наказание
А. Островский. Пьесы
Л. Толстой. Смерть Ивана Ильича. Рассказы
А. Чехов. Дом с мезонином. Рассказы
М. Горький. Рассказы
А. Платонов. Повести и рассказы
М. Шолохов. Рассказы
Ш. Костер. Легенда об Уленшпигеле
Г. Уэллс. Машина времени. Война миров. Рассказы
У. Шекспир. Комедии

«ПОЭТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

- А. Блок.* Стихотворения и поэмы
И. Крылов. Басни
А. Пушкин. Стихотворения
Слово о полку Игореве
Н. Хикмет. Стихотворения и поэмы

1 р. 70 к.